ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

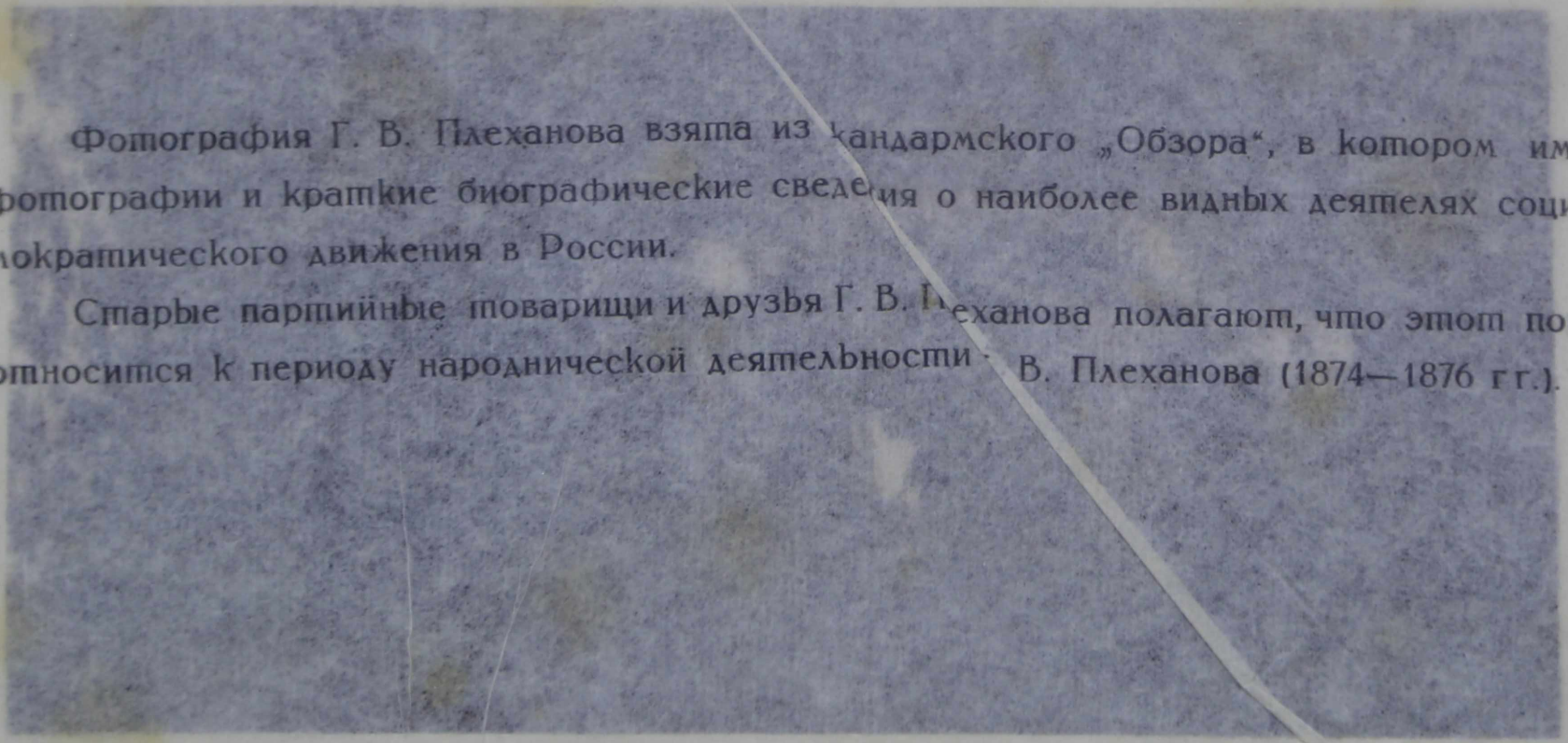
1ФС
П-38

Г. В. ПЛЕХАНОВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ
I

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



Г. В. Плеханов в молодости.

Фотография Г. В. Плеханова взята из жандармского „Обзора", в котором имеются фотографии и краткие биографические сведения о наиболее видных деятелях социал-демократического движения в России.

Старые партийные товарищи и друзья Г. В. Плеханова полагают, что этот портрет относится к периоду народнической деятельности Г. В. Плеханова (1874—1876 г.г.).

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БИБЛИОТЕКА НАУЧНОГО СОЦИАЛИЗМА
под общей редакцией Д. РЯЗАНОВА

19 рс
П-38

Г. В. ПЛЕХАНОВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ I

ПРЕДИСЛОВИЕ
Д. РЯЗАНОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 1923 Петроград

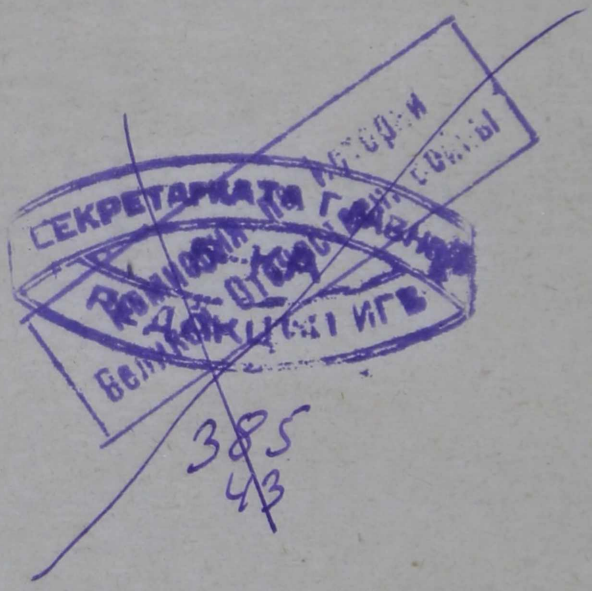
Г. В. Плеханов в молодости.

1951

1957

1962 г.

1965 г.



1950

БИБЛИОТЕКА
НИ Ин-та Краеведческой
и Музейной работы

А 2506

Главлит. Москва № 4268. 10.000 экз.

„Мосполиграф", 16-я типография Трехпрудный, 9.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

Предисловие редактора 5
Предисловие к первому тому первого издания Собрания сочинений . . 19
Корреспонденции:

Каменская станица. Письмо первое 29
„ „ „ второе 32
С Новой Бумагопрядильни 36
С бумагопрядильной фабрики Кенига 37
Волнения в среде фабричного населения. 44

Закон экономического развития общества и задачи социализма в России. 56
Поземельная община и ее вероятное будущее. 75
Статьи из „Черного Передела“:

От редакции 108
Черный Передел 109
Передовая из „Черн. Перед.“ № 1 117
„ „ „ „ № 2 122
От редакции (по поводу Чигиринского дела) 132
Заявление прежних издателей „Черного Передела“ 133
Письмо Г. В. Плеханова в редакцию „Черного Передела“ . . . 134

Об издании Русской Социально-Революционной Библиотеки. 137
Предисловие к русскому изданию „Маниф. Комм. Партии“ 150
Воспоминание об А. Д. Михайлове 153
Новое направление в области политической экономии 168
Экономическая теория Карла Родбертуса-Ягецова. 216

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА.

Издание собрания сочинений Плеханова давно уже является настоятельной потребностью. Теперь, когда наши коммунистические университеты, партшколы и марксистские кружки втягивают десятки тысяч революционной молодежи, когда партийные с'езды, один за другим, ставят в порядок дня развертывание работы марксистского просвещения, сочинения марксистских классиков, и в том числе сочинения Плеханова—до 1914 г.—могут явиться богатейшим источником для ознакомления с теорией историей и практикой марксизма.

Вопреки многим нашим Невтонам, обогатившим от «своего ума» марксистскую литературу одними только глубоко- или мелкомысленными словосочетаниями, Плеханов является не только блестящим популяризатором марксизма, но и одним из наиболее глубоких и самостоятельных учеников Маркса и Энгельса, если и не «дополнявшим», то всегда развивавшим их учение.

Более того. Когда Плеханов вырабатывал основы программы группы «Освобождение Труда», когда он сложившемуся мировоззрению революционной интеллигенции 70-х годов противопоставлял новое марксистское, ему пришлось производить эту работу почти одному. Он, правда, имел в русской литературе таких предшественников, как Н. Зибер и Н—он, облегчивших ему анализ русской экономической действительности с новой точки зрения. Но ни первый, сошедший преждевременно с литературного поприща, ни, в особенности, второй не могли ему ничем помочь в деле разработки теории *революционного* марксизма и приложения ее к русской действительности. А в европейской марксистской литературе, в период от 1882 до 1884 г.г., когда русский марксизм сложился в своих главных очертаниях, Плеханов, среди учеников Маркса и Энгельса, почти не имел себе равного ни по разносторонности своих знаний, ни по глубине и силе теоретической мысли. Каутский тогда сам только что освободился от своих дарви-

нистских и мальтузианских увлечений и, под непосредственным влиянием Энгельса, все больше превращался в последовательного марксиста. А Лафарг, который, в ряде полемических статей, несомненно оказавших влияние на Плеханова, отстаивал в французской литературе принципы марксизма, не уступая Плеханову в разносторонности своих познаний, не всегда являлся выдержанным теоретиком.

Правда, как я уже заметил в другом месте, Плеханов, имевший тогда уже все шансы стать одним из наиболее видных *международных* теоретиков марксизма, ушел целиком в борьбу с народовольчеством и с народничеством. Вместо того, чтобы теоретически исследовать все вопросы, выдвигаемые развивающимся капитализмом и рабочим движением, ему приходится в течение нескольких лет доказывать, что русский капитализм действительно существует и развивается, что он необходимо вызовет широкое рабочее движение, что социализм и политическая борьба не являются взаимно исключающими понятиями, что свой синтез они нашли в учении научного социализма.

В то время, как Плеханов все более и более вынужден был условиями своей деятельности сосредоточиваться на общих вопросах и утрачивал непосредственную практическую связь с революционным движением в России, которое умирало, как народовольческое, но еще не успело возродиться, как рабочее, Каутский, наоборот, должен был тщательно разрабатывать все программные вопросы, выдвигавшиеся многосложной практикой немецкого и международного рабочего движения.

Только со времени возрождения Интернационала, с начала 90-х годов, а в особенности после Лондонского с'езда 1896 г., на который русская делегация явилась уже после грандиозной забастовки петербургских ткачей, Плеханов выступает непосредственно на международную арену. В борьбе с ревизионизмом, когда против новоявленных «критиков» и всякого рода «дополнителей» пришлось защищать самые основы марксизма, Плеханов сразу занимает первое место в рядах защитников марксизма, как диалектического материализма.

Во всей международной литературе марксизма, после Маркса и Энгельса, нет ни одного произведения, которое могло бы сравниться с философскими работами Плеханова по эрудиции или по блеску изложения. Эти его работы, обогатившие историю и тео-

рию марксизма, вошли в инвентарь международной марксистской мысли и долго еще будут служить неиссякаемым источником поучения для революционной молодежи всех стран.

И как раз то обстоятельство, что не все сочинения Плеханова являются одинаково «интернациональными», что многие из них носят явную печать своего «русского» происхождения, делает их особенно драгоценными для изучения истории развития русской общественной и революционной мысли последнего 50-летия. Всякий русский марксист, не желающий быть Иваном Непомнящим, должен внимательно изучать сочинения Плеханова, ибо это не только лучшее средство вработаться в основы марксизма вообще, но и в историю русской революционной мысли в особенности.

Настоящее издание сочинений Плеханова ставит себе целью стать *полным*. Нам уже удалось—мне и моему главному сотруднику В. Ваганяну—собрать почти все произведения Плеханова за исключением нескольких статей в иностранных газетах и журналах. Все издание рассчитано на 26 томов, при чем последний том будет содержать, на-ряду с именным и предметным указателем, различные био- и библиографические материалы, необходимые для изучения жизни, научной и публицистической деятельности Плеханова.

Мы не считали нужным держаться, при распределении материала по отдельным томам, строго хронологического принципа. Всякая попытка размещать произведения Плеханова, в порядке их появления в печати привела бы только к ненужной перетасовке всего материала и разрыву тесно связанных между собою работ, т.-е. в конце концов только затруднила бы изучение эволюции взглядов Плеханова.

А в его литературной деятельности ясно намечаются три периода: первый, подготовительный, в течение которого Плеханов превращается из революционного народника в революционного марксиста (1878—1882 г.г.); второй—от 1883 до 1914—в течение которого основоположник русского марксизма, несмотря на разные колебания, остается в революционных рядах, и третий—от 1914 до 1918 г., когда он расходится даже с меньшевиками и теряет почти всякую связь с рабочим движением.

Если для литературных произведений первого и третьего периодов можно выбрать даже чисто хронологический принцип их

опубликования, то для второго периода это было бы ненужным педантизмом. В то время, как для публицистических работ Плеханова сам собою диктуется метод распределения их по отдельным эпохам и в пределах каждой из них—в хронологическом порядке, для его философских, литературных, социологических статей не менее настоятельно диктуется метод группировки по отдельным темам.

Исходя из этих соображений, мы выработали следующий план издания сочинений Плеханова.

В первый том войдут статьи до 1883 г., охватывающие главным образом *народнический* период литературной деятельности Плеханова, в течение которого он эволюционировал от революционного народничества чрез «чистый» марксизм к революционной социал-демократии.

Вторым томом начинается новый период. Он охватывает работы 1883—1888 г.г.—от основания группы «Освобождение Труда» до организации очень скоро распавшегося Русского социал-демократического союза,—работы, в которых Плеханов дает блестящее обоснование марксистской программы в приложении к русской действительности.

В следующих четырех томах (3, 4, 5 и 6) собраны работы, относящиеся к периоду 1888—1894 г.г. Организация «Народной Воли», после Лопатинского процесса, окончательно распалась. Попытки «молодых народовольцев» воскресить методы деятельности и обновить программу старой «Народной Воли» терпят крушение. Критика Плеханова медленно, но неотвратимо производит свое действие на новое революционное поколение. К этому времени относится первая попытка создать крупный периодический журнал, в котором марксизм мог бы откликаться на все злобы дня, освещать с своей точки зрения «текущий момент». Пять томов «Социал-Демократа», в огромной своей части, заполняются Плехановым, выступающим и в качестве экономиста, и в качестве философа, и в качестве литературного критика, внутреннего и иностранного обозревателя. Последняя книжка «Социал-Демократа» выходит в разгар «Всероссийского разорения», которое должно было послужить гранью между эпохой революционных сумерек восьмидесятых годов и новой эпохой неудержимо развивавшегося марксизма и рабочего движения.

Все разнообразные работы, напечатанные в пяти томах «Со-

циал-Демократа», с прибавлением нескольких брошюр и памфлетов, вышедших за тот же период, пришлось разделить по группам: статьи на *русские темы* и статьи на *международные темы*. Кроме того, пришлось выделить в особую группу статьи о Чернышевском, которым Плеханов занимался с особенной любовью и к которому он охотно возвращался почти до самой своей смерти. Пришлось сделать некоторые отступления от хронологического принципа, но о них и о мотивах, заставивших нас сделать это, мы поговорим подробнее в предисловии к соответствующим томам.

Пятилетие от 1895 до 1899 г.г. было временем под'ема рабочего движения и вторжения марксизма в легальную литературу. Для Плеханова это было повторением старых споров середины 80-х годов, но в новой обстановке—вместо подпольной и зарубежной литературы легальная и подцензурная—и с новыми противниками—вместо Тихомирова и Лаврова—Михайловский и В. В. За границей основывается новый Союз русских социал-демократов, а в России организуются союзы борьбы за освобождение рабочего класса, которые скоро выдвигают задачу организации Р. С.-Д. Р. П. Плеханов в этот период принимает, сравнительно со старым временем, незначительное участие в русской нелегальной литературе. Обоснование и защита диалектического материализма как в русской, так и в иностранной печати, статьи и книги по истории материализма, по истории литературы, полемика с народничеством—все эти работы должны войти в томы 7, 8, 9 и 10, при чем в последний том, опять-таки с нарушением хронологического принципа, отнесены и две первые статьи о беллетристах-народниках, написанные до 1892 г.

Период от 1899 до 1903, который начинается борьбой с ревизионизмом в международной социал-демократии и с его русской разновидностью, экономизмом, а также с русскими «критиками»—сначала почти без всяких помощников, а затем в союзе с группой «Искры» и «Зари»—и заканчивается вторым с'ездом и расколом, посвящены томы 11 и 12, в которых сгруппированы отдельно теоретические работы этого периода (том 11) и отдельно же собраны в хронологическом порядке статьи Плеханова на специально русские темы от Vademecum'а до речей на втором с'езде.

Тринадцатый том включает статьи из «Искры» и «Дневника»,

относящиеся к тому периоду после второго с'езда и до первой революции, когда Плеханов разошелся с большевиками, чтобы политически занять место на правом крыле меньшевизма. В четырнадцатый том вошли статьи по литературе и искусству, написанные до 1907 г.

Пятнадцатый том составлен из статей, писанных в эпоху первой революции (1905—1907 г.г.), когда, в своем стремлении не забежать чересчур вперед, Плеханов выдвигает впервые идею коалиции с наиболее радикальными буржуазными партиями и становится сотрудником «Товарища».

Со второй половины 1907 г. до второй половины 1909 г. Плеханов ведет страстную борьбу против различных новых течений в революционном движении, против синдикализма и анархизма, а также против всяких уклонений от марксизма, против эмпириомонизма Богданова и богоискательства А. Луначарского. Эти статьи собраны в шестнадцатом и семнадцатом томах.

Расцвет ликвидаторства с конца 1909 г. послужил поводом для нового сближения Плеханова с большевиками и блестящей кампании в защиту подполья. Статьи эти войдут в 18-й том, а в 19-й—литературные статьи этого периода,—главным образом, статьи о Льве Толстом.

В последние годы своей жизни Плеханов больше всего работал над «Историей русской общественной мысли». Труд этот остался незаконченным. Он будет перепечатан в томах 20—22, а в 23-м будут собраны статьи, которые вошли бы, вероятно, в переработанном виде в следующие томы «Истории русской общественной мысли».

Статьи социал-патриотического периода деятельности Плеханова составят главное содержание 24-го и 25-го томов.

Теперь о комментарии или примечаниях. Настоящее издание предназначается для читателей, имеющих уже известную подготовку и навык к самостоятельной работе. Мы, поэтому, считаем совершенно излишним детальный справочный комментарий, ставящий себе целью избавить читателя от всяких поисков в энциклопедических словарях или, что еще менее целесообразно, предполагающий совершенно невежественного читателя, который не имеет никакого представления ни об эпохе, когда писались главные произведения Плеханова, ни о темах и предметах, обсуждаемых им. Как бы ни были детальны такие примечания—они

всегда грозят в таких случаях превратиться в старый подстрочный комментарий к латинскому или греческому автору, предназначенный для школяров,—они не могут избавить читателя от необходимости прежде, чем приступить к *изучению* сочинений Плеханова, познакомиться подробно с историей России XIX столетия и в особенности России после крымской войны. В этом отношении предварительное знакомство с «Русской историей» М. Покровского, с «Историей России в XIX веке» в издании бр. Гранат, с главными работами по истории революционного движения в России, даст читателю несравненно больше, чем педантический и докучливый подстрочный комментарий.

Конечно, на-ряду с этим собранием сочинений Плеханова, придется издать ряд отдельных его работ,—а среди них имеются написанные так популярно, что они могут быть легко поняты и мало подготовленным читателем — с особыми предисловиями и примечаниями,—изданий, специально приспособленных для студентов наших партшкол и коммунистических университетов.

Читателя, которого приходится водить на помочах, все равно не заставишь прогуляться по собранию сочинений, состоящему из 26 томов.

Мы думаем, поэтому, кроме библиографических указаний, ограничиться только наиболее необходимыми примечаниями и раз'яснениями в тех случаях, когда, по нашему мнению, ни в больших русских энциклопедиях, ни в соответствующей специальной литературе читатель или совсем не найдет, или с большим трудом найдет нужную справку или об'яснение какого-нибудь «темного» места. Чтобы не задерживать выхода отдельных томов, все эти примечания и раз'яснения будут отнесены в последний том, в котором, как уже сказано выше, будет дан общий предметный и именной указатель ко всем сочинениям Плеханова.

Несколько слов специально о первом томе. Он отличается по содержанию от первого тома, как его издал сам Плеханов в 1905 году и как он был переиздан в «Библиотеке научного социализма», которая должна была выходить под моей редакцией. Он состоял из двух частей, из которых первая охватывала народнический период развития Плеханова, от 1878 г. до 1883 г., а вторая—его первые социал-демократические работы. Я сохранил это разделение и, в отступление от хронологического принципа, оставил предисловие, написанное в 1905 г., потому что оно пред-

ставляет комментарий самого автора к его сочинениям от 1878 до 1885 г.г. Правда, комментарий весьма суб'ективный, на котором сильно отразился момент, когда его писал Плеханов. Даже в 1878 г. он не был таким бакунистом,—и это отличало его уже тогда от Аксельрода и в особенности от Дейча,—каким он себя изображает в этом предисловии. Еще менее это можно сказать о Плеханове 1880—1881 г.г., когда он уже был «экономическим материалистом».

Если Плеханов уже тогда питал «великое уважение к материалистическому об'яснению истории», то вряд ли он вынес его из сочинений Бакунина. Последний, правда, уже знал, что Маркс «сказал и доказал ту несомненную истину, подтверждаемую всей прошлой и настоящей историей человеческого общества, народа и государств, что экономический факт всегда предшествовал и предшествует юридическому и политическому праву, что в изложении и в доказательстве этой истины состоит именно одна из главных научных заслуг Маркса», но уже из самой формулировки видно, как плохо понимал апостол разрушения диалектический метод Маркса. Гораздо отчетливее и гораздо раньше излагал в русской литературе «экономический материализм» и с неменьшими комплиментами по адресу Маркса и Энгельса главный теоретик русского бланкизма—П. Ткачев.

Несравненно большее влияние имел на Плеханова тот русский марксист—Н. Зибер,—которого он сам называет в своей первой программной статье «одним из талантливейших учеников и популяризаторов Маркса» [1]). Когда Плеханов в этой своей первой теоретической статье говорит об «общественной кооперации», о ее различных формах, о «капиталистической продукции», мы узнаем терминологию тогдашних статей Зибера. Самая постановка вопроса указывает уже на сильное влияние «материалистического об'яснения истории».

И непосредственно по следам Зибера идет Плеханов в своей статье «Поземельная община и ее вероятное будущее», которая

[1]) См. настоящий том, стр. 57, где Плеханов цитирует Зибера, не называя его. Цитата взята из статьи „Теория общественной кооперации", „Слово" 1878 г. январь, ст. 195—196. Статья эта вошла в книгу Зибера, „Д. Рикардо и К. Маркс в их общественно-экономических исследованиях", Петербург 1885 г., глава IX, ст. 430—431.

теперь впервые перепечатывается. Если, действительно, общество не может перескочить через естественные фазы своего развития, когда оно напало на след естественного закона этого развития,— а Плеханов признает это положение уже в 1878 г.,—если западно-европейские общества напали на этот роковой след «именно тогда, когда пала западно-европейская община», то для России этот вопрос решается в связи с решением этого основного вопроса: несет ли русская община в себе самой элементы своей погибели? Ибо «пока за земельную общину держится большинство нашего крестьянства, мы не можем считать наше отечество ступившим на путь того закона, по которому капиталистическая продукция была бы необходимою станцией на пути его прогресса». И Плеханов доказывает в своей статье, что, вопреки М. Ковалевскому, разложение общины вообще и русской в частности вызывается не внутренними самопроизвольными причинами, не неизбежным процессом индивидуализации имущественных отношений, а чисто внешними причинами, посторонними враждебными для общины влияниями. Плеханов не закрывает глаза на то обстоятельство, что при известной комбинации отрицательных влияний, разрушение общины неизбежно, но он все же считает еще возможным и такую комбинацию условий, при которых община, напротив, стала бы развиваться и расти. Ответ в сущности сводится к ответу Маркса и Энгельса, который они дали в предисловии к русскому изданию Коммунистического манифеста в 1882 г.: «Если русская революция послужит сигналом рабочей революции на Западе, так что обе они пополнят друг друга, то современное русское землевладение может явиться исходным пунктом коммунистического развития».

В духе опять «материалистического об'яснения истории» Плеханов выдвигает свою теорию причин возникновения в первобытных обществах частной собственности на движимость. Эти причины он видит в свойствах первобытных орудий и обусловливаемой ими организации труда.

Эта же статья показывает, как ошибался Плеханов в 1905 г., когда писал, что взгляды его на сельскую общину, высказанные им в 1883 г., являлись в той форме, в которой они были выражены, результатом его теоретической уступчивости предрассудкам народничества. В действительности эти взгляды—в особенности взгляд на исторические условия возникновения сель-

ской общины—подвергались значительным изменениям, и перепечатываемая статья является новым доказательством, что взгляды, высказанные Плехановым в 1883 г., представляют только дальнейшее развитие взглядов 1880 года. Под оболочкой черно-передельчества постепенно назревали новые марксистские формулировки.

В этом отношении особенно характерно письмо Плеханова, помещенное в 3 № «Черного Передела», но не перепечатанное им в 1905 г. В нем социализм определяется, как «теоретическое выражение, с точки зрения интересов трудящихся масс, антагонизма и борьбы классов в существующем обществе», а главной практической задачей революционной деятельности считается «организация рабочего сословия, указание ему путей и способов его освобождения». Это уже социально-демократическая программа, по своей определенности почти ничем не уступающая тогдашней немецкой программе, и стоящая значительно ниже только программы тогдашней французской рабочей партии.

Письмо Плеханова составляет естественный переход к предисловию, которое он предпослал своему переводу «Коммунистического Манифеста», так и к статьям о «Новом направлении в области политической экономии» и в особенности к статьям о Родбертусе.

Мы поместили последние статьи в первом томе, потому что без них непонятны были бы частые ссылки на Родбертуса в первых же социал-демократических произведениях Плеханова,—в «Социализм и политическая борьба» и в «Наших разногласиях», где он местами повторяет свою аргументацию против Родбертуса, а раз даже прямо указывает, что об этом вопросе говорил уже в «другом месте» и только осторожности ради, чтоб не повредить легальному журналу, не цитирует своих статей в «Отечественных Записках».

Работа о Родбертусе представляет еще громадный интерес и потому, что она показывает, как путем критики этого выдающегося экономиста, которого тогда немецкие катедер-социалисты противопоставляли Марксу, Плеханов вырабатывал свои собственные экономические взгляды, как, анализируя и скрывая все различия между теориями Маркса и Родбертуса, он углублял и уточнял свое понимание основ марксизма. Если прибавить, что эта работа Плеханова была написана до выхода в свет второго тома

«Капитала», до появления статей Энгельса и Каутского о Родбертусе, что он имел перед собою только статьи Зибера («Юридический Вестник», 1881 г., №№ 1—3), то значение ее становится еще больше. Сравнение критики Плеханова с критикой Энгельса и Каутского—интересная тема для всякого исследователя эволюции взглядов Плеханова—дает любопытный материал для определения степени идейной самостоятельности и оригинальности основоположника русского марксизма.

В первый том вошло почти все, написанное Плехановым за 1878—1883 г.г. Упоминаемые О. Аптекманом [1]) прокламации: «К русскому обществу» (по поводу покушения Засулич), «Адрес Палену от учащейся молодежи» и «Воззвание к славному войску донскому», нам не удалось достать. Корреспонденции, которые Плеханов печатал в легальной газете «Новости» о волнениях на фабрике Торнтона [2]), будут напечатаны в третьем томе, как приложение к его статьям о «Русском рабочем в революционном движении».

Д. Рязанов.

Ноябрь 1922 г.

---

[1]) Аптекман, О., «Земля и Воля» 70-х годов, стр. 139, 146, 168 и 182.

[2]) Попов, М. Р. К истории рабочего движения в конце 70-х годов, «Голос Минувшего». 1920—21.

А 25066

СТАТЬИ ДО 1883 ГОДА

ПЕРИОД НАРОДНИЧЕСКИЙ

БИБЛИОТЕКА
НИ Ин-та Краеведческой
и Музейной работы

СЕКРЕТАРИАТА
Б-КА

Предисловие к первому тому первого издания Собрания сочинений.

В этот первый том моих сочинений входят, между прочим, и те, которые относятся еще к *народническому* периоду моего развития и которые были напечатаны в свое время, главным образом, в «*Земле* и *Воле*» и «*Черном Переделе*». Пусть читатель не удивляется, поэтому, если на первой сотне страниц этого тома он встретит взгляды, не вяжущиеся с моим нынешним миросозерцанием, т.-е. с *марксизмом*. Но пусть не удивляется он также, если я прибавлю к этому, что основная мысль, лежавшая в моих народнических взглядах,—при всем несходстве этих взглядов со взглядами марксистов,—не так далека, как это может показаться на первый взгляд, от основной идеи марксизма, и что мое нынешнее миросозерцание представляет собой не более, как логическое развитие основной мысли, увлекавшей меня уже тогда, когда я работал в органах революционного народничества. Дело тут вот в чем.

Современные анархисты относятся, как известно, весьма отрицательно к *материалистическому об'яснению истории*. Оно кажется им одной из ошибочных и вредных «догм» марксизма. Не так смотрел на этот вопрос один из основателей современного анархического учения, покойный М. А. Бакунин. В своих сочинениях (в книге «*Государственность и анархия*», в полемике с Мадзини, если память мне не изменяет, в брошюрке «*Наука и насущное революционное дело*»), он называл теорию исторического материализма великим открытием и неоспоримой заслугой автора «*Капитала*». Такое отношение Бакунина к этой теории разделялось первоначально и многими его учениками. В народнический период моего развития, я,—как и все наши народники,—находился под сильным влиянием сочинений Бакунина, из которых я и вынес великое уважение к материалистическому об'яснению истории. Я уже тогда был твердо убежден в том, что именно историческая теория Маркса должна дать нам ключ к пониманию тех задач, которые мы должны решить в своей практической деятельности. Читатель легко убедится в этом, прочитав мою статью: «*Закон экономического развития общества и задачи*

социализма в России», напечатанную в № 3 *«Земли и Воли»* и занимающую в этом томе стр 56—74, а также мои статьи, появившиеся первоначально в № 1 и 2 *«Черного Передела»* и занимающие в этом томе стр. 108—136. В одной из этих статей я категорически говорил, что «экономические отношения в обществе признаются нами основанием всех остальных, коренною причиною не только всех явлений политической жизни, но и умственного и нравственного склада его членов» (см. стр. 114 этого тома). Это уже несомненный марксизм. Но этот марксизм достиг до моего сознания, пройдя сначала через призму бакунинского учения, и потому он приводил меня к несостоятельным утопическим *выводам*. Какие же это были выводы? Те самые, которые делал Бакунин из материалистического об'яснения истории. Он рассуждал, как известно, так: если *политические* отношения всякого данного общества основываются на его *экономических* отношениях, то «политика» ни в каком случае не может служить средством освобождения пролетариата; занимаясь «политикой», социалисты изменяют делу рабочего класса, который может свергнуть иго капитализма только путем *экономической* революции. На основании этого соображения, Бакунин и его последователи горячо и упорно восставали против того параграфа в уставе Международного Товарищества Рабочих, который гласит, что *политическая борьба должна служить средством достижения великой цели современного сознательного пролетариата*. Я, разумеется, не могу приводить здесь все те доводы, которые выдвигались бакунистами против этого параграфа: интересующийся ими читатель найдет их в известном «Mémoire de la Fédération jurassienne»; мне же достаточно сказать, что мы, русские народники, считали эти доводы неотразимыми, и сами горячо и упрямо осуждали всякую «политику».

Споры, происходившие в народническом обществе «Земля и Воля» около времени его распадения, целиком вертелись вокруг этой мысли о негодности «политики», как средства освобождения «трудящихся». Те из нас, которые продолжали признавать правильность этой мысли, сгруппировались вокруг газеты *«Черный Передел»*; те же, которые стали относиться к ней отрицательно, сложились в «Партию Народной Воли». Так как бакунинское отрицание «политики» несомненно было неосновательно и происходило из непонимания того, что в процессе общественного развития,—как и во всяком другом процессе,—причина является следствием, а следствие, в свою очередь, становится причиной, то «народовольское» отрицание отрицания, т.-е. отрицание народовольцами мысли о вреде «политики», было совершенно правильно и являлось боль-

шим шагом вперед в истории нашей революционной мысли, как я это открыто признал еще в брошюре «Социализм и политическая борьба», воспроизведенной на 25—88 стр. II тома. Но слабая сторона «народовольской» теории состояла в том, что они, по немецкому выражению, вместе с водой выплескивали из ванны и ребенка: в борьбе с бакунинским отрицанием политики они зашли так далеко, что стали отрицать также и лежавшую в основе этого отрицания совершенно правильную, но плохо понятую Бакуниным и народниками теорию исторического материализма. Издававшаяся в России газета «*Народная Воля*» не раз обнаруживала большую симпатию ко взглядам Дюринга, который считает политическую силу основным двигателем исторического развития. Это была огромная ошибка, которая не замедлила наложить свою печать на все политические взгляды и на всю политическую деятельность народовольцев. Эта ошибка помешала им понять, что сила и значение всякой данной политической *партии* обусловливается силой и значением того общественного *класса,* интересы которого она представляет и защищает. А не понимая этого, народовольцы не сумели возвыситься и до понимания того, что наиболее революционная точка зрения нашего времени есть классовая точка зрения пролетариата. Народовольцы не пошли дальше бланкизма, распространение идей которого было облегчено литературной деятельностью покойного П. Ткачева в середине семидесятых годов. Но точка зрения бланкизма, это— точка зрения *заговора.* Партия «Народной Воли» в самом деле была не более, как тайной организацией заговорщиков, пользовавшейся большими симпатиями со стороны так-называемого *общества* и по временам заводившей кое-какие связи с *рабочими,* но главные свои упования возлагавшей на революционную *интеллигенцию.* С этой стороны «народовольство» было *большим шагом назад* сравнительно с народничеством, которое, при всех своих ошибках, имело все-таки ту заслугу, что твёрдо помнило первый параграф устава Интернационала: *освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих* [1]). Правда, народники весьма своеобразно истолковывали этот параграф. Сообразно *крестьянскому* характеру того «народа», который они хотели освобождать, определенное понятие: *рабочие* заменилось у них весьма расплывчатым понятием: *трудящиеся.* Но, как бы там ни было, они все-таки стремились возбу-

---

[1]) Прошу читателя не забывать, что я говорю здесь о народниках р е в о л ю ц и о н е р а х. Легальные народники, вроде г. В. В., ожидали осуществления своих реформаторских планов от царизма. Но до них мне нет здесь никакого дела.

ждать революционную самодеятельность народной *массы*, и в этом отношении стояли несравненно выше народовольцев.

Чтобы устранить и ту, и другую односторонность, чтобы исправить ошибки как народников, так и народовольцев, необходимо было, во-первых, отвести политической борьбе надлежащее место в нашей революционной программе, а, во-вторых, суметь связать эту борьбу с основными положениями правильно понятого научного социализма. Попыткой решения этой, самой насущной тогда для нас, задачи и была моя брошюра «*Социализм и политическая борьба*».

Эпиграфом для этого своего сочинения я взял слова Маркса: «Всякая классовая борьба есть борьба политическая». Этими словами я хотел напомнить *народникам* о том, что заниматься «политикой» вовсе еще не значит изменять интересам «трудящихся»; и теми же самыми словами я хотел поставить *народовольцам* на вид, что их политическая борьба будет плодотворной и победоносной только в том случае, если она станет *классовою* борьбой. Таким образом точке зрения «интеллигентных» *заговорщиков* была противопоставлена мною точка зрения *рабочего* класса. Само собою разумеется, что заговорщикам это понравиться не могло, и совершенно понятно, что моя брошюра послужила поводом к полемике между мной и главным тогда публицистом «народовольства», ныне в реакции почивающим г. Л. Тихомировым.

Так же понятно и то обстоятельство, что наш *политический спор* тотчас же перешел на *экономическую почву*. Чтобы отстоять свою точку зрения *заговорщика*, г. Л. Тихомиров сделал попытку показать несостоятельность моей *классовой* точки зрения. С этой целью он пустился доказывать, что у нас разделение общества на классы зашло пока еще не далеко, что буржуазия наша совершенно бессильна, что рабочих у нас всего 800.000 и т. п. Словом, в споре со мной главный народовольческий публицист окончательно вдался в те историко-социологические рассуждения, к которым так охотно прибегали некогда славянофилы в своих литературных стычках с западниками. В самом деле, наши славянофилы имели довольно точное понятие о борьбе классов: не даром же исторические взгляды многих из них складывались под сильным влиянием буржуазных историков «гнилого» Запада. Даже Погодин совершенно определенно высказывался в том смысле, что западно-европейское общество было историческим продуктом многовековой классовой борьбы, и что в более или менее близком будущем классовое господство *буржуазии* должно рухнуть под напором *пролетариата*. Но наша история шла, по мнению Погодина, совсем не так, как западная: у нас не было классов, не

было классовой борьбы, и то, что на Западе достигается классовой борьбой, будет достигнуто у нас благодаря мудрому действию верховной власти. Революционные теоретики, вроде г. Тихомирова, почти целиком разделяли эту погодинскую философию русской истории, внося в нее лишь одну поправку: они об'являли, что наше общественное развитие совершалось и будет совершаться *вопреки* царской власти и благодаря здоровым инстинктам *народа* и прогрессивным стремлениям *интелигенции*. Вот почему между тем, как славянофилы, вроде Погодина, приурочивали все свои упования на счастливое будущее к действиям *царского правительства*, революционные публицисты, вроде г. Тихомирова, всего ждали от действия *интеллигентных заговорщиков*. Но чем больше эти публицисты усваивали себе,—хотя и бессознательно,—существенное содержание славянофильской философии русской истории, тем более *взгляды их* утрачивали всякий революционный характер и тем более их революционные «*идеалы*» становились плодом простого и переходящего *настроения*. Это лучше всего видно на примере самого г. Л. Тихомирова: пока он сохранял свое революционное настроение, он оставался,—как я называл его еще в то время,—*взбунтовавшимся славянофилом*, а когда бунтовское настроение у него улетучилось, он поспешил войти в ту мирную гавань, в которой он почивает по сие время. Да и один ли г. Л. Тихомиров пережил подобное превращение?

Г. Л. Тихомиров обрушился на социал-демократические взгляды группы «Освобождение Труда» в статье «*Чего нам ждать от революции?*», напечатанной во второй книжке «Вестника Народной Воли». Я ответил ему в книге «*Наши разногласия*» (см. стр. 89 и след. II тома). Теперь может, пожалуй, показаться странным, что я счел нужным ответить на его статью целой книгой. Но в борьбе с г. Тихомировым я должен был перейти в наступление, а перейдя в наступление, я немедленно очутился в Авгиевых стойлах экономических предрассудков народничества, в которых мне поневоле пришлось замешкаться довольно долго. В примечании ко второму изд. «Наших разногласий», в конце, я говорю о том, к чему свелись те возражения, которые были сделаны мне редакцией «Вестника Народной Воли». Здесь я прибавлю только, что мне было до последней степени неудобно писать за границей об экономических отношениях России: недостаток литературного материала страшно стеснял меня буквально на каждом шагу. Тем не менее, я смею утверждать, что дальнейший ход экономического развития России как нельзя лучше подтвердил все то, что я сказал об этом предмете в своей книге.

Один из «народовольцев» признавался мне, года три спустя после

выхода моей книги, что, прочитав ее, он принял меня за человека, продавшегося царскому правительству. Ему надо было лично познакомиться со мной, чтобы убедиться в неосновательности своего предположения. Это достаточно характеризует прием, оказанный моей книге сторонниками старых воззрений в нашей революционной среде...

На этом останавливаться не стоит; полезнее будет сделать здесь следующие пояснения.

Когда я понял, к каким политическим выводам должно приводить правильно понятое материалистическое об'яснение истории, и когда я стал марксистом, я понял также и то, что душу марксизма составляет его *метод*. Я с восторгом читал и перечитывал слова молодого Энгельса в «Deutsch-Französische Jahrbücher»: «Еще очень несовершенна та общественная философия, которая выдает два-три положения за свой конечный результат и предлагает «Морисоновы пилюли». Нам не так нужны голые результаты, как *изучение*. Результаты без развития, которое ведет к ним,—ничто: это мы знаем уже со времен Гегеля. А результаты, которые фиксируются, как неизменные, и не кладутся в основу дальнейшего развития, хуже чем бесполезны». Поэтому и я не столько дорожил нашим тогдашними «*результатами*»,—т.-е. практической программой группы «Освобождение Труда»,—сколько *методом* марксизма, его *точкой зрения*, огромные преимущества которой мне хотелось выяснить «русским социалистам». Я совершенно искренно говорил в своем открытом письме к П. Л. Лаврову: «Будущее нашей группы кажется Вам сомнительным. Я сам готов сомневаться в нем, поскольку речь идет о нашей группе как таковой, а не о тех воззрениях, которые она представляет» (см. стр. 101 тома II). Под воззрениями я разумел здесь именно теорию Маркса, рассматриваемую с точки зрения ее метода. Еще лучше видно это из следующих строк:

«Мы указываем нашей социалистической молодежи на марксизм, эту алгебру революции... эту «программу», научающую своих приверженцев пользоваться каждым шагом общественного развития в интересах революционного воспитания рабочего класса. И я уверен, что рано или поздно наша молодежь и наши рабочие кружки усвоят эту единственную революционную программу. *В этом смысле* будущее нашей группы вовсе не сомнительно»... (стр. 104 тома II).

Наконец, в полном согласии с моим предпочтением метода результатам, я прибавлял:

«Повторяю, между самыми последовательными марксистами возможно разногласие по вопросу об оценке современной русской действи-

тельности. Поэтому мы ни в каком случае не хотим прикрывать свою программу авторитетом великого имени. К тому же, мы наперед готовы признать, что она заключает в себе многие «недостатки и непрактичности», как всякий первый опыт применения данной научной теории к анализу весьма сложных и запутанных общественных отношений. Но дело в том, что ни я, ни мои товарищи не имеем пока окончательно выработанной и законченной от первого до последнего параграфа программы. Мы только указываем нашим товарищам *направление,* в котором нужно искать решения интересных им революционных вопросов; мы только отстаиваем верный и безошибочный критерий, с помощью которого они смогут, наконец, сорвать с себя лохмотья революционной метафизики, почти безраздельно господствовавшей до сих пор над нашими умами; мы только доказываем, что наше революционное движение не только ничего не потеряет, но, напротив, очень много выиграет, если русские народники и русские народовольцы сделаются, наконец, русскими марксистами, и новая, высшая точка зрения примирит все существующие у нас фракции (эти строки взяты из брошюры «Социализм и политическая борьба»). Наша программа еще должна быть закончена и закончена там, на месте теми самыми кружками рабочих и революционной молодежи, которые станут бороться за ее осуществление. Поправки, дополнения, улучшения этой программы совершенно естественны, неизбежны, необходимы. Мы не боимся критики, а ожидаем ее с нетерпением, и уж, конечно, не станем, как Фамусов, затыкать перед нею уши. Представляя действующим в России товарищам этот первый опыт программы русских марксистов, мы не только не желаем соперничать с «Народной Волей», но ничего не желаем так сильно, как полного и окончательного соглашения с этой партией. Мы думаем, что партия Народной Воли *обязана* стать марксистской, если только хочет остаться верной своим революционным традициям и желает вывести русское движение из того застоя, в котором оно находится в настоящее время».

При таком отношении к делу мы не могли не быть уступчивыми в том, что касалось *частностей*. Наиболее ярким примером нашей уступчивости может служить то, что было сказано мною в брошюре «Социализм и политическая борьба» по вопросу об общине. Для меня уже тогда совсем не было сомнения в том, что наша сельская община не обладает никакой внутренней силой, необходимой для ее перехода «в высшую форму общежития», как выражались народники. Но в то время, когда я писал названную брошюру,—т.-е. летом 1883 года,—я готов был не то что отказаться от моего взгляда, на это я, разумеется, никогда не

согласился бы, а не высказывать его в печатной полемике до тех пор, пока вопрос об общинном землевладении не подвергнется новому пересмотру *с точки зрения марксизма*. И я даже напоминал своим читателям о том, что вопреки уверениям народников,—которые искали в марксизме именно только «Морисоновых пилюль», не замечая его метода,—Маркс нигде не давал раз-на-всегда готового и закостеневшего ответа на этот вопрос. К сожалению или к счастью, это мое сдержанное отношение к предмету ничему не помогло и ничего не облегчило. Из статьи г. Л. Тихомирова я увидел, что наши противники не только не понимают его, но и не хотят понять, а следовательно, и никогда не поймут. Поэтому в «Наших разногласиях» я заговорил уже другим языком. Но что и там я не был таким неуступчивым, каким меня сочли многие и многие читатели, это видно из сказанного мною там же о «терроризме». Я говорил, что мы «нисколько не отрицаем важности террористической борьбы, которая естественно выросла из наших социально-политических условий и так же естественно должна способствовать изменению их в лучшую сторону». В таком же духе высказывалась и написанная мною в конце 1883 г. «программа социал-демократической группы Освобождение Труда» [1]). Так как впоследствии я стал, как говорят у нас, «отрицать террор», то мои противники высказывали ироническое сожаление о том, что я не остался при моем старом взгляде на него. Но тут они забывали то, чего забывать не следовало. Поскольку у меня в «Наших разногласиях» речь шла о рабочих кружках и об «интеллигентах», посвящавших им *свои* силы, я и там не одобрял террора, по той простой причине, что мой предварительный революционный опыт показал мне, как сильно и быстро расстраивается,—благодаря террористическим увлечениям деятелей,—всякая организационная и агитационная деятельность в рабочей среде. Я и тогда хотел, чтобы «чаша сия» миновала то, что я называл «элементами» будущей нашей рабочей партии.

«Есть другие слои населения,—говорю я в этой книге,—которые с гораздо большим удобством могут взять на себя террористическую борьбу с правительством. Но помимо рабочих нет другого такого слоя,

[1]) Кстати, кто-то,—если не ошибаюсь, Рязанов,—заметил, что выражение «Освобождение Труда» неправильно и что следовало сказать: освобождение рабочих или рабочего класса. Это так, и это показывает, что лицо, сделавшее это замечание, помнило тождественное замечание Маркса в его знаменитых «Glossen» на проект программы немецкой социал-демократической партии. Но беда не очень велика. В немецком переводе устава Интернационала, сделанном, если не самим Марксом, то, весьма вероятно, под его редакцией, тоже говорится об о с в о б о ж д е н и и т р у д а.

который в решительную минуту мог бы повалить раненое террористами политическое чудовище».

Но «элементы будущей рабочей партии» составляли тогда очень мало заметное и очень слабое меньшинство в нашей революционной среде. И не к ним и обращалась моя речь о «терроре». Она обращалась к тому *большинству*, которое свысока смотрело на «занятия с рабочими» и видело в «терроре» самый важный прием борьбы с царизмом. Я прекрасно знал, что это большинство, взятое в его целом, никогда не перейдет на точку зрения пролетариата, и что, поэтому, если бы оно отказалось от увлечения террором,—на что рассчитывать тоже было тогда совершенно невозможно,—то оно сосредоточило бы свою деятельность на совершенно уже бесплодных попытках «захватить власть». При таком их настроении нельзя было не считать «террор» наиболее производительной затратой сил *этой части нашей тогдашней «социалистической» партии*. При том же моя уступчивость на счет предмета, по отношению к которому неуступчивость была бы во всех смыслах бесплодной, позволяла мне ожидать некоторой уступчивости со стороны, по крайней мере, некоторых народовольцев по вопросу о марксизме вообще и о «занятиях с рабочими» в частности. Стало быть, мне нужно было уступать, и я уступал, можно сказать, до последнего предела.

Но скоро обстоятельства изменились: настроение «интеллигентных» революционеров сделалось иное, да к тому же становилось все более и более очевидно, что и «*ранить*»-*то* царизм сколько-нибудь серьезно может *только рабочий класс*, которому *неудобно* заниматься террором. Вот почему я счел своим политическим долгом предостеречь нашу нарождавшуюся социал-демократию от «террористических» увлечений. И я был бы очень рад, если бы меня убедили в том, что моя литературная деятельность не осталась без влияния с этой стороны. Но и это не значит, что я безусловно «отрицал» и «отрицаю террор». Повторяю, обстоятельства меняются, а террор—не принцип. Может быть, скоро придет такое время, когда я не менее энергично стану высказываться в *пользу террора*.

«Терорризм»—*не принцип*, а только прием борьбы. И когда я стану говорить *за* террор, тогда меня, пожалуй, опять упрекнут в противоречии; но те, которые упрекнут меня в нем, только покажут, что они способны усваивать лишь мои «пилюли», по необходимости изменяющиеся с изменением обстоятельств,—и не могут усвоить себе тот *метод*, который помогает мне понять *общий исторический смысл этих обстоятельств*.

Впрочем, об этом мы поспорим, если будет нужно, впоследствии, а

теперь я хочу заметить еще вот что. Есть люди, одновременно упрекающие меня за то, что я был слишком уступчив по отношению к партии, «господствовавшей» в начале восьмидесятых годов, и за то, что я стал спорить с ней, т.-е. за то, что я выказал неуступчивость. Такая манера драть с одного вола две шкуры решительно противоречит всем правилам логики; лучше держаться какого-нибудь одного из этих двух упреков.

Если же кого интересует вопрос о размерах моей уступчивости (или неуступчивости), то я скажу, *что я ни уступчив, ни не уступчив*. Я— просто человек, преследующий известную цель и твердо решившийся употреблять для ее достижения такие приемы, которые в данный момент кажутся мне наиболее действительными.

Хочется мне еще напомнить, что те споры, которые нам, марксистам, пришлось вести с народниками и с «суб'ективистами» в девяностых годах, были в своей сущности лишь повторением того спора, который я вел в «нелегальной» литературе с г. Л. Тихомировым. Позиции борцов остались те же; только арена сделалась шире.

Еще два слова в заключение. Лассаль говорит в своей статье о Лессинге: «Всякое революционирование внешней действительности само остается внешним и теряется в песке, если духу не удается так же справиться с исторически унаследованным внутренним содержанием, провести свой новый принцип через все инстанции и области и все их заново построить на основе этого принципа». С тех пор, как я правильно понял марксизм, я всегда считал, что революционер изменяет самому себе и своему «*новому принципу*», если ограничивается одним «внешним *революционированием*». Этим и об'ясняется мое будто бы излишнее пристрастие к *полемике*, этим об'ясняется также мой «догматизм», заставляющий меня решительно восставать против всяких попыток «*соединить Маркса*» с тем или другим из *идеологов буржуазии* или из *социалистов-утопистов*.

Г. Плеханов.

Флюэлен,
26 августа 1905 года.

Корреспонденции.

Каменская станица [1]).

Вся русская история представляет не что иное, как непрерывную борьбу государственности с автономными стремлениями общины и личности. Борьба эта тянется красною нитью через все 1000-летнее существование русского государства, принимает самые различные формы — от восстания Стеньки и Пугачева до возведения бегства от властей и полного отрицания государственности в религиозный догмат. Эта борьба на жизнь и смерть между двумя противоположными принципами отнюдь не прекращается и в настоящее время. Удалось ли государству внушить крестьянину другие привычки, другие стремления, можно ли опираться революционной партии на эти, повидимому, задавленные стремления к автономии общины и личности—это вопрос другой; я же в настоящем письме хочу только описать один из эпизодов этой борьбы—эпизод, имеющий тем бо́льший интерес для читателя, что он совершается на наших глазах. Я говорю о волнениях донских казаков по поводу введения новых правил пользования общественными лесами. Правила эти состоят в следующем. Лес делится большими просеками на 30 равных участков. Рубка может происходить ежегодно только в одном из них. Воспрещается пасти в лесу скот. Вводится правильный сбор лесных плодов. Каждый казак имеет право только на определенное количество леса, между тем как до сих пор каждый казак пользовался всем, «куда топор и коса ходили». Недоверие казаков, как и всего народа, к его земским опекунам таково, что вопрос о том, целесообразны или нет предлагаемые меры, вовсе и не поднимался, и только те станицы, в которых преобладали степные хутора, согласились подписать приговор об отдаче леса под земскую опеку, лесные же почти все протестовали.

Особенно упорно держалась и держится Луганская станица Донец-

---

[1]) Эта корреспонденция была напечатана впервые в № 2 «Земля и Воля», вышедшем 15 декабря 1878 г.

кого округа. Эта станица со своими хуторами окружена со всех сторон лесами. Удобные места для пастьбы скота отстоят верст на 15 от нее, и, разумеется, гонять скот так далеко очень неудобно, особенно, когда грозит еще перспектива постоянных штрафов. «Вышла свинья за ворота—она уж в лесу: вот тебе и потрава»—говорят казаки, и всякий знакомый с местностью вполне согласится с ними. Но не одни только эти неудобства заставляют протестовать против отдачи леса. Вековое недоверие народа к правительству таково, что, вслед за известием об «отнятии» лесов, пошли толки о том, что там-де пойдут отбирать озера, а после «хоть ложись да помирай».

Одна казачка, на станичном сборе, даже сравнила земство с парнем, который сулит девке золотые горы, покуда не добьется своего, а потом кругом обманывает ее.

Казаки, назначенные атаманом прокладывать просеки в лесу, отказались, по желанию всей Луганской станицы, выйти на работу. Из Черкасска наехало разное начальство, в том числе какой-то генерал, который хвастался перед казаками, что усмирял в 1861 г. бунтовавших крестьян. «Мы тебе не мужики!»—отвечали на это казаки. На одном из сборов, урядники, по приказанию начальства, стали-было записывать наиболее восставших против отдачи леса. Но это заметили казачки, которые вообще очень интересуются общественными делами,—кинулись на урядников и принялись их бить на глазах у начальства, которое бросилось бежать из станичного правления.

Началось-было следствие по этому делу, но станица заявила, что «били все». Несколько раз потом приказывали казакам выезжать для рубки просек в лесу, и ни разу они не послушались.

Приказано было собрать новый сход; но едва кончилась обедня, и атаман вышел из церкви, как его окружила толпа казаков, послышались ругательства и угрозы, которые едва не перешли в действие. Атаман немедленно же отказался от должности, и сход не мог состояться. Потом казаки отправились к квартире землемера, назначенного для межевания леса и проживавшего в станице, и грозились убить его, если он не уедет. Прошло несколько дней. Ночью, когда вся станица уже спала, кто-то выстрелил в окно хаты, занимаемой землемером. Хотя он не был даже ранен, но переполох был чрезвычайный. Утром землемер поспешил уехать из Лугани, а за ним и храбрый военачальник, усмирявший в 1861 году крестьян. Этот последний, еще накануне хвалившийся, что он хоть тридцать лет проживет в станице, а поставит на своем, так струсил, что не решился удирать без конвоя.

Всё начальство засело в Митякинской станице, в 25 верстах от Луганн, и оттуда требовало на суд тех казаков, которые отказались делать просеки в лесу. Последние не ехали, а требовали, чтобы суд сам ехал к ним. А пока тянулась между ними переписка, в Луганской станице шло следствие по делу «о покушении на жизнь таксатора». Подозревали сначала нескольких казаков—один был даже арестован,—но потом оказалось, что в ночь, когда было сделано покушение, он был на одном из хуторов. Стали валить всё на каких-то темных личностей, которые жили перед тем в станице, бывали даже на сходах и подстрекали будто бы казаков к бунту. Стали разыскивать этих таинственных посетителей, но оказалось, что их и след простыл. Всё дело было свалено на нигилистов.

К выстрелу население относится сочувственно и жалеет только, что таксатор не был убит. Между тем, казаки, которых требовали на суд по делу о неповиновении распоряжениям атамана, решились ехать: какой-то смельчак уговорил других, что им де и там ничего не посмеют сделать. Но когда они явились в Каменскую станицу,—главную в Донецком округе,— всех их (30 чел.) арестовали и посадили в острог. Но это только подлило масла в огонь: между казаками пошли толки о том, чтобы не платить совсем земских и страховых (штраховых, как они называют) денег. Они стали обвинять атамана в предательстве и грозились убить его. Казаков пугают военной экзекуцией, а они говорят, что «примут ее в пики». Поднялся вопрос: стоит ли давать землю (паек в 200 дес.) тем из офицеров, которые особенно энергично «усмиряли» казаков.

Чем всё это кончится—неизвестно; одно только можно сказать, что волнение не ограничивается одной Луганской станицей. В остальных станицах того же округа, напр., в Гундеровской, казаки, хотя и не гонят таксаторов, но владеть лесами собираются по-старому, и приговор подписали только «господа», т.-е. офицеры, «чернь» же—простые казаки—противится ему.

Вообще, как бы ни было различно сопротивление, недовольство везде одинаково сильно. Припоминаются какие-то предсказания «стариков», которые давно говорили, что придет время, когда будут стеснять казаков, когда у них отберут все угодья, и тогда произойдут на тихом Дону смуты, и будет кровопролитие.

И теперь уже казаки других станиц начинают с завистью, смешанной с уважением, смотреть на луганцев.

«Ведь у нас какой народ-то: им бы, как луганцам, гнать таксатора, а они уперлись, что не отдадут лесу, да и только; а таксатор—вон уже просек в лесу наделал», говорила мне одна хуторская казачка.

До сих пор я рассказывал вам о событиях, которых или был очевидцем, или знаю от верных людей. Что же касается до слухов, то говорят, что в Слонской станице, Усть-Медведицкого, если не ошибаюсь, округа, за таксатором, выехавшим делать в лесу просеки, бегали казаки с шашками, так что он едва спасся. Волнуются и в Урюпинской станице, волнуются в Усть-Медведицкой, Казанской и Раскольницкой. До сих пор казаки воображают, что стоят на легальной почве. «Мы своей кровью завоевали эти места,—говорят они,—кто же может отобрать их у нас? Когда государь был на Дону, он прямо сказал, что у нас останется всё по старому».

Теперь, к осени, стали возвращаться казаки с войны и, понятно, встретят далеко не с радостью эту новую «царскую милость».

Интересно здесь особенно то, что казаки Донецкого округа, где волнение приняло самые большие размеры, составляли 3-й Орлова полк, имеющий самое большое число георгиевских кавалеров и отличившийся в забалканском походе. Эти герои возвращались домой и без того сильно раздраженные мошенничеством их полкового командира, полковн. Грекова, заменившего Орлова. По рассказам казаков, он не выдавал им совсем фуражу для лошадей, между тем, как сам получал по 2½ руб. за каждый пуд сена, которое он будто бы выдавал лошадям. На возвратном пути при посадке на железную дорогу, казаки, если верить их рассказам, «приняли его в нагайки». После этого скандала, был вызван прежний командир полка, Орлов, который и взялся умиротворить казаков. На площади в нашей станице происходил публичный торг казаков с Орловым. Он предложил казакам 7.000 руб. с тем, чтобы они прекратили всякое неудовольствие на Грекова. Казаки насчитали, что он украл у них 200.000, и требовали их сполна, грозя в противном случае подать жалобу. В конце концов согласились на 25.000 руб., по рублю на водку каждому казаку и по 25 рублей на сотню для угощения. После этого публичного скандала, они разошлись по домам и, разумеется, только усилят собою контингент недовольных правительством.

Каменская станица [1]).

(Письмо второе.)

Я уже писал вам о так называемой Луганской истории, волновавшей население нашего округа с самого начала весны 1878 г. Вы помните, вероятно, что 30 чел. луганцев, «наряженных» для резки леса

[1]) «Земля и Воля» № 4 от 20 февраля 1879 г.

станичным начальством и отказавшихся исполнить это распоряжение, были посажены в каменский острог. Этих козлов отпущения держали в тюрьмах до конца ноября, постоянно таская на допросы. Ответы арестованных были коротки и единодушны: «мы ни в чем не виноваты, бунтовали не мы одни, а вся станица, да и по прочим станицам также недовольны земством и разными прочими нововведениями и терпят только до поры до времени».

«Неповиновение власти» было слишком упорно, соблазн для других станиц слишком велик: начальство решилось действовать «со скоростью и строгостью». Посылать солдат в станицу, в которой, вместе с принадлежащими ей хуторами, считается до 15 т. жителей, было слишком рискованно, поэтому изобретательное начальство прибегло к другому способу действий. В Луганскую станицу снова является какой-то «генерал» и обращается к проживающему там шпиону из отставных офицеров, Апостолову, с просьбой указать бунтовщиков и тем поддержать «основы». Тот, разумеется, не заставил повторять просьбы, и его усердие превзошло даже генеральское ожидание. Бунтовщиков оказалось целых полторы сотни, в число которых, замечу я от себя, попали казаки, даже не бывшие на сборах. Но проверять верность показаний «доносителя» было некогда, да и надобности не представлялось. Импровизированным бунтовщикам была об'явлена следующая альтернатива: или уговорить казаков отдать лес, или разделить участь арестованных раньше 30 чел., которым грозит Сибирь. Вы, мол, бунтовали, вы и усмиряйте. Усмирить они должны были в весьма короткий срок.

Узнав об этой дикой выходке начальства, луганцы призадумались. Поддержки другие станицы не оказывают, а начальство грозит Сибирью даже невинным, решено стереть Лугань с лица земли. Несколько дней шли всевозможные толки в станице и, наконец, стачечники решили, что «один в поле не воин». «Эх,—говорили они, с проклятием подписывая приговор об отдаче леса,—поддержи нас другие станицы, не так бы кончилось дело». Как только приговор был подписан, немедленно были освобождены от следствия не только 150 чел., оболганных Апостоловым, но и те 30 чел., что содержались в каменском остроге. Тяжкие обвинения, которые взвалились на них, были забыты начальством тотчас же, как миновалась надобность в заложниках, на которых можно было бы сорвать сердце и показать спасительный пример строгости.

Так кончилась Луганская история; кончилась, как и множество других, так называемых, мелких бунтов победою правительства, при чем сопротивление населения во время «бунта» только редко и то не надолго

переходило из пассивного в активное. Но причины, вызвавшие сопротивление, не только не перестали существовать, но, напротив, получили законную санкцию. Это, разумеется, только увеличивает неудовольствие казаков, и вот почему я думаю, что нам, быть может, придется еще увидеть эпилог только что закончившейся драмы.

А эпилог, пожалуй, будет интереснее самой драмы, хотя бы потому, что разыгрывать его будут не новички. Луганский «бунт» оставил казакам драгоценный опыт в подобных делах. Этот опыт показал, во-1), что для того, чтобы рассчитывать на какой-нибудь успех в борьбе с правительством, необходимо действовать дружно и единодушно; он показал, во-2), полную возможность единодушного действия, так как причины неудовольствия одинаковы во всем войске.

Казаки хорошо сознают это, и мне кажется, что ни в какой другой части населения России нельзя встретить более осмысленного и более сильного недовольства существующим порядком вещей.

Недовольны казаки своим новорожденным земством, которое отбирает леса, озера, реки, налагает пошлины на мельницы, налагает вместе с правительством акциз на соль, добываемую в войске, так как прежде добывание ее было вольное, и т. д.

Недовольны они плохим наделом земель. Это может показаться странным, так как всем известно, что свободных земель в войске пропасть. Но в том-то и дело, что из этих свободных земель никаких прирезок станицам не делается, хотя население растет. Официальный душевой надел казака в нашем округе считается 30 десятин, он и подать (положим, небольшую—50 коп. с пая) платит за 30 десятин,—а, между тем, количество земли, действительно удобной для обработки, колеблется от 8 до 10 дес., да и то ценится так дешево, что арендная плата не превышает 50 копеек.

Рядом с этими, так сказать, экономическими причинами недовольства, являются правительственные, вроде отобрания оружия у казаков. По возвращении с театра военных действий у них в Киеве были отобраны пушки, а затем, когда они приехали в Черкасск—и ружья. Казаки об'ясняют эти меры тем, что начальство, дескать, боится общего бунта на Дону.

Насколько ненавидят казаки земство, и как хорошо понимают они, что замена прежнего казацкого самоуправления земским—равносильна замене действительного, неподдельного самоуправления фиктивным и, притом, не дешево стоящим,—видно во всяком слове казака, толкуете

ли вы с ним в хате, встретитесь ли и разговоритесь по дороге или, наконец, явится ли он на сбор в станичное правление.

Случилось мне недавно пойти в один хутор, недалеко от нашей станицы. Дорогой меня нагнал казак, ехавший в телеге. После обычных приветствий и вопроса: «где (т.-е. куда) идешь?»—вызвался подвезти меня до хутора. Я воспользовался предложением, и у нас завязался разговор, который, разумеется, тотчас же свелся на земство.

«Земство,—говорил мой собеседник,—будет постепенно отнимать наши права; оно хорошо знает, что если захочет отнять их сразу, то казаки взбунтуются все. Казак—что бык: если его будут приучать к упряжи постепенно, будет терпеть, пока хватит сил, если же сразу под ярмо—непременно взбесится. Многие еще не понимают земства и его подходов, когда же узнают, то это даром не пройдет, казаки—им не мужики».

«Если уже земство так умно, что всюду сует свой нос,—иронизировал другой казак на сборе в Гундеровской станице,—то пусть лучше обучает мою старуху хлебы печь, а к нам не мешается».

С кем из казаков ни заговорите, везде услышите одно и то же. Появляются свои доморощенные ораторы, которые производят сильное впечатление и на нашего брата, а о казаках и говорить нечего. Я встретил одного из таких выразителей общего недовольства. Теперь уже седой и вдобавок глухой, этот замечательный человек всю жизнь свою не мог осесться на одном месте. Летом он бурлачит, зимой ходит по хуторам и станицам и рисует планы. Пламенные речи свои он начинает словами: «приутих, приуныл славный Дон», далее следует мастерское сравнение прежнего вольного казачьего житья с настоящим, конечно, не в пользу последнего; оканчивает он их песней собственного сочинения, которой я, к сожалению, не мог записать, запомнил же только начало:

Ктой-то, братцы, наше войско
Губит, грабит, разоряет.
Ктой-то, братцы, нашу землю
Податями облагает.

Таково положение дел у нас на Дону в настоящее время. Сделать из описанного те или другие выводы предоставляю читателю.

С Новой Бумагопрядильни [1]).

Читатели помнят стачку на Новой Бумагопрядильне, что на Обводном канале, стачку, наделавшую столько шуму в Петербурге и провинциальных городах. В настоящее время на той же фабрике случилось следующее, не лишенное интереса, происшествие. 8 ноября (Михайлов день) рабочие этой фабрики не явились на работу, мотивируя свое отсутствие тем, что, дескать,—праздник, работать грех; между тем, на остальных фабриках работа шла своим чередом, и так как каждый рабочий день 2.000 чел. приносит очень значительный барыш г.г. хозяевам Нов. Бумаг., то естественно, что такое воздержание пришлось им очень не по вкусу. Чтобы вознаградить себя, г.г. хозяева решили увеличить рабочий день с 13 час. (от 5 ч. утра до 8 час. вечера, с вычетом 1 час. на еду), как это было до сих пор, до 13¼ и продолжать на этих условиях, пока из этих кусочков времени не составится полный рабочий день.

Два дня на фабрике работа продолжалась до 8¼ час., возбуждая общее неудовольствие рабочих; но на третий день кому-то пришло в голову завернуть главный газопроводный кран в 8 часов и таким образом прекратить работу. Как только кран был завернут, рабочие подняли крик, начали бить стекла, портить основу (испорчено 9 основ) и густой толпой повалили с фабрики. Верный союзник отечественной промышленности, полиция не успела на этот раз явиться во время для восстановления «тишины и порядка», но за то на другой день после этого происшествия на фабрику явилась целая масса охранителей, и до сих пор работа продолжается в их присутствии, хотя уже не до 8¼, а только до 8 час.

Началась разборка: кто потушил, не видал ли, кто мог это сделать? Человек 7 рабочих таскали в участок, но они отвечали, что ничего не знают. Пристав (тот самый, что во время стачки, уговаривая рабочих итти на работу, угощал их апельсинами и поил их водкой) горячился и кричал, что он «упрет их в Архангельскую губернию» (!), но и это не помогло. Одна женщина, которая работала недалеко от крана, будучи спрошена, показала, что какой-то человек с лицом, завязанным передником, влез на лестницу и затворил кран. Так и до сих пор неизвестно, кто потушил газ, хотя полиция употребляет все усилия для разыскания виновного, и фабрика кишит полицейскими.

---

[1]) «Земля и Воля» № 2.

С бумагопрядильной фабрики Кенига [1]).

Конец прошлого 1878 г. ознаменовался несколькими более или менее крупными столкновениями петербургских рабочих с нанимателями. Мы хотим рассказать о некоторых из них, заранее извиняясь в том, что несколько запоздали своим сообщением.

Самым характерным образом обрисовывает положение нашего «освобожденного» рабочего стачка на Бумагопрядильной фабрике купца Кенига, потому мы отводим ей первое место в нашем рассказе. Читателям известно, что наши рабочие по своему экономическому положению резко разделяются на «заводских» и «фабричных». Между тем, как первые при меньшей продолжительности рабочего дня, получают плату почти достаточную для сносного (в русском смысле этого слова) существования, фабричные находятся в положении поистине ужасном. Рабочий день здесь не бывает короче 14 час.: в 5 час. утра рабочий становится на работу, домой возвращается в 8 час. вечера. Во всё это время ему дается только один час (от 12 до 1 час.) на обед и отдых. На некоторых фабриках продолжительность рабочего дня еще более. Его заработок редко доходит до 25 рублей в месяц, чаще же всего он колеблется между 17—20 руб. Из этой ничтожной суммы он должен найти средства для прокормления своей семьи, для уплаты податей и, наконец, для покрытия многочисленных и разнообразных штрафов. Эти последние составляют очень значительную отрицательную величину в заработке рабочего. Налагаются они под самыми различными, подчас весьма остроумными, предлогами; так, напр., хотя работа на фабрике Кенига, по условию, должна начинаться в 5 час., предприниматель, по пословице «с миру по нитке—голому рубаха», начинал ее в 4¾ ч.; кто не являлся за пять минут до срока, установленного таким образом вопреки условию, подвергался уже штрафу.

Второй пример. При фабрике есть вечно-пьяный и ничего не смыслящий фельдшер. Самым радикальным средством от всех недугов рабочего он считает холодную воду, которою и обливает заболевших. Больничные сцены из гоголевского «Ревизора», как видит читатель, повторяются и в настоящее время. Несмотря на очевидное даже для рабочих невежество фельдшера, они обязаны были лечиться у него, под страхом штрафа за попытку получить более полезный совет на стороне. Е ли при

---

[1]) «Земля и Воля» № 3 от 15 января 1879 г.

расчете, происходящем 15 и 30 числа каждого месяца, рабочий позволит себе спросить, на каком основании сделан тот или другой вычет из следуемых ему денег, его штрафуют снова. Если хозяин не приезжал ко дню расчета, и рабочие осведомлялись, когда же они получат «жалованье», они подвергались новому штрафу. Штрафовали за нечистоту машины, за местоимение «ты», употребленное в разговоре с мастером, и т. д., и т. д. О прогульных днях нечего и говорить; несмотря на то, что плата была поштучная, за каждый прогульный день рабочий должен был проработать 2 дня бесплатно.

При таком положении дел, спокойствие на фабрике, естественно, находилось в очень неустойчивом равновесии. Достаточно было малейшего повода, чтобы вызвать то, что на полицейском языке называется «бунтом». Таким поводом послужило следующее обстоятельство. При производстве работы на бумагопрядильной фабрике, получается много отброса, состоящего из порвавшихся ниток. Этот отброс образует возле станков кучу так-называемой «пыли». Для сортировки ее на фабрике Кенига существовали особые женщины. Незадолго до описываемого времени переменили на фабрике Кенига директора, и новая метла стала мести еще чище старой. Новый директор рассчитал разбиравших «пыль» женщин и возложил ее сортировку на «задних мальчиков» [1]).

29 ноября эти мальчики, числом 33 чел., заявили мастеру, что они не будут работать, пока их не избавят от этой новой обузы. Дело происходило в 12 ч., когда рабочие отправляются на обед. После обеда мальчики, действительно, не пошли работать и стали дожидаться хозяина у здания фабрики. Когда он явился к ним, и они попытались изложить ему свои жалобы, он без разговоров послал их к чорту. Они разошлись по домам.

Подождавши некоторое время своих подручных, мюльщики заявили мастерам, что не могут управиться со станками без помощи мальчиков. Мастер уверял, что к вечеру всё уладится. Но время приближалось к 8 час., а мальчики не являлись. Чтобы иметь возможность узнать имена «бунтовщиков», хозяин решил выдать всем бывшим на-лицо подручным билеты. Всякому, кто на другой день не пред'явит такого билета при входе на фабрику, грозили хозяйской карой. Но едва мастер стал раздавать эти билеты, раздался свисток, возвещающий окончание работы, и только трое из подручных успели их получить.

[1]) Каждый прядильщик (мюльщик) работает на двух станках, при чем у него есть два подручных мальчика: т.-н. «средний» 17—19 лет и «задний» 12—14 лет. Эти последние работают те же 14 часов, что и взрослые.

Несмотря на это, когда рабочие стали на другой день собираться на фабрику, у подручных спрашивали билеты, и так как они были только у трех, то все остальные были прогнаны с работы. Г. Кениг переходил таким образом в наступление.

Но в это время малолетние стачечники получили неожиданное подкрепление. Их взрослые товарищи об'явили мастерам, что будут работать только под условием исполнения требований «мальчиков». Фабричная администрация не была расположена к уступкам, рабочие, со своей стороны, решились привести угрозу в исполнение. Они вышли гурьбою из здания фабрики и присоединились к толпившимся на улице подручным. Они надеялись, что хозяин приедет для об'яснения с ними, и им удастся убедить его сделать уступки. Кениг, однако, не являлся, и рабочие решили заявить полиции о своем отказе от работы. Толпой отправились они в участок, но здесь-то и начались мытарства «бунтовщиков». Дежурный околоточный послал их в Екатерингофский сад, куда обещался приехать для об'яснений пристав. В 9 час. последний, действительно, появился в саду, сопровождаемый какою-то личностью, которую потом видели в III Отд., и вступил в переговоры с рабочими. Прежде всего он осведомился об именах близ стоявших прядильщиков. Он узнал и записал таким образом 4 фамилии, пока простяки не поняли, в чем дело, и не об'явили ему, что знать имена для него не важно, так как отказались работать все. Они передали ему письменное изложение своих жалоб. Пристав запел обычную в этих случая песню о том, что мешаться в отношения рабочих к хозяевам полиция не имеет права, так что сделать он ничего не может, но, впрочем, передаст их заявление градоначальнику. Толпа стала расходиться по домам. Те 4 рабочих, имена которых успел записать пристав, были задержаны и отправлены в участок. Там их продержали до обеда и, отпуская, приказали явиться к 8 ч. вечера в III Отд. Несчастные ничего не понимали, но, явившись туда, они встретили своего хозяина с двумя мастерами. Начался разбор их взаимных обвинений. Первое слово дано было Кенигу. Если читатель припомнит защитительные речи гетевского Рейнеке-Лиса, он составит себе полное понятие о смысле кениговских об'яснений. По его об'яснениям, выходило, что рабочие его фабрики живут, как нельзя лучше, что его отношения к ним всегда были безукоризненны, так что стачку нужно целиком отнести насчет «посторонних внушений». Г. Кениг обещался даже узнать и указать полиции подстрекателей. Когда рабочие пытались возражать ему, их не хотели и слушать. «Знаем мы эти речи,—закричали на них,—мы упечем вас туда, куда вы и не ждете. Завтра же идите на работу, в про-

тивном случае мы заставим вас работать силой; так и товарищам скажите».

С этим назиданием их отпустили домой. Третьеотделенское внушение не произвело, однако, ожидаемого впечатления, и на утро фабрика была пуста, как и накануне. Рабочие толпились около здания фабрики, но и не думали приниматься за работу. Часам к десяти утра приехал какой-то «генерал» из синих и спросил: «все ли рабочие на-лицо». Получив утвердительный ответ, он велел всем итти на двор фабрики. Тех, кто не шел во двор добровольно, вталкивали городовые. Когда на улице не осталось никого, фабричные ворота были заперты, и рабочим предложили войти в контору. Здесь их расставили двумя рядами, и генерал, сопровождаемый двумя мастерами, обошел все ряды; очевидно, кениговское указание на постороннее подстрекательство произвело впечатление у Цепного моста, и там решили поймать агитаторов. Но никого из посторонних не оказалось. После этой проверки генерал приступил к «увещеванию». То ласково, то грозя строгим наказанием за ослушание, просил он рабочих покориться хозяину и приняться за работу.

Когда рабочие были, повидимому, достаточно обстреляны артиллерийским огнем жандармского красноречия, пустился в атаку сам г. Кениг; он прочитал новые правила, предлагая рабочим или согласиться на них, или убираться с фабрики. Как видит читатель, план атаки был составлен очень недурно; сначала жандармское внушение, затем, как снег на голову, новые правила и неизбежная для рабочих альтернатива—или итти на работу, или выказать себя «бунтовщиками» и «зачинщиками» в глазах строгого генерала. Рассчитывали на неизбежное в таких случаях отсутствие единодушия, на невозможность для более влиятельных рабочих высказаться и поддержать колеблющуюся массу. Этот план непременно удался бы, если бы г. Кениг не пересолил в своих вновь высиженных правилах, которые оказались еще тяжелее старых. Эта бестактность погубила ловко задуманный гешефт. Рабочие единодушно заявили свое нежелание работать и начали выходить из конторы. Генерал окончательно потерял терпение. Угрозы тюрьмой, Сибирью и т. д. снова посыпались на «свободных» рабочих. «Вы слушаете злых людей,—кричал потерявший всякий такт бурбон. У меня здесь сто шпионов следит за всем, что происходит у вас, но если хозяин найдет, что этого мало, я пришлю еще столько же, Как только узнаю, что к вам ходят бунтовщики, сейчас же в Архангельск сошлю» и т. д. Однако и эти новые громы не принесли желанного результата: рабочие разошлись по домам и решились на крайнюю меру, к которой всегда прибегает русский человек, пока не убе-

дится, что ему остается апеллировать только к собственному кулаку— они решились подать просьбу наследнику. Утром 2 декабря человек 30 рабочих отправились к Аничкову дворцу. Оказалось, разумеется, что державный сынок так же не любит оборванной черни, как и его папенька: даже прошение не было принято. Какой-то наивный офицер посоветовал им обратиться к Зурову. Совет был исполнен, и 4 декабря Зуров явился с ответом. Как видит читатель, это было только несколько дней спустя после знаменитого Зуровского «ответа» студентам-медикам. Энергичный градоначальник и в этом случае не изменил себе. Выругавши рабочих самыми непечатными словами, об'явил им, что прочел их просьбу и завтра пришлет своего чиновника для разрешения их недоразумений с Кенигом. Вместо обещанного вестника мира, в ночь 5—6 декабря полиция начала ходить по квартирам рабочих и выгонять их на улицу. Собравши порядочную толпу, их потащили в III Отд. Новые застращивания, брань и новые приказания сегодня же становиться на работу. «Да нынче праздник»,—пытался возразить один из рабочих.—«Я тебе дам праздник, лентяй ты этакий,—закричал на него увещавший,—нынче нет праздника!»—«Как нет? Да нынче Никола, ваше благородие»,—заговорили рабочие, и III-отделенские святоши должны были прикусить язык. В 7 час. утра рабочих выпустили, наконец, приказав им собраться у фабрики и ожидать там чиновника для окончательного решения дела. Приказание и на этот раз было исполнено: немедленно около здания фабрики образовалась толпа и стала ожидать, что будет. К уступкам никто из рабочих не был расположен. Часов около 9 утра к толпе под'ехал Кениг и стал глумиться над рабочими: «Подождите, подождите, а мне ждать некогда, я покуда поеду в город». На заявление рабочих, что, за его отсутствием, чиновнику нельзя будет разобрать дело, Кениг на это ответил «подождите», — и преспокойно отправился в город. Через несколько минут после его от'езда, приехал чиновник и, узнавши, что Кениг не хотел его дожидаться, смиренно заявил, что он может подождать «господина Кенига». Прошло около часу бесплодного ожидания на сильном морозе. Соскучившиеся рабочие начали донимать чиновника шуточками, высказывая предположение, что шинель недостаточно греет «генерала». Мало-по-малу шутки начали переходить в резкие замечания, а затем и в брань. «От него ничего не дождешься,—кричали рабочие,—он тоже, должно, с хозяина-то получил». Чиновник рассвирепел: «бери их, подлецов», крикнул он близ стоявшим городовым. Но четверо полицейских ничего не могли поделать с выведенною из терпения толпою: рабочие не позволили арестовать никого из своих товарищей. В эту крити-

ческую минуту вернулся из города Кениг, и рабочие успокоились в ожидании разбора их дела. Оказалось, что несчастный чиновник приезжал совершенно напрасно. Несмотря на все предыдущие застращивания, рабочие твердо настаивали на исполнении их требований, а так как Кениг не желал уступить, то все они взяли расчет.

Количество рабочих на бумагопрядильне Кенига было невелико: около 200 человек, из которых взрослых было не более 80. Поэтому он без труда нашел новых рабочих, которые согласились на условия поистине невероятные. Рабочий день продолжается ныне на бумагопрядильне Кенига с 5 часов утра до 12 часов вечера; из этих 19 час. только 1 час полагается на еду. Мы не говорим о других условиях, которые были бы непонятны читателю, не имеющему специального знакомства с техникой прядильного ремесла. Скажем одно—все они сводятся к тому, что, затрудняя труд рабочего, сильно понижают и без того низкий заработок.

Пусть же судит читатель, ошибаются ли люди, утверждающие, что русский рабочий находится под двойным гнетом рабства экономического и политического.

В тех ремеслах, где продолжительность труда не достигает таких размеров, как в прядильном и ткацком, стачки не всегда кончаются в ущерб рабочим.

Так, напр., в конце августа, на фортепьянной фабрике Беккера, что на набережной Большой Невки, произошло столкновение рабочих с хозяевами по следующему поводу. В одной из мастерских фабрики работает до 40 человек. Половина из них, т.-н. ящичники, столяры, делающие остов фортепьяно, остальные—сборщики—немцы. Все эти рабочие получали от хозяина квартиру, отопление и освещение. Говоря точнее, они жили частью на кухне, частью в мастерской. В описываемое нами время хозяину понадобилась кухня, и он без церемонии приказал рабочим очистить ее. Таким образом им предстояли новые расходы на квартиру, и они решили потребовать повышения поштучной платы, именно, набавить на каждый ящик по 2 р. (прежняя плата доходила до 29—38 руб. за ящик). Хозяин отвечал, что они легко могут увеличить свой заработок, если перестанут «понедельничать», т.-е. будут аккуратнее являться на работу в понедельник. Рабочие забастовали, через три дня хозяин об'явил через мастера, что он согласен на повышение платы, и работа пошла по прежнему: только г. Беккер перестал заходить в мастерскую, опозорившую себя «бунтом».

Так же неудачно для хозяев кончились стачки на табачных фабри-

ках Мичри и Шапшала. Эти последние стачки тем интереснее, что они произошли в среде исключительно женской.

24 сентября, на табачной фабрике Мичри появилось об'явление, за подписью управляющего, гласившее приблизительно следующее:

«Сим об'являю, что папиросницы, получавшие 65 коп. за 1000 шт. папирос 1-го сорта, отныне будут получать 55 коп.; за 1000 папирос 2-го сорта, вместо прежних 55 коп., будет платиться 45 коп.».

Это понижение мотивировалось плохим сбытом готовых папирос.

Мастерицы, как называют себя работницы, сорвали это об'явление и отправились в контору для об'яснений. Там они об'явили приказчику, что несогласны работать за уменьшенную цену и просили принять у них палочки и машинки для делания папирос. Ответом на это заявление была непечатная брань со стороны приказчика. Он предложил им убраться немедленно, так как на их место много охотниц. Грубое обращение приказчика окончательно взорвало мастериц: палочки, машинки, скамейки полетели в окна; приказчик струсил и послал за хозяином. Г. Мичри не заставил себя долго ждать. Он немедленно явился на фабрику, и ласковая речь его, а более всего обещание не понижать плату успокоили толпу, состоявшую приблизительно из 100 мастериц. Попытка понизить и без того невысокую плату окончилась полной неудачей.

Через два дня та же история повторилась на табачной фабрике бр. Шапшал [1]), на Песках.

26 сентября на фабрике было вывешено следующее об'явление:

«*Мастерицам табачной фабрики Шапшал.*

Сим об'являю, что, по случаю остановки товара, я сбавляю с каждой тысячи папирос—10 коп.

Шапшал».

Мастерицы, здесь уже в количестве 200, немедленно сорвали это об'явление и на его место вывесили следующее:

«*Хозяину табачной фабрики Шапшал.*

Мы, мастерицы вашей фабрики, сим об'являем, что не согласны на сбавку, потому что и так от нашего заработка не можем порядочно одеться.

Мастерицы вашей фабрики».

Приказчик собрал мастериц и потребовал, чтобы они указали писавшую об'явление. Это требование было встречено решительным отказом.

[1]) Хозяева разных табачных фабрик, очевидно, стакнулись понизить плату одновременно.

Мастерицы об'явили приказчику, что об'явление писалось от имени всех их, и что ни одна из них несогласна на понижение платы. Они начали собираться и уходить. Приказчику оставалось только «умыть руки» и послать за хозяином. После тщетных попыток убедить мастериц работать за пониженную плату, г. Шапшалу пришлось уступить—величина платы осталась прежняя.

Волнения в среде фабричного населения [1]).

И несут эти люди безвестные
Неисходное горе в сердцах...

Едва мы окончили в № 3 рассказ о стачке у Кенига, как нам приходится описывать стачку, происшедшую разом на двух фабриках и отразившуюся рядом волнений в среде всего фабричного населения Петербурга.

Наша легальная литература не посмела или не нашла нужным хоть сколько-нибудь распространиться об этих фактах. Только «Русская Правда» поместила несколько строк о стачке на Новой Бумагопрядильне.

Правительство, со своей стороны, свалило и в этом случае всю вину на подпольную агитацию.

Индифферентизм так называемого общества и Угрюм-Бурчеевские преследования со стороны правительства—вот что встречает рабочий в трудную минуту своей жизни.

Социалисты, разумеется, не могут оставаться равнодушными зрителями таких важных событий в жизни рабочих, как стачка; но, спросим еще раз, мыслима ли была бы хоть какая-нибудь агитация, если бы она не имела прецедентов в положении рабочего?

Наши освободительные подвиги на Балканском полуострове так тяжело отразились на экономическом положении рабочих, что мы боимся надоесть читателю однообразием нашей летописи рабочей жизни, если описанию каждой стачки,—а они не замедлят своим повторением,—будем предпосылать описание экономического положения рабочего.

Наша летопись, действительно, будет очень однообразна. Смысл описываемых ею событий всегда одинаков. Весь он выражается в одном силлогизме:

Первая посылка: 14-часовой труд не только для мужчин, но и для женщин и для детей, низкая заработная плата и штрафы, штрафы без конца...

[1]) «Земля и Воля» № 4 от 20 февраля 1879 г.

Вторая посылка: общее хроническое недовольство рабочих, с одной стороны, и оборонительный и наступательный союз фабрикантов и околоточного—с другой.

Вывод отсюда ясен: какой-нибудь мелкий, сам по себе неважный факт—и на фабрике происходит «бунт», со всеми его последствиями; эти последние можно всегда предсказать заранее; масса будет «искать правды» у всех, кто только придет на память в данную минуту; ей будут отвечать драгонадами те, к которым она до сих пор обращается с такою трогательною доверчивостью.

Что это—водевильное недоразумение или безобразная историческая драма? По нашему, это драма, имеющая гораздо бо́льший интерес, нежели всевозможные «битвы русских с кабардинцами»—происходят ли они под Телишем или под Карсом. Не все, впрочем, думают так, как мы. Эти последние битвы воспевались Тряпичкиными-очевидцами, им же имя легион. Наши газеты послали «специальных» корреспондентов на оба театра войны, но ни один из газетных строчил и не подумал заглянуть на Обводный канал или на Нарвскую заставу, хотя это и не стоило бы никаких издержек.

Пусть же читатель не сетует на нас за утомительные и подчас однообразные подробности. Ведь только наш, взапуски разыскиваемый сотнями шпионов, станок и печатает отчеты об этих драмах, что ежечасно и ежесекундно разыгрываются за всевозможными «заставами», на всевозможных «каналах» и «реках», в этих грязных и мрачных предместьях нашей столицы, где смертность вдвое более, чем в буржуазных кварталах города.

Но мы приступим к рассказу.

15-го января рабочие Новой Бумагопрядильни, по обыкновению, явились в 5 час. утра. Несколько часов прошло обычным порядком; но перед обедом в ткацкое отделение фабрики явился главный мастер и вывесил какое-то об'явление. Об'явление отличалось лаконизмом: в нем были только имена 44-х ткачей, назначенных «к расчету». Но мастер дополнил его довольно обстоятельным словесным об'яснением. Он очень развязно заявил рабочим, что 44 их товарища выбрасываются на улицу за то, что они «бунтовщики», и что подобное правило будет и впредь «принято к руководству», и все неблагонадежные будут изгоняться с фабрики. Заявил он также, что вообще администрация фабрики, ввиду постоянных «бунтов» рабочих, думает заменить мужчин-ткачей—женщинами и детьми.

Речь его была прервана взрывом негодования рабочих. Об'явление

было изорвано в клочки, сам оратор должен был ретироваться. Ткачи высыпали на улицу и разбрелись по домам обедать.

После обеда, как всегда бывает в подобных случаях, перед воротами фабрики образовалась толпа, через которую не прошел ни один из тех, кто еще колебался пристать к стачке.

Пролог разыгрался.

Опытный взгляд, впрочем, заметил бы «бунт», если б и не видел толпы. Около фабрики забегали какие-то подозрительные личности, очень внимательно прислушивавшиеся к толкам рабочих, присматривавшиеся к их лицам.

«Фискалы, пауки!»—кричали им вслед рабочие; это—название, которым окрестили они шпионов.

Показались околоточные в полной форме, с револьверами на боку; их сопровождали десятки городовых.

Обычные в этих случаях картины.

Полиция начала расспрашивать, в чем дело. Для начала ее обращение было очень мягко. Узнавши, что рабочие об'явили забастовку, она мало-по-малу скрылась. Вероятно, еще не было получено надлежащих инструкций.

Рабочие, придя к единодушному решению относительно забастовки, тоже разошлись по домам. Нужно было выработать план действий, составить требования—и вот начались сходки. Сходки в таких случаях бывают двух родов. Иногда рабочие собираются открыто на улице, и тогда сходки бывают очень многочисленны; замечательно, что полиция никогда не решается нападать на них.

Иногда же они сходятся по квартирам. В грязной, низкой и душной комнате собирается несколько десятков рабочих; малолетние «подручные»—гамены наших рабочих кварталов—становятся на часы и зорко следят, не появится ли паук или полицейский.

Тут-то принимаются решения стоять до «конца», не итти против «общества» и т. д.; здесь же пишутся те прошения, которые подаются потом по начальству, и неизвестно, вызывают ли в нем злобный смех или зевоту.

Вечером 15 января требования стачечников были формулированы следующим образом:

1. 44 человека, назначенных к исключению, должны остаться на своих местах.

2. Заработная плата должна быть повышена на 5 коп.

3. Рабочий день сократить на $2^1/_2$ часа.

4. Штрафы за поломку «вилок» (один из инструментов, необходимых для тканья) прекращаются, так как эти поломки—вещь неизбежная в работе.

5. При приеме готовых уже кусков полотна, кроме браковщиков от хозяина, должны присутствовать выборные от рабочих.

6. Несколько ненавистных мастеров и подмастерьев должны быть выгнаны.

7. Хозяин должен заплатить за все время стачки, как будто работа и не прекращалась.

Эти требования были приняты единогласно, несколько раз прочитаны и потом, для памяти, записаны на бумаге.

Слухи о стачке на Обводном канале стали распространяться между рабочими других фабрик, и на другой день человек 30—40 ткачей явились с *фабрики Шау,* что за Нарвской заставой; они решились пристать к стачечникам и предлагали выработать общие требования. Полного тождества в требованиях рабочих обеих фабрик быть не могло, так как порядки, практикуемые у Шау, несколько отличаются от принятых на Новой Бумагопрядильне.

Дело в том, что работа у Шау идет безостановочно и день, и ночь. Рабочие разделяются на две смены: одни сутки одна смена работает 16 час., другая 8, другие—наоборот. Трудолюбивый фабрикант не прекращает работу даже вечером накануне праздника — она кончается только в 6 час. утра. В отношении низкой заработной платы и постоянных штрафов порядки, впрочем, одинаковы. Г. Шау принял на себя также и продовольствие рабочих: он имеет лавочку, в которой рабочие должны брать продукты; когда они являются за «получкой» в контору, там уже сделаны вычеты за «харчи», и иногда рабочему не достается получить ни гроша.

Правила, выработанные на общем собрании представителей рабочих обеих фабрик, мало чем отличались от предыдущих. Приведем, впрочем, требования рабочих г. Шау, «шавинских», как их называют остальные рабочие:

1. Чтобы на каждый вытканный кусок прибавили платы по 5 коп.

2. Чтобы прогульные дни не считались, если сам хозяин виноват в прогуле.

3. Чтобы основы выдавались хорошие, и чтобы материал выдавался при наших выборных.

4. Чтобы товар не браковали зря; чтобы за этим тоже наблюдали наши выборные.

5. Чтобы не штрафовали за полом инструмента, за отсутствие из фабрики по болезни или надобности и пр.

6. Чтобы за харчи платить не в конторе, как теперь, а в лавке, по получке денег на руки.

7. Чтобы на больницу платилось не по 1¼ коп. с рубля, как теперь, а по 10 коп. в месяц.

8. Чтобы за кипяток на фабрике рабочие не платили.

9. Чтобы утром давалось время с 8½ до 9 час. на завтрак.

10. Чтобы накануне праздников работа кончалась не в 6 час. утра, как теперь, а в 9 час. вечера.

11. Чтобы газовые горелки расположить, как лучше для работы; мы сами укажем места для них; а то теперь в иных местах вовсе свету нет.

12. Чтобы прогнать с фабрики подмастерьев: Никифора Арсентьева и Нефеда Ефимова, Николая Волкова и шпульника Кирилла Симонова. Нам от них житья нет! и мы с ними не хотим работать.

13. За время стачки—денег с нас не вычитать, потому что мы не работаем не по своей вине, а по упорству хозяев.

14. Чтобы никого из нас не брали в полицию за то, что не работаем; а тех, что теперь забрали, пусть выпустят.

На сходке представителей от обеих фабрик обсуждались также меры для поддержания беднейших из стачечников, а таких, естественно, должно было более оказаться на фабрике Шау, где хозяин грозился прекратить выдачу припасов из своей лавки; поэтому решено было первые сборы отдать в пользу «шавинских». Сборы же предполагалось делать на всех фабриках и заводах; в этом смысле были напечатаны воззвания ко всем петербургским рабочим. Надежда на их помощь не оказалась тщетною; сборы делались почти повсеместно, и возбуждение рабочих во время этих сборов было подчас так велико, что грозило перейти в забастовку.

На фабрике Мальцева (на Выборгской стороне) разбросаны были прокламации стачечников; был даже арестован рабочий, подозреваемый в их распространении. Рабочие заволновались. Пошли толки о том, чтобы поддержать «новоканавцев», но хозяину, тактичным обращением и обещанием всяких благ в будущем, удалось восстановить спокойствие. Г. Чешеру (его фабрика тоже на Выборгской стороне) не удалось отделаться одними обещаниями—он должен был прибавить по 3 коп. на кусок, и только этою уступкою ему удалось отклонить грозившую

стачку. Волновались рабочие на Охте... Так заразительно подействовал пример. Между тем, полиция и «пауки» делали свое дело.

В ночь на 16—17 число произведено было несколько арестов и обысков. Арестовано было 6 человек из рабочих Шау, около 20 человек с Новой Бумагопрядильни, один слесарь на Лиговке и т. д.

Со стороны полиции «в битвах с неприятелем» больше всех отличился некий Степанович. Он был еще во время мартовской стачки 1878 г. околоточным 3 участка Александро-Невской части, в районе которого находится Н. Б., и отличился такою энергией, что, хотя и был переведен куда-то в другой участок, но, едва повторилась стачка на Н. Б., он был снова переведен в 3 участок—усмирение бунтовщиков составляло его миссию.

Между тем, забастовка увлекала все новые массы рабочих. 17 число было апогеем стачечных успехов. В этот день все прядильное отделение Н. Б. присоединилось к стачке. Из начальственных мероприятий за это число можно отметить в нашей летописи приезд какого-то «полковника» за Нарвскую заставу, для выслушания жалоб рабочих. Такие миротворцы являются обыкновенно вместе с хозяевами забастовавших, сопровождаемые, как древне-римские консулы ликторами, целым отрядом жандармов. Наш полковник, конечно, не изменил этому почтенному обычаю. Он спросил собравшуюся толпу рабочих о причине забастовки. Ему подали письменное изложение жалоб. «Согласны вы на это требование?—спросил он, обращаясь к г. Шау; тот отвечал, разумеется, отрицательно,—ну так чего же вы такие-сякие хотите? Да я вас...» и т. д. и т. д. Начались обычные увещания, обильно пересыпанные крепкими словами. «У меня,—заключил храбрый полковник,— сейчас 25.000 солдат под ружьем, попробуйте только бунтовать».—«Больно уж много ты, ваше благородие, для нас наготовил-то,—отвечали ему, с обычным юмором русского простого человека, рабочие,—нас всего-то здесь 300 человек, и с бабами, и с ребятишками, а мужиков-то не будет и 70».

«Полковник» понял, что зарапортовался и, для поддержания своего авторитета, приказал схватить одного из остряков, но толпа окружила его и не позволила бросившимся городовым исполнить начальническое приказание.

Переговоры кончились безуспешно.

Между тем, начавшиеся аресты производили свое действие на рабочих: снова собрались представители обеих фабрик и решили добиваться освобождения товарищей. Нужно сказать, что в числе рабочих, аресто-

ванных ночью с 16 на 17, был малолетний прядильщик—«подручный» с Нов. Бумагопрядильни. Его товарищи, такие же малыши, как он, отправились утром, в числе около 50 человек, к участку и требовали его освобождения. Пристав Бочарский мужественно вышел навстречу к этим «бунтовщикам» и, с помощью десятка городовых и 3—4 мастеров, погнал ребятишек на работу. Разумеется, придя на фабрику, все они тотчас же разбежались.

Взрослые рабочие последовали примеру своих подручных и решили вступить в переговоры с полициею относительно освобождения арестованных.

Часов около 10 утра, 18 числа, толпа рабочих, около 200 человек, собралась недалеко от фабрики.

Здесь было громогласно прочитано и одобрено следующее заявление:

«Мы, рабочие с Нов. Бумагопрядильни, сим заявляем, что не пойдем на работу, пока не будут уважены все наши заявленные хозяину требования. Что же касается полиции, то мы отказываемся от всякого вмешательства с ее стороны для примирения нас с хозяином, пока не будут освобождены наши товарищи—люди, за которыми мы не знаем ничего худого. Если их обвиняют в чем-либо, пусть судят их у мирового, при чем мы все будем свидетелями их невинности.

«Теперь же их арестовали и держат без суда и следствия, что противно даже существующим законам».

Пока читалось это заявление, явился околоточный; он предлагал рабочим отправиться для об'яснений к приставу, но они сочли более удобным переговорить с градоначальником. Путь рабочих лежал через Загородный проспект. На нем есть дом мещанской гильдии с проходным двором. Едва рабочие прошли этот двор и вышли на Фонтанку, они были атакованы жандармами с приставом Бочарским во главе.

Пристав ехал на дрожках и махал палкой. С криком: «бей их, бунтовщиков» соскочил он с дрожек и кинулся на толпу: «рыцари ордена собачьей головы и метлы» поддержали своего полководца, и началась расправа во вкусе Александра Освободителя...

Описывать ли эту сцену или воображение русского читателя восстановит ее во всех деталях, как давно и хорошо знакомую?

Оторопевших рабочих били и мяли лошадьми; разумеется, что здесь уже некогда было разбирать не только правого от виноватого, но даже рабочих от простых прохожих. «После разберем»—вот обычный девиз укротителей.

А после оказалось вот что.

11 человек пришлось отвозить в больницу; из них было несколько человек прохожих, попавшихся под руку. «Незначительных ссадин», вроде тех, что констатировал, по словам «Правит. Вестника», медицинский осмотр у студентов-медиков, после их избиения, оказалось, вероятно, немало у тех из рабочих, которых не сочли нужным отправлять в больницу.

«Виктория» была решительная. «Внутренний враг» обратился в беспорядочное бегство, оставив в руках победителя 52 человека пленных которые и были препровождены в пересыльную тюрьму.

На поле битвы была оставлена засада, в которую и попадались интересовавшиеся участью своих товарищей и привлеченные слухами о побоище, рабочие. Говорят, что цифра пленных в этот день дошла до 80.

Как, вероятно, весело сочинять и получать «реляции» о таких подвигах! Мы предлагаем нашему «обожаемому монарху» учредить годовщину этой битвы и праздновать ее разводом в манеже и обедом в Зимнем дворце.

Узнав о месте заключения пленников, родные и знакомые поспешили навестить их и снабдить деньгами и пищей. Их не только не допустили до свидания с арестованными, но некоторые из них были задержаны и также посажены в пересыльную.

Между тем, околоточный Степанович продолжал «тревожить неприятеля» партизанскими ночными атаками. Нечаянные нападения на артельные квартиры, обыски и аресты нескольких человек—в этом прошла вся ночь.

Печально встретили утро следующего дня рабочие Нов. Бумагопрядильни.

В некоторых квартирах не осталось ни одного жильца, и они были заколочены, точно после чумы. В других—из 15 жильцов осталось всего 4—5 чел. Не было почти ни одной квартиры, где бы не был арестован хоть один жилец [1]).

К этому прямому насилию присоединилось, так сказать, косвенное. Полиция ходила по мелочным лавочкам и запрещала купцам выдавать рабочим в долг провизию. Только двое из лавочников (Баляснков и Цветков) не послушались этого приказа и продолжали выдачу «на книжку».

Квартирных хозяев, у которых рабочие снимали свои артельные

[1]) Нужно заметить, что фабричные рабочие живут артелями, человек по 10—15.

помещения, понуждали требовать уплату старых долгов, чтобы этим принудить рабочих выйти на работу.

Нужно сознаться,—меры эти были как нельзя более своевременны.

Забастовка продолжалась уже несколько дней и, повидимому, довольно чувствительно отражалась на акциях «компании Н. Б.». Так, по крайней мере, мы об'ясняем себе то обстоятельство, что, несмотря на совершенное отсутствие рабочих, г. директор Бумагопрядильни приказал ежедневно топить печи, разводить пары, зажигать газовые рожки утром и вечером, давать сигнальные свистки и т. д. При русской, если можно так выразиться, гласности, и такие меры служат иногда к поддержанию кредита.

Кроме того, г. директор снесся с III отделением, и 20 чел. жандармов были присланы для охранения тишины и спокойствия. Засевши в доме Кобузева, на Обводном канале, эта шайка начала свои бесчинства. От директора ей присылалось угощение: водка и надлежащая закуска.—Идет мимо дома Кобузева фабричный и играет на гармонике. Из ворот выбегает жандарм, выхватывает гармонику и снова прячется во двор. Вечером из этого гнезда раздаются звуки отнятой гармоники, крик, гам и разгульные песни. «Обещался Рюрик грабить по закону, а на место того—вон что вышло» припоминается нам место из одной сатиры.

По трактирам рыскали околоточные, городовые и шпионы; они без разговора хватали всякого, кто хоть сколько-нибудь был похож на «подстрекателя».

Пока все это происходило на Обводном канале, г. Шау решил не вводить «во искушение» полицию и покончить дело при помощи мероприятий, так сказать, экономических. Рабочих на его фабрике было немного, и он рассчитал, что может заменить их всех новым составом. Когда рабочие отказались брать расчет, он попросил у полиции одной услуги—принудить рабочих взять его.

Просьбу его, разумеется, поспешили исполнить; но полиция не могла отказать себе в удовольствии устроить облаву на бунтовщиков и повторила здесь те же сцены, что и на Обводном канале: обыски, аресты, шпионство и здесь пошли полным ходом. Около деревни Волынки, за Нарвской же заставой, стояло все это время несколько рот солдат.

Из 70-ти взрослых рабочих здесь было взято около 20-ти человек. Пойдет человек за чаем в трактир—и пропал, и не возвращается; где, куда делся,—его сожители не знают и могут только догадываться.

Пошло несколько человек на Обводный канал на сходку—и также пропали без вести. Это была сходка, на которую собралось несколько

десятков рабочих с обеих забастовавших фабрик; никто из них не вернулся домой; на утро послали мальчика на квартиру, где собиралась сходка—пропал и мальчик.

Как ни тяжело влияло все это на рабочих Н. Бумагопрядильни, но они все-таки народ не в первый раз «бунтовавший», так сказать, уже обстрелянный; на «шавинских» же все это нагнало панику: принужденные полицией взять расчет, они в ужасе бежали на другие фабрики или прятались у своих знакомых в городе.

Место их заняли новые рабочие—и фабрика снова пошла обычным ходом. Ходили потом слухи о каком-то неудавшемся покушении на целость здания фабрики, но определенного насчет этого таинственного покушения мы ничего пока сообщить не можем.

23 января вышло, наконец, «решение» взятых в плен на обоих театрах военных действий. Их разделили на две категории. Первую категорию, в которую вошли малолетние рабочие (до 15 лет), *пересекли поголовно* и освободили, пригрозивши вторичной поркой, если кто-нибудь из наказанных не пойдет на работу. Да, читатель, это факт, о котором тебе расскажет любой из рабочих Нов. Бумагопрядильни. Малолетних детей порют поголовно за участие в стачке.

Во вторую категорию вошли взрослые рабочие, которых выслали административным порядком частью на родину, частью в Вологодскую губ. До самого от'езда к ним не допускали никого из родных или знакомых. «С воли» сидящим не позволялось передавать ни деньги, ни даже с'естные припасы. На Николаевский вокзал их пригнали с партией преступников, которую сопровождал конвой солдат, усиленный на этот раз жандармским полувзводом. Пришедшие было проводить их товарищи лишь издали могли перекинуться с ними прощальным приветом.

Эта высылка произвела очень тяжелое впечатление на стачечников. У некоторых из высланных остались в Петербурге семьи, которые лишились таким образом всякой поддержки, что, при отсутствии заработка во время стачки, при запрещении лавочникам давать рабочим в долг с'естные припасы, ставило их в положение совершенно безвыходное. Одна надежда была на сборы, делаемые в среде учащейся молодежи и рабочих других фабрик, но, при той сети шпионов, которой были окутаны стачечники, даже раздача денег беднейшим из них не могла производиться открыто; наконец, собранных денег не всегда хватало, и тогда стачечники сами собирали свои гроши для помощи голодавшим. Тот, кто хоть раз присутствовал при таких сборах, не забудет их никогда. Стоит толпа рабочих, человек в 80—90. Толкуют о положении

дел; сообщают о новых подвигах полиции; принимают те или другие решения. «Послушайте, братья,—раздается из толпы голос,—я видал сегодня старика (называют имя); у него жена, ребятишки; верите ли, купил он давеча утром на гривенник харча, а завтра что будет есть—и сам не знает, надо бы помочь».—«Надо, надо,—соглашается толпа.—Эй, Ванюха! Обходи народ с шапкой». Ванюха снимает картуз и обходит присутствующих. И тянется загрубевшая, мозолистая рука фабричного и кидает он в шапку серебряные и медные монеты, при чем положивший мало считает долгом извиниться собственным стесненным положением. «Вот что, братья, я только 3 коп. кладу—ну, ей Богу, самому есть нечего».—«Знаем, знаем,—отвечают ему,—ты об этом не говори, а кто что может, то и клади». В шапке оказывается несколько рублей, которые и вручаются кому-нибудь из присутствующих, для передачи по назначению. Иногда тот, для кого делаются такие сборы, оказывается присутствующим в толпе, и тогда деньги передаются ему непосредственно. «Спасибо вам, братцы,—кланяется тронутый рабочий,—дай вам Бог...» — «Не на чем, не на чем, мы должны помогать друг дружке, дело общее; мы тебе собрали от всего общества»—возражают ему.

— Пауки через забор глядят,—раздаются тоненькие голоса «подручных»,—и толпа начинает расходиться.

А ночью новые обыски, новые аресты. Около 5 час. утра толпы городовых, под предводительством нескольких околоточных, ходят по квартирам рабочих, расталкивают их тесаками и буквально силой гонят их на работу; кто энергичнее протестует, тому приказывают «одеваться»—его арестуют и ведут в участок.

Днем происходят другие сцены. Стоит у дверей трактира рабочий, к нему подходит околоточный в сопровождении 5 городовых. «Что не идешь на работу?» Рабочий что-то отвечает. «Ах, ты такой-сякой». Околоточный хватает и трясет его за бороду, «так аж зубами он защелкал», говорил нам очевидец.

Идет фабричный на улице, навстречу ему околоточный. «Поравнялся с ним—да в бок кулаком... а потом развернулся да по щекам... да по щекам...» рассказывают потом друг другу рабочие.

Г-н хроникер «Вестника Европы»! точно ли крепостное право трудами людей вашего пошиба уничтожено в России?

Нам кажется, что оно только приняло иные формы. Кто из нас прав—пусть судит читатель.

Все описанные происшествия сломили, наконец, энергию рабочих.

Стачка держалась 9 дней, на 10-й — шпулечницы (около 50) и часть мюльщиков вышли на работу. Первым прибавлено по 3 коп. за пуд смотанной пряжи; вторые не получили никаких уступок.

На другой день пошли на работу и ткачи, сначала человек 100, после обеда около половины, а к вечеру только несколько десятков человек продолжали упорствовать. Теперь большинство работает, но опустошения, произведенные полицией в среде рабочих, так велики, что много станков остается не-занятыми.

Фабрики снова в полном ходу; пыхтит пар, стучат колеса, покрикивают мастера и браковщики, и только унылые лица рабочих и несколько десятков семей, лишившихся трудовых рук своих отцов, содержащихся по «чижовкам»—напоминают о случившемся, да несколько десятков сосланных, которых их товарищи называют «политическими» и тем выделяют из массы ссылаемых за уголовные преступления,—разносят по отдаленным окраинам России весть о новой жизни рабочего, наступившей для него после 19 февраля 1861 г.

Еще недавно масса смотрела на «политических»», как на «изменников» и «бунтовщиков»; некоторые не сильные в мышлении люди видели в этом проявление ее здравого смысла. Теперь масса знает, что называется бунтом на языке предержащих властей; она знает, что в числе «политических» есть ее люди, которые пострадали за «общее», «правое» дело.

Так популяризируется идея бунта и политических преступлений в России!

Стачечники вышли на работу; ходят слухи, что каждый из них заплатит трехрублевый штраф. Может быть, они подчинятся и этому новому грабежу. Но стачка все-таки не кончилась, только продолжение ее отсрочено на неопределенное время. В том-то и заключается жизненная сила таких протестов, что они вспыхивают, когда не удовлетворяется минимум даже самых необходимых потребностей массы. Никакие репрессии не застращают ее надолго, когда ей представляется альтернатива: бунтовать или умирать с голоду. А когда ей удается отвоевать себе удовлетворение этого минимума, явятся новые потребности, стойкость ее окрепнет, благодаря опыту, приобретенному в борьбе, и от бунта за 5-ти копеечную прибавку она постепенно будет переходить к более и более широкому протесту, пока не исполнит, наконец, завета своих дедов и прадедов, завета всей русской истории, пока не возьмет в свои могучие трудовые руки красного знамени *Земли и Воли*.

Закон экономического развития общества и задачи социализма в России [1]).

«Основная задача социально-революционной партии—установить на развалинах теперешнего государственно-буржуазного порядка такой общественный строй, который, удовлетворяя требованиям народа в том виде, как они выразились в мелких и крупных народных движениях и повсеместно присущи народному сознанию,—составляет, вместе с тем, справедливейшую форму общественной организации» (См. «Речь Мышкина»).

I.

Было время, когда творить социальные перевороты считалось делом сравнительно очень нетрудным. Стоило устроить заговор, захватить в свои руки власть и затем обрушиться на головы своих подданных рядом благодетельных декретов. Человечество считали способным «познать по приказанию начальства» и провести в жизнь любую истину. Такое воззрение свойственно было, впрочем, не одним революционерам. Оно вытекало из общего взгляда на социальные явления, по которому все они обусловливаются волею одного или нескольких лиц, державших «кормило правления». В истории каждого народа можно насчитать несколько более или менее эксцентричных законодателей, мечтавших перестроить страну по планам, выдуманным в их кабинетах и санкционированным их властью. Это было время теологического периода в развитии социологии. Как в природе, во время господства этого периода в естествознании, все явления об'яснялись волею одного или нескольких божеств, так и в обществе ход его развития предполагался зависящим исключительно от влияния законодательной власти.

Развитие более правильных взглядов на социальные явления необходимо должно было вытеснить вышеупомянутые теории общественного

---

[1]) «Земля и Воля» № 3 от 15 января 1879 г.

явления, и только небольшая кучка революционеров держится их в настоящее время.

Когда убедились, что история создается взаимодействием народа и правительства, при чем за народом остается гораздо бо́льшая доля влияния,—большинство революционеров перестало мечтать о захвате власти. Они поняли, что перевороты бывают гораздо более прочными, когда они идут снизу. И вот явилось множество разработанных до мельчайших деталей социальных систем, которые предполагалось пропагандировать в массе, чтобы таким образом подготовить ее к желательному для революционеров социальному перевороту.

«Социалистические писатели 30-х и 40-х годов,—говорит один из талантливейших учеников и популяризаторов Маркса,—составили, как известно, громадное множество планов желательного в интересах большинства народонаселения кооперативного устройства будущего общества. При этом, естественно, предполагалось, что люди могут по собственному желанию ввести в употребление какую им угодно форму сочетания труда, лишь бы она казалась им выгодною и разумною».

Поскольку эти взгляды обусловливали собою изменение старой формулы революционеров «всё для народа» в том смысле, что всё должно быть сделано посредством народа,—они были шагом вперед в воззрениях социалистов, но и они не отводили надлежащего места законам общественного развития. «Забывали,—говорит далее цитированный нами писатель,—что форму общественного строя нельзя придумать, нельзя и воротить назад, как невозможно перескочить из ремесла, помимо мануфактуры, в фабрику, и из фабрики в мануфактуру. Форма эта дается самой жизнью». На жизнь-то социалисты 30-х и 40-х годов не обратили внимания. Придуманная ими форма общежития считалась годною для общества, какова бы ни была его экономическая история: они не знали пределов своей реформаторской фантазии. Метафизическая сущность—пропаганда считалась способною изменять по произволу ход истории. Мысль считалась всем, жизнь—ничем. Серьезное внимание на те элементы социальных переворотов, которые составляют результат предшествующей жизни общества,—социалисты обратили очень недавно.

Родбертус, Энгельс, Карл Маркс, Дюринг образуют блестящую плеяду представителей позитивного периода в развитии социализма. У автора «Капитала» социализм является сам собою из хода экономического развития западно-европейских обществ. Маркс указывает нам, как сама жизнь намечает необходимые реформы общественной кооперации страны, как самая форма производства предрасполагает умы масс

к принятию социалистических учений, которые до тех пор, пока не существовало этой необходимой подготовки, были бессильны не только совершить переворот, но и создать более или менее значительную партию. Он показывает нам, когда, в каких формах и в каких пределах социалистическая пропаганда может считаться производительною тратою сил. «Когда какое-нибудь общество напало на след естественного закона своего развития,—говорит он,—оно не в состоянии ни перескочить через естественные формы своего развития, ни отменить их при помощи декрета; но оно может облегчить и сократить мучения родов». Влиянию пропаганды он указывает таким образом пределы в экономической истории общества. Дюринг, признавая вполне влияние личностей на ход общественного развития, прибавляет, что деятельность личности должна иметь «широкую подкладку в настроении масс».

Казалось бы, что научное обоснование социализма ничего, кроме пользы, для него принести не может. На деле вышло не так. Сам Маркс не предвидел, вероятно, какие выводы сделают из его учения люди, которым нужно, во что бы то ни стало, поддержать существующий порядок вещей. Мы говорим о выводах, которые делают из его учения наши либеральные публицисты. «В России социализм!—восклицают они:—да сам ересиарх Маркс не подписал бы ему permis de séjour в нашем отечестве. Ведь он признает, что социалистическая продукция должна развиться из капиталистической, и было время в западной Европе, когда останавливать развитие зарождавшегося капитала значило поворачивать назад колесо истории; вот почему Лассаль называет крестьянские войны в Германии реакционными. Россию нельзя еще назвать страной капиталистической продукции в том смысле, какой придает этому слову Маркс. Капиталистическое производство требует для своего развития образования класса «свободных от всего» и «вольных, как птица» пролетариев, а у нас никакого обезземеления мужиков не было, напротив, наши крестьяне освобождены с землей, и крестьянская община служит лучшим оплотом против развития русского пролетариата. Россия застрахована от язвы социализма (блажен кто верует!). Закон смены экономических фазисов—есть общий закон для всякого общества, и, если вашим теориям и суждено когда-нибудь осуществиться, если социалистическую пропаганду и можно считать рациональной на Западе, то в России она и по Марксу несвоевременна!»—Поэтому, доскажем мы недосказанное в писаниях наших оппонентов,—задача русских последователей Маркса заключается в том, чтобы покровительствовать развитию отечественной промышленности, изменить вековым традициям своего народа и обеззе-

меливать его, утешаясь сознанием того, что всё это необходимо для развития социализма в России.

Что касается до русских либералов, то им к подобной двойственности не привыкать стать: известно, что они издавна имели одну мерку для Запада, другую для России; что, сочувствуя расширению прав человека в Европе, они пели панегирики расширению прав квартальных надзирателей у себя дома. Наши вольтерианцы бывали нередко самыми ярыми крепостниками; либеральный друг энциклопедистов — Екатерина II—крестьянскими душами платила за свои египетские ночи. Еще Денис Давыдов воспевал эту двойственность в стихе:

А глядишь—наш Лафаэт,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей.

Но такие вещи могут проделывать только люди, у которых искреннего отношения к проповедуемым ими убеждениям ровно столько же, сколько его было у римских авгуров времен Империи или сколько его есть у русских либералов времен Александра II. Социалистам же, доказавшим не один раз, что они не отделяют слова от дела, класть мужика под усовершенствованный пресс капиталистического производства—вовсе не к лицу.

Посмотрим же, к чему обязывает нас учение Маркса, тем более, что это будет очень полезно нам ввиду необходимости установить исходные пункты нашей программы.

Общество **не может** перескочить через естественные фазы «своего развития, *когда оно напало на след естественного закона этого развития»*, говорит Маркс. Значит, покуда общество не нападало еще на след этого закона, обусловливаемая этим последним смена экономических фазисов для него необязательна.

Естественно возникает вопрос: когда же западно-европейские общества—служившие об'ектом наблюдения для Маркса—напали на этот роковой след? Нам кажется, что это случилось именно тогда, когда пала западно-европейская община. Известно, что она разрушилась еще в борьбе с средневековым феодализмом. На месте общинного принципа, с его правом на землю каждого гражданина, стал сначала тот феодальный принцип, что право на землю дается только рождением, затем буржуазный принцип—что землею может владеть всякий, кто в состоянии заплатить за нее деньги.

Самый серьезный кризис западно-европейские общества пережили именно тогда, когда разрушение общины видоизменило тип земельных отношений в народе. Чем обусловилось падение западно-европейской общины—для нас теперь не важно; мы констатируем только факт замещения индивидуализмом общинного принципа. Постепенно развиваясь, индивидуализм, по внутренней необходимости, должен был подкопать феодализм, с помощью нарождавшегося капитала, научных открытий и изобретений.

Феодализм, действительно, пал под соединенными ударами своих могучих противников; но не надо забывать, что «дух», сообщивший этому движению жизнь, одушевлявший эти открытия,—был дух личности, индивидуализма... Этот принцип нашел свое политическое воплощение и произвел общественные потрясения—американскую революцию и французский переворот (Дрепэр). Войдя всецело в жизнь западно-европейских народов, пропитавши собой все взаимные отношения людей, он, естественно, мог погибнуть только вследствие в нем самом заключавшихся противоречий; а эти последние могли выказаться во всей своей силе только в капиталистической продукции. Сплачивая большие массы рабочих на фабриках, создавая общие им всем интересы, приучая их к той «социализации труда», на которую указывает Маркс, одним словом, воспитывая в людях социальные привычки, которые были забиты со времени падения общины, индивидуализм рыл сам себе могилу, и нет ничего удивительного в том, что социализм встречает такой радушный прием в местностях крупного машинного производства. Понятно поэтому всё значение капитализма—этой крайней формы воплощения индивидуализма—в деле подготовления умов рабочих масс к восприятию социалистических учений. В обществе, построенном на принципе индивидуализма, но в котором не существует социализации труда на фабриках и крупная промышленность не создает общих интересов рабочих масс, социализм необходимо должен был встретить гораздо более холодный прием. Различные социалистические «утопии» появлялись и в средние века, но тогда социализм был исповедуем отдельными личностями, в лучших случаях создавал религиозно-коммунистические секты; массовым же движением он стал только теперь, в классическое время капитализма, когда самою техникой производства люди обязываются к коллективизму; владеть и работать машиной одному нет никакой возможности, и рабочие должны владеть ею сообща, если не желают оставаться в вечной зависимости от фабриканта.

Теперь нам понятно, почему западно-европейские общества не могли

ни «перескочить через естественные фазы своего развития, ни изменить их помощью декрета». Общественные привычки не могут быть изменены указом, точно так же, как не могут делать скачков. Изменение их обусловливается постепенным накоплением самых незначительных видоизменений.

Нам понятна также роль капитализма в деле постепенного сплочения рабочих масс. На Западе он, действительно, был естественным предшественником социализма; но мы полагаем, что ход развития социализма на Западе был бы совершенно иной, если бы обшина не пала там преждевременно. Сам принцип общественного землевладения не носит в себе того неизгладимого противоречия, каким страдает, положим, индивидуализм, поэтому он не носит в себе самом элементов своей погибели. Нам могут сказать, что противоречие принципа первобытной общины заключалось в том, что дальше своих пределов она ничего не видела, что она конкурировала со всеми другими общинами. Но мы возразим, что это было скорее в родовом, чем в первобытном общинном быте. Чтобы недалеко ходить за примером, мы укажем хоть на донских казаков, у которых земля находится во владении отдельных общин, но каждый член их считается вместе с тем членом всей казацкой области; поэтому он может переходить из общины в общину, в каждой из них имея право на надел. И такая земельная и областная федерация общин мыслима в любой стране, где общинный принцип не искажен противоположными ему влияниями. Точно так же возможность общинной обработки земли доказывается тем, что, даже при теперешних условиях, эта общинная обработка сушествует в некоторых отдельных общинах. Факты эти крайне немногочисленны, но для доказательства того, что общинное владение землею, как оно практикуется в первобытной обшине, нисколько не мешает коллективной обработке земли, достаточно было бы и одного факта с тем условием, конечно, чтобы он не был создан искусственно. Итак, в принципе первобытной общины, как она сушествует, положим, в России, мы не видим никаких противоречий, которые осуждали бы ее на гибель.

Поэтому, пока за земельную общину держится большинство нашего крестьянства, мы не можем считать наше отечество ступившим на путь того закона, по которому капиталистическая продукция была бы необходимою станциею на пути его прогресса. Тенденция этого закона будет заключаться, напротив, в понижении уровня социальных чувств нашего народа, между тем, как на Западе он был когда-то явлением действительно прогрессивным.

Откуда же эта разница в оценке значения одной и той же формы кооперации?—спросит, быть может, читатель. Не то ли это самое, в чем упрекаете вы либералов?—Но вопрос идет не о том, хороша или дурна форма капиталистической продукции сама по себе, а о том, какую форму кооперации она заменила собою. Если замененная ею форма общежития была низшего типа сравнительно с нею—общество прогрессировало; если же капитализм водворился в обществе, построенном на более справедливом принципе,—в общественном развитии был сделан попятный шаг.

Посмотрим же теперь, как развился капитализм на Западе и как он может развиться у нас. В первом случае он являлся на смену кооперации; хотя и отличной от него, но построенной на том же принципе индивидуализма (мы говорим о мануфактуре), поэтому «социализация труда» крупной промышленностью была положительным приобретением для социальных привычек народных масс. У нас же капитализм вытеснит собою поземельную общину, т.-е. такую форму кооперации, которая построена на гораздо более высоком принципе. И никакая «социализация труда» на фабриках не вознаградит того положительного упадка социальных чувств и привычек, который произойдет вследствие этого радикального изменения в отношениях народных масс к их главному орудию труда—земле.

Вообще, история вовсе не есть однообразный механический процесс. Да и сам Карл Маркс не принадлежит, сколько нам известно, к числу людей, охотно укладывающих человечество на Прокрустово ложе «общих законов». Возражая Мальтусу по поводу его «Опыта о народонаселении», он говорит, что абстрактные законы размножения существуют только для животных и растений. Было бы очень непоследовательно с его стороны отрицать существование «абстрактных законов» в вопросе о размножении человечества и признавать их в несравненно более сложных и запутанных явлениях развития человеческих обществ. Выражаясь строже, надо сказать, что общие законы социальной динамики существуют, но, переплетаясь и комбинируясь различно в различных обществах, они дают совершенно несходные результаты точно так же, как одни и те же законы тяготения дают в одном случае эллиптическую орбиту планеты, в другом—параболическую орбиту кометы.

Итак, мы не видим основательности в тех соображениях, в силу которых заключают, что Россия *не может* миновать капиталистической продукции. Поэтому социалистическую агитацию в России мы не мо-

жем считать преждевременной. Напротив, мы думаем, что теперь она своевременнее, чем когда-либо, только ее исходная точка и практические задачи не те, что на Западе. Основания для этой разницы в революционных приемах при поверхностном взгляде могут показаться незаслуживающими особенно внимания, но мы думаем, что много «разочарований» было бы избегнуто, много напрасно затраченных сил получило бы должное приложение, если бы это различие в задачах русских и западно-европейских социалистов было выяснено раньше.

В чем же дело?

Задачи социально-революционной партии не могут быть тождественны в двух обществах, экономическая история, современные формы общественных отношений которых представляют очень резкую разницу. Если мы не хотим вернуться к метафизическому социализму 30-х годов, мы должны признать, что максимум необходимых и возможных социальных реформ определяется формою землевладения и техникою земледелия, если речь идет о стране земледельческой,—формами и техникой промышленности, если говорим о стране, в которой преобладает обрабатывающая и добывающая промышленность.

Поясним нашу мысль примером. Возьмем два общества, положим, по 50 человек. Одно из них пусть состоит из рабочих ткацкой фабрики, где каждый станок составляет часть одной паровой машины. Если этим фабричным рабочим надоест работать на хозяина, то, как мы уже говорили выше, никакого другого способа владения этой машиной, кроме коллективного, им и придумать невозможно. Поэтому социально-революционная агитация на этой фабрике *может и должна* выставить на своем знамени принцип коллективного владения орудиями труда: техника производства создает необходимую для этого коллективизма подготовку в умах и характерах рабочих. Допустим теперь, что другие 50 человек составляют деревенскую общину. Пусть в этой общине практикуется экстенсивная культура земли. Самое употребительное при такой обработке земледельческое орудие—соха, с которою, как известно, может с удобством управляться один рабочий. Если эта община подвержена экономической эксплоатации со стороны государства или соседнего крупного землевладельца, то насущною задачею революционера будет устранение этих мешающих благосостоянию и дальнейшему развитию общины враждебных влияний; пропаганда же коллективного труда станет на очереди при замене экстенсивной культуры земли интенсивною и первобытных сох—орудиями, по самой природе своей требующих кооперации всех или нескольких членов об-

шины. Когда эта община увидит необходимость завести, положим, паровой плуг, то пропаганда коллективного владения этим плугом будет несомненно успешна. «L'humanité agit avant de raisonner son action», и те или другие формы общественных отношений устанавливаются не «общественным договором», а экономическою необходимостью: роковая ошибка социалистов 30-х годов заключалась не в планах их, рассматриваемых безотносительно, а в том, что эти реформаторские планы совершенно игнорировали формы современной нам кооперации. Искренних и бескорыстных друзей человечества всегда и везде было очень и очень мало; тем с бо́льшей осмотрительностью должны они браться за практическую деятельность; тем строже должны они держаться правила: прикладывать свои силы только там и тогда,—где и когда они принесут наибольшую пользу.

Желательные социалистам формы общественных отношений—коллективное владение землею и орудиями труда—еще не имеют практического приложения на Западе. В формах капиталистической продукции существует только намек на них. Поэтому задачи социально-революционной партии заключаются в обобщении этих элементов общественного обновления, возведении их в стройную систему и в пропаганде в массах.

Способ капиталистической продукции таков, что пропаганда коллективного труда имеет столько же прецедентов в технике производства, как и пропаганда коллективизма владения; даже более: восприимчивость масс к этой последней идее развивалась именно из факта коллективного труда и только из него.

В нашем отечестве дело обстоит не так. Россия—страна, в которой земледельческое население составляет громадное большинство. Промышленных рабочих в ней едва ли можно насчитать даже один миллион [1]), да и из этого сравнительно ничтожного числа большинство—

---

[1]) Мы приводим цифры, показывающие численное отношение земледельческого класса, с одной стороны, и промышленного и торгового—с другой: в Англии, Франции и Пруссии:

Классы.	Англия.	Пруссия.	Франция.
Земледельческий . . .	7,3%	17,6%	13,7%
Торговый	3,6%	1,9%	4,0%
Промышленный	22,7%	9,1%	10,6%

Точной статистики распределения населения по занятиям в России не существует. Если судить по численности сословий сельских и городских, то отношение будет таково:

земледельцы по симпатиям и положению. Преобладающая форма землевладения в России не только не нуждается в пропаганде, но составляет самую характерную черту в отношениях нашего крестьянства к земле, она составляет для крестьянина завет всей его истории.

Коллективный труд не только служит у нас прецедентом коллективного владения, но, напротив, он сам может развиться только из этого последнего. Генезис этих двух главных черт социалистической продукции, как видит читатель, будет у нас совершенно обратный. Мы говорим «будет», потому что теперь, по нашему мнению, еще не настало время пропаганды коллективного труда. А не настало оно потому, что при том первобытном способе земледелия, какой практикуется нашим крестьянством, коллективный труд немного изменил бы условия успешности труда. Там же, где успешность труда находится в большей зависимости от дружного, артельного ведения дела—во всевозможных промыслах, — такая пропаганда может и должна иметь успех. Но там мы и без того видим всестороннее проведение артельного принципа в отношении русского рабочего люда; если наши промышленные артели и клонятся к упадку, то главная причина этого заключается во вредном влиянии кулаков, существование которых так же необходимо в нынешнем государстве, как существование паразитов на теле нечистоплотного человека. Значит, главные усилия и здесь должны быть направлены на устранение развращающего влияния современного государства. А оно может быть устранено только окончательным разрушением государства и предоставлением нашему освобожденному крестьянству возможности устраиваться «на всей своей воле».

Короче сказать, одно из требований западно-европейского социализма, коллективизм владения, составляет у нас существующий факт;

Промышленные классы 10%
Земледельцы 86%

Распределив в процентах по занятиям одно производительное население Англии, Пруссии и Франции, мы получим следующие цифры:

Классы.	Англия.	Пруссия.	Франция.
Земледельческий . . .	17,0%	48,7%	37,0%
Торговый	8,3%	6,8%	11,0%
Промышленный	52,5%	25,6%	28,4%

(См. «Сравн. статист.» Янсона, 98—106 стр.)

Эти цифры указывают на громадную разницу в хозяйственном складе России и главных европейских стран,—разницу, имеющую громадный интерес для всякого практического деятеля в России.

другое, коллективизм труда, не имеет под собою почвы в технике русского земледелия.

Таким образом, мы à priori пришли к тем же практическим задачам, которые ставили себе титаны народно-революционной обороны: Болотников, Булавин, Разин, Пугачев и другие.

Мы пришли к «Земле и Воле».

Но тем самым центр тяжести нашей деятельности переносится из сферы пропаганды лучших идеалов общественности на создание боевой народно-революционной организации, для осуществления народно-революционного переворота в возможно-более близком будущем.

Практика 1873—1875 г.г. привела большинство незараженных доктринерством революционеров к тем же выводам. Вот что говорил один из выдающихся представителей тогдашнего движения, Мышкин, перед особым присутствием правительствующего сената, 15 ноября 1877 г.: «Наша практическая задача,—говорил он,—должна состоять в сплочении, в об'единении революционных сил, революционных стремлений, в слиянии двух главных революционных потоков: одного, недавно возникшего и проявившего уже достаточную силу—в интеллигенции, и другого, более глубокого, более широкого, никогда не иссякавшего потока—народно-революционного».

В следующих №№ мы постараемся показать, какие данные существуют в нашей истории и современной действительности для создания революционной организации; теперь же мы желаем предупредить одно очень вероятное возражение. Трудно строить практическую программу—скажут нам—на основании земельных отношений, которые не сегодня-завтра могут быть разрушены правительственными распоряжениями. Известно, что правительство начинает выказывать большую склонность к введению участкового землевладения; а когда оно будет введено, русский народ станет на след того закона, по которому только капитализм может привести его к социалистической общине.—Это не совсем так. Введение той или другой формы кооперации важно по тому влиянию, которое оказывает она на изменение народных привычек. Что коренного изменения народного характера нельзя ожидать тотчас же за падением общины—эту вполне понятную и à priori мысль,—доказывают некоторые факты из жизни малороссов. Влияние чуждой им польской культуры разрушило их поземельную общину уже несколько веков назад. Между тем, наделавшее столько шуму «чигиринское дело» началось именно из-за стремления крестьян ввести у себя общинное

землевладение. Таких фактов, конечно, не много, но они доказывают, что коренного изменения не произошло и там.

А покуда настроение народных масс останется таким же, как теперь, наша программа не нуждается в изменении.

II *).

В № 3 нашего органа мы высказали наш взгляд на практические цели социальной партии в России, сводя их к созданию боевой народно-революционной организации под знаменем Земли и Воли: волнения фабричного населения, постоянно усиливающиеся и составляющие теперь злобу дня, заставляют нас раньше, чем мы рассчитывали, коснуться той роли, которая должна принадлежать нашим городским рабочим в этой организации.

Вопрос о городском рабочем принадлежит к числу тех, которые, можно сказать, самою жизнью самостоятельно выдвигаются вперед, на подобающее им место, вопреки априорным теоретическим решениям революционных деятелей. В прошлом, не без некоторого основания, мы обращали все свои надежды, употребляли все свои усилия—на деревенскую массу. Городской рабочий занимал второстепенное место в расчетах революционеров, ему посвящалась, можно сказать, только сверхштатная часть сил. В городе пропаганда велась между делом, в минуты, когда деревня почему-либо была недоступна для пропагандиста, и велась при том исключительно с целью выработать из городского рабочего пропагандиста для деревни же. Такое отношение к делу, естественно, исключало возможность как настойчивой, систематической пропаганды, так и, в особенности, организации городских рабочих, и в настоящее время дает себя чувствовать очень плачевными результатами.

Городской рабочий, несмотря на сравнительную незначительность затраченных на него сил, проникся идеями социализма в довольно сильной степени. Теперь уже трудно встретить такую фабрику или завод, или даже сколько-нибудь значительную мастерскую, где нельзя было бы найти рабочих-социалистов. Но как ни отрадны подобные явления, они, однако, лишаются огромной доли своего значения, когда мы начинаем ближе присматриваться к положению этих спропагандированных рабочих в среде их товарищей. В течение минувшего года мы видели несколько крупных стачек на разных фабриках и заводах. Где в это время были наши социалисты, какую роль играли они в этих движе-

*) № 4 «Земля и Воля», 20-го февраля 1879 г.

ниях? Почти никакой. Иногда о них вовсе не было слышно, в тех же случаях, когда они пытались действовать, влияние их оказывалось совершенно ничтожным. И это вполне понятно. Наши рабочие-социалисты даже между собою не связаны, не сорганизованы. «Северный Союз» представляет первую попытку организации. До последнего же времени рабочие-социалисты были разбиты на мелкие кружки, задававшиеся почти исключительно целями самообразования, имевшие иногда кассы, библиотеки, и в практической деятельности не шедшие дальше пропаганды. Рабочая масса относилась к рабочим-социалистам, как к чему-то чуждому, относилась часто насмешливо, иногда даже враждебно, и это—факт такого рода, в котором, к прискорбию, не может не сознаться всякий, знакомый с делом. Интересно, что масса даже сразу окрестила рабочих-социалистов именем «студентов», как бы намекая на их отчужденность, и эта кличка лишь в самое последнее время начала заменяться названием «социалиста». Понятно, что при таком взаимном отношении самая пропаганда не могла иметь большого успеха и вылавливала только отдельных личностей, не увлекая за собою массы.

Нам кажется, что причина этих печальных явлений заключается в самой постановке деятельности социалистов, и что при такой постановке масса рабочих никак не могла относиться к своим товарищам-социалистам иначе, чем относилась.

Прежде всего, рабочие-социалисты совершенно не были организованы, а, следовательно, не имели возможности действовать на массу дружно, систематично; тем менее они имели возможность обратить на себя внимание массы каким-нибудь крупным проявлением своих симпатий, своих желаний действовать в интересах рабочих. Сверх того, ставя своей целью пропаганду, развитие и образование себя самих и всего рабочего сословия, социалисты этим самым выходили из сферы тех интересов, которыми живет масса, которые ей наиболее близки и дороги. Масса существенно, кровно заинтересована прибавкой или уменьшением заработной платы, бо̀льшей или меньшей прижимкой хозяев и мастеров, бо̀льшей или меньшей свирепостью городового. А социалисты разводят перед нею разные теории, призывают ее к развитию, к образованию и тому подобным вещам, сводящимся иногда к чтению лекций о каменном периоде или о планетах небесных. Как может относиться масса к подобным людям? Она только видит в них нечто отличное от себя, думающее не в унисон с нею, иногда насмешливо задевающее ее верования и надежды, говорящее даже несколько иным язы-

ком; но какой-нибудь пользы для себя она не видит, не видит даже их желания быть полезными, потому что не понимает, каким образом сведения о каменном периоде могут привести к устранению чересчур придирчивого табельщика.

А между тем, масса всё это время жила своей жизнью, боролась за свои интересы и иногда практически ставила довольно радикальные решения социальных вопросов. Социалистам стоило только принять участие в этой жизни, в этой борьбе, обобщить решения и направить ее частные проявления в одно общее русло, и масса ясно увидела бы, что социалисты — ее друзья, ее помощники; тогда им не трудно было бы приобрести доверие и влияние, недостающее им теперь. Эта задача легко могла быть исполнена совокупными усилиями интеллигенции и социалистов-рабочих, если бы первоначальная ложная постановка городского вопроса не сбивала их с пути. Надо было относиться к городским рабочим, как к целому, имеющему самостоятельное значение, надо было изыскивать средства влиять на всю их массу, а это было невозможно до тех пор, пока в городских рабочих видели только материал для вербовки отдельных личностей.

Серьезному отношению к городским рабочим всегда мешал взгляд на их значение, по которому им отводилось самое второстепенное место. Справедлив ли этот взгляд? Действительно ли городской рабочий остается без крупной роли в будущем социальном перевороте? Нам кажется, что это мнение совершенно ошибочно.

Наши крупные промышленные центры представляют нам скопления десятков, иногда даже сотен тысяч рабочего люда. В огромном большинстве случаев—всё это те же крестьяне, что и в деревне. Фабрика для них является только видом отхожего промысла и, отвлекая их от деревни, хотя бы на целые годы, не уничтожает, однако, их деревенских связей и симпатий. Вопрос аграрный, вопрос общинной самостоятельности, земля и воля, одинаково близки сердцу рабочего, как и крестьянам. Словом, это не оторванная от крестьянства масса, а часть того же самого крестьянства. Дело их одно—одна у них может и должна быть борьба. А между тем, в городах собирается цвет деревенского населения: более молодые, более предприимчивые по своему подбору, они, сверх того, устранены в городе от влияния более консервативных и боязливых членов крестьянской семьи; они, наконец, более видели и слышали, более широко наблюдали все общественные отношения. Не представляя западно-европейской оторванности от земледельческого класса, наши городские рабочие, одинаково с западными, со-

ставляют самый подвижной, наиболее удобовоспламеняющийся, наиболее способный к революционизированию слой населения Благодаря этому, они явятся драгоценными союзниками крестьян в момент социального переворота. Тактическое же значение подобного союзника очевидно для каждого. Как бы ни было единодушно восстание деревень, оно, однако, рискует быть подавленным централизованными силами государства, если только не будет поддержано восстанием в самом центре, в самом средоточии правительственной власти. Городская революция должна и может отвлечь силы правительства и дать крестьянскому восстанию время окрепнуть и развиться до степени непобедимости. Только при подобном условии и мыслим успех социального переворота. Разойдясь по селам и деревням средней части России, из которой пополняется, главным образом, их контингент, городские рабочие сыграют роль «воровских прелестников», оказавших столько услуг Разинскому и Пугачевскому движению, они подготовят почву для приближающейся лавины революционного движения; это вторая, не менее важная, служба, которую может сослужить город в общем ходе революционных событий в России.

Но для исполнения подобной миссии нужна именно *масса* городских рабочих, нужны революционизирование *всей* массы и организация, влияющая на *всю* массу. Осуществить как то, так и другое возможно лишь путем агитационной деятельности. Первое едва ли требует особых пояснений. Конкретный ум рабочего плохо поддается на отвлеченные логические соображения; для него гораздо понятнее пропаганда фактами, тем более, что эта пропаганда фактами по необходимости должна стать на почву обыденных и осязательных для него интересов. Что касается организации, куда, конечно, должны войти наиболее выдающиеся лица, то где же, как не в действии, могут лучше определиться лица, способные к действию, к влиянию? Эти лица выдвигаются борьбой, выясняются ею, и их остается тогда только вербовать. Приобретая таким образом вполне надежных людей, организация не поэтому только может рассчитывать на влияние,—они сверх того примут участие в борьбе за рабочие интересы, и масса тогда ясно увидит, что эти люди действительно стоят за нее, желают ей добра и умеют его достичь. Эта агитационная деятельность может вестись ежедневно и ежечасно на самых мелких даже фактах жизни рабочего, но особенный смысл и значение приобретает она во время стачек.

Каждый раз, когда рабочие той или другой фабрики сговариваются действовать за одно, вопрос об отношении к ним различных классов

общества, до верховной власти включительно, ставится ребром. Рабочая масса на деле узнает своих друзей и врагов. Ей представляется хороший случай проверить искренность отношений к ней того воображаемого союзника, на которого она рассчитывала столько времени и которому она *подарила* столько веков нищеты. Как только она начинает изнемогать в борьбе, она обращает свои мольбы к Зимнему или Аничкову дворцу, и каждый раз, разумеется, эти мольбы остаются гласом вопиющего в пустыне. И она начинает, наконец, понимать, как жестоко ошиблась, рассчитывая на царскую помощь, а ежеминутная *прижимка* со стороны хозяина не дает впасть в отчаяние, толкает ее на борьбу волей-неволей.

Воспитательное значение таких разочарований очевидно, и нам удавалось проследить упадок веры в царскую помощь на тех фабриках, где к ней уже пробовали обращаться.

Но этого мало; совместная борьба рабочих с хозяевами развивает в них способность к согласному, единодушному действию. Рабочие разных губерний, иногда разных наречий, в спокойное время чуждавшиеся друг друга, сплачиваются и об'единяются во время стачки.

Идея солидарности интересов всего рабочего сословия и противоположности их интересам привилегированных классов имеет превосходнейшую иллюстрацию в каждой стачке рабочих, в каждом столкновении их с нанимателями. Денежная помощь стачечникам, а если можно, одновременное прекращение работы на нескольких фабриках служат прекрасным воспитательным средством для массы.

Нам могут заметить, что стачки не всегда оканчиваются удачно для рабочих и, в случае поражения, они производят деморализующее влияние на массу. Мы думаем, что нет ничего ошибочнее такого взгляда на дело.

В самом деле, постараемся определить, в чем собственно заключается т. н. деморализующее влияние кончившихся неудачно народных движений. Неудача, застращивая масєу, разрушает ее уверенность в собственных силах. Но если бы с этим и пришлось согласиться без всяких оговорок, то и тогда можно обратить внимание читателя на то обстоятельство, что развитие самоуверенности в массе есть далеко не единственный хороший результат активной борьбы, с ним существует целый ряд положительных влияний этого способа действий, на которые неудача не оказывает никакого, или почти никакого, влияния. Более резкое определение идей рабочего сословия и, как неизбежное следствие этого, сознание солидарности интересов внутри его, разочарова-

ние в помощи, ожидаемой со стороны правительства,—все эти результаты получаются одинаково при *удачной* или *неудачной* стачке.

Что касается пресловутой потери самоуверенности в массах, нам кажется, этот вопрос решался слишком уж поспешно. Прежде чем терять что-либо, нужно им обладать, прежде чем лишиться уверенности в своих силах, нужно обладать этой уверенностью, хотя бы в течение очень короткого времени. А всегда ли обладает ею масса? Конечно, далеко не всегда. Очень часто она страдает именно полным отсутствием уверенности в своих силах; очень часто она имеет преувеличенное понятие о своей неспособности к сопротивлению. Представим же себе теперь, что такая, не сознающая величины своих сил масса вступает в борьбу и, на первый раз, неудачно. Мы говорим, что результатом такого поражения будет не окончательный упадок самоуверенности в массе, но, напротив, убеждение в том, что победоносный противник далеко не так страшен, как его рисовало раньше напуганное воображение.

При первых встречах с европейцами, вооруженными огнестрельным оружием, дикари думают, что сами боги пошли на них войною. Только рядом столкновений с мнимыми богами, столкновений, всегда кончающихся поражением дикарей, эти последние убеждаются в том, что противники их простые люди и, как таковые, вовсе не могут считаться непобедимыми. Паника проходит, сопротивление становится всё более и более стойким, и европейцам тяжелым опытом приходится убедиться, что горсти удальцов, как бы хорошо ни была вооружена она, недостаточно для завоевания страны.

«Не давайте массе вступать в открытую борьбу с ее притеснителями: неизбежные в этой борьбе поражения только деморализуют массу, лишают ее надежды на успех»,—говорят сторонники системы воздержания в деле революционной подготовки народа. Организуйте массу для борьбы, путем борьбы и во время борьбы: только таким образом создадите вы в ней самодеятельность, самоуверенность и стойкость, каких она не имела до сих пор, и благодаря отсутствию которых десяти городовых бывает часто достаточно, чтобы разогнать и навести ужас на целую толпу рабочих,—отвечаем мы.

Агитация есть, по нашему мнению, единственно возможное средство для достижения и упрочения влияния на массу; помимо ее возможно привлекать к делу только отдельных личностей,—но история создается народом, а не единицами. Или, может быть, мы пока еще настолько слабы, что и не можем получить необходимого для нас влия-

ния на массу? Оставляя в стороне вопрос о нашей численности и силе, мы заметим только, что агитация есть лучшее средство для качественного и количественного увеличения наших сил.

Что бы ни говорили о целях английских trade-unions, эти последние обладают, во всяком случае, силой и влиянием, которым нельзя не позавидовать. Пусть читатель припомнит историю trade-unions до 1824 г., т.-е. до отмены законов против коалиций, пусть припомнит он, каким путем добились английские рабочие этой отмены и, если только он не думает, что и с самого начала своей истории они держались ошибочных практических приемов, он неизбежно должен будет согласиться с нами в том, что агитационный путь воздействия на массу дает гораздо более плодотворные результаты и гораздо скорее ведет к цели, нежели практиковавшийся, так сказать, до вчерашнего дня способ влияния на *отдельных личностей*,—скорее ведет к цели уже потому, что не только не устраняет второго способа действий, но, напротив, дает возможность выбирать испытанных, действительно заслуживающих внимания личностей.

Влияйте на них, развивайте их, сколько позволяет ваше время и ваше собственное развитие,—это даст вам агитаторов более выработанных, ораторов более убедительных, но помните, что это только средство для лучшего достижения вашей главной цели—*агитации в массе*. Когда этим, выработанным вашим влиянием, личностям представится случай воздействия на массу, не останавливайте их, хотя бы им угрожала гибель. С точки зрения нравственности, на вас не будет ответственности потому, что каждый революционер должен заранее привыкнуть к мысли, что судьба уже обрекла его; с точки зрения пользы для дела, вас нельзя будет упрекнуть потому, что никогда еще гибель личностей во имя интересов массы и на ее глазах не проходила бесследно в истории...

Сильно обострившаяся борьба может повести к гибели всех сознательных революционеров в данной местности. Поверхностному наблюдателю может показаться, что дело придется начать сначала, что все труды пропали даром. Но это не так; личности погибли, но масса знает, за что они погибли, борьба дала ей опыт, которого она не имела раньше, борьба рассеяла ее иллюзии, она осветила настоящим светом смысл существующих общественных отношений. Такие уроки не пропадают даром.

Личности гибнут, но революционная энергия единиц переходит сначала только в оппозиционную, а затем, мало-по-малу, в революционную

энергию масс. В этом заключается весь смысл борьбы, этим об'ясняется также тайна иногда поистине невероятных успехов гонимых и преследуемых религиозных сект и политических учений. Такой переход одного рода энергии в энергию другого, несомненно, высшего рода, никак не может считаться «неудачею», а потому и гибель личностей не может быть названа бесполезною. Заботы революционеров должны заключаться в том, чтобы найти наименьший эквивалент для такого перехода, стараться затратить *минимум сил,* необходимых в данном случае для влияния на массу.

Не говоря о множестве разнообразящихся до бесконечности практических приемов, ведущих к этой цели, в каждом частном случае, мы уже указывали на *организацию,* как на главное постоянное условие сбережения сил революционеров и увеличения производительности их труда.

Организация русского рабочего сословия, конечно, не может брать себе за образец тех способов организаций, которые практикуются в Западной Европе—то различие обусловливается различием политических условий борьбы в России и на Западе. При массе опасностей, которым подвергается всякая тайная организация,—а революционная организация и не может быть другою у нас, при тех преследованиях, которые грозят ее членам, выбор личностей должен быть строг и осмотрителен.

Вытекающие отсюда трудности расширения организации должны вознаграждаться исключительными способностями и преданностью делу со стороны лиц, посвященных в ее тайны, «страшная тайна и величайшее насилие в средствах» составляли отличительную черту английских рабочих союзов до 1824 года; и ни один мыслящий человек не упрекнет рабочую организацию за неразборчивость в средствах, когда она увидит себя вынужденною на насилие отвечать насилием, когда на террор правительства, закрепощающего рабочего фабриканту, карающего, как уголовное преступление, всякую попытку рабочих к улучшению своего положения, правительства, не останавливающегося перед поголовною экзекуциею детей, принимающих участие в стачке,—когда на белый террор такого правительства она ответит, наконец, красным...

Поземельная община и ее вероятное будущее*).

I.

Вопрос об общинном и участковом землевладении, имеющий значительный общенаучный интерес, приобретает особенную важность в нашем отечестве, где община является преобладающею формою отношения к земле громадного большинства крестьянства. От решения вопроса за или против общины зависит, конечно, положительное или отрицательное отношение к ней на практике, а с этим, в свою очередь, связана судьба многомиллионной массы, на благосостоянии которой прежде всего отразилось бы изменение господствующей ныне системы землевладения. Этой практической важностью вопроса и об'ясняется то значительное, для нашей литературы, количество исследований об общине, которое появилось до настоящего времени. В ней же лежит причина того интереса, с которым читающая публика относится к каждому вновь выходящему сочинению по этому вопросу. Но в большинстве вышедших до сих пор исследований поземельная община рассматривалась, так сказать, an sich: рассуждали об ее недостатках и преимуществах без всякого отношения как к прошедшей экономической истории, так и к современному складу того общества, в котором община составляет только небольшую экономическую ячейку. Вопрос об исторической смене форм отношений к земле, в зависимости от всей суммы статистических и динамических влияний на эти отношения, можно сказать, только ставится на очередь; а, между тем, это вопрос очень важный и серьезный, не только в применении к поземельной общине, но и ко всем сферам междучеловеческих отношений. В данный момент, сумма всех исторических влияний в обществе может быть такова, что, как бы хороши ни были сами по себе те или другие общественные формы, они будут обречены на неизбежную гибель в борьбе с враждебными им принципами общежития. Даже более: в науке существует взгляд, по кото-

*) «Русское Богатство» 1880 г., январь.

рому прогрессирующее общество неизбежно должно пройти через несколько форм экономических отношений; а потому отстаивать те или другие бытовые формы, имея в виду лишь их безотносительное превосходство,—с точки зрения этого учения—значит задерживать прогресс общества, «стремиться повернуть назад колесо истории». Ввиду этого, в странах, где общинное землевладение сохранилось еще в более или менее полном виде, практически важно решить: составляет ли поземельная община такую форму, отношения людей к земле, которая самою историей осуждена на вымирание, или, напротив, повсеместное почти исчезновение земельного коллективизма обусловливается причинами, лежащими вне общины, а потому, несмотря на их несомненное участие во всех известных доселе случаях разрушения общины, могущими нейтрализоваться счастливою для общины комбинацией исторических влияний. Какова, в таком случае, должна быть эта комбинация? Наконец, мы, русские, можем поинтересоваться еще вопросом о современном положении нашей общины. Быть может, внешние враждебные влияния до такой степени исказили принцип русской поземельной общины, что ее разрушение отныне становится очевидным и неминуемым, и меры для ее сохранения не будут достигать цели, по своей несвоевременности; тогда русскому общественному деятелю останется, конечно, предоставить мертвым хоронить своих мертвецов и приняться за работу на пользу других, имеющих более надежное будущее, форм поземельного владения. Если о современном состоянии нашего крестьянского землевладения мы имели сведения и ранее выхода в свет 1-го выпуска 4-го тома «Сборника статистических сведений по Московской губернии», заключающего в себе обстоятельное описание существующих в ней «форм крестьянского землевладения», то о судьбе аграрной общины в зависимости от общего хода экономической и политической истории данной страны, как мы уже сказали, только начинают толковать наши исследователи.

Сочинение г. М. Ковалевского, ставящего себе задачею выяснение хода и причин разложения общинного землевладения, касается именно этой, до сих пор темной, стороны аграрного коллективизма. С своей стороны, г. Орлов, составивший, по поручению Московского земства, вышеупомянутый выпуск статистического сборника, дает нам много новых, в высшей степени интересных данных для суждения о современном состоянии нашей общины в местности, которая более других испытала на себе историческое влияние государства, в настоящее же время является одним из центров нашей промышленности. Каждая из этих осо-

бенностей изучаемой им местности могла влиять только отрицательным образом на сохранение первобытных форм крестьянского землевладения; поэтому подведение итогов этих влияний может дать некоторый материал для поверки общих выводов г. Ковалевского, сделанных на основании истории общины в других странах. Посмотрим, однако, в чем состоят эти выводы.

До сих пор вышла только первая часть сочинения г. М. Ковалевского, заключающая в себе «*Общинное землевладение в колониях и влияние поземельной политики на его разложение*».

Но общие взгляды автора на историческую судьбу аграрной общины выясняются с достаточной полнотой как во введении к его труду, так и при изложении им аграрной истории в этих странах, в период, предшествующий появлению в них европейцев. Взгляды эти, по словам автора, в более сжатом виде, были уже высказаны им в его брошюре «О распадении общинного землевладения в кантоне Ваадт», изданной в Лондоне в 1876 г. Сущность их состоит в том, что «распадение общинного землевладения происходило и происходит под влиянием столкновений, в которые, рано или поздно, приходят интересы состоятельных и несостоятельных членов общин, с одной стороны, и выделившихся из общины частных владельцев, с другой». В три года, которые прошли со времени издания этой брошюры, автор «частью из книг, частью из личных наблюдений, частью из продолжительных работ, в центральных и местных архивах» еще более убедился в том, что «указанные... причины разложения общинных форм жизни и описанный им процесс самого разложения не лишены общего характера, и что всюду замена общинной собственности частною явилась результатом действий одного и того же мирового явления—борьбы интересов» (Общ. Земл., стр. 4). Поэтому он не только не изменил своих воззрений, но в настоящем труде задается целью «более широкого, нежели прежде, обоснования» этих воззрений. Таким образом, из приведенных уже слов г. М. Ковалевского читатель может видеть, что распадение поземельной общины возводится им на степень мирового явления, обусловливаемого притом не внешними, враждебными для коллективных форм землевладения, влияниями, но внутренними «самопроизвольными» причинами, которые заключаются, между прочим, в «мировом явлении борьбы интересов».

Автор не отрицает того, что, в некоторых случаях, разрушение поземельной общины может быть приписано чисто внешним, как он выражается, «искусственным» причинам. Он даже упрекает Мэна в том, что последний «совершенно игнорирует роль, которую поземельной по-

литике европейских государств пришлось играть в процессе разложения общинного землевладения в среде народов, постепенно подпавших их владычеству» (Общ. Земл., VI). Но, как видно из следующих страниц, «искусственные и случайные причины разложения общинного землевладения, в конце концов, ведут к тем же последствиям, что и самопроизвольные, то есть—к быстрому переходу мелкой собственности в крупную и сосредоточению поземельного владения в руках малочисленного класса капиталистов-ростовщиков» (Общ. Землевлад., стр. 20). Нужно заметить еще и то, что действие искусственных причин—по мнению автора—только довершает начавшееся самопроизвольное разложение общины, которое таким образом само собою привело бы к торжеству индивидуализма в имущественных отношениях людей. Так, например, заканчивая очерк аграрной истории у краснокожих до испанского завоевания, г. Ковалевский говорит, что «еще задолго до прихода испанцев начался процесс феодализации недвижимой собственности в большей части центральной Америки, другими словами, в той части материка, которая, благодаря климатическим и целому ряду других условий, была призвана к преимущественному развитию гражданственности» (Общ. Земл., стр. 46).

Феодализация недвижимой собственности, вызванная самопроизвольными, по мнению автора, причинами, повела, в свою очередь, к индивидуальным захватам общинных земель со стороны местного служилого сословия, «чем и положено было начало развитию крупного землевладения в ущерб имущественным интересам землевладельческих общин; разложение последних было *только ускорено с приходом испанцев*» (Общ. Земл., стр. 46). То же, по мнению автора, повторилось в Индии и Алжире. Английская поземельная политика в первой из названных стран без сомнения, приложила свою руку к разрушению коллективного землевладения. «Насильственное обращение большей части населения из прежнего положения общинных и частных собственников в положение арендаторов» (в Бомбее и Мадрасе)... «искусственное создание во всей южной и средней Индии класса крупных землевладельцев и мелких фермеров правительственных земель... искажение системы общинного владения землею в тех самых провинциях, в которых англичане признали полезным дальнейшее ее удержание» (Общ. Земл., стр. 157)—все эти меры, несмотря на их кажущееся разнообразие, одинаково способствовали созданию условий, при которых немыслимо было дальнейшее существование общины. Но дело в том, что англичане не встретили в Индии единообразных форм земельного владения. Это была страна с длинным

историческим прошлым, в продолжение которого община переживала процесс медленного и «самопроизвольного» видоизменения и распадения. Так же, как в Мексике и Перу, здесь еще до прихода европейцев развилась феодальная система, которая отличалась от средневекового европейского феодализма лишь отсутствием патримониальной юстиции», «по крайней мере, в области гражданского суда» (стр. 153). Отсутствие одного из «четырех моментов», обыкновенно, хотя и несправедливо, признаваемых историками средних веков единственными факторами германо-романского феодализма [1]) (стр. 153), повело, конечно, к разнице в интенсивности процесса феодализации в Индии сравнительно с средневековой Европой; «но,—говорит г. М. Ковалевский,—я вовсе не думаю утверждать, что, не будь английского завоевания, результаты одного и того же процесса феодализации не оказались бы тождественными. Пример Боснии в этом отношении слишком убедителен, чтобы позволить нам сомневаться на этот счет» (Общ. Земл., стр. 155).

Причины «перемен в системе поземельного владения» и возникновения феодализма в до-английской Индии, даже в период мусульманского владычества в ней, после завоевания ее сначала арабами, затем монголами, по мнению автора, могут быть названы «частью насильственными, частью вызванными самой силою вещей» (Общ. Земл., стр. 149). Что же касается до изменения поземельных отношений в эпоху политической независимости Индии, то-есть в эпоху владычества туземных раджей, то причины его автор не колеблется назвать «самопроизвольными». Смысл этих изменений и здесь был одинаков со смыслом насильственно, «искусственными причинами» вызванных аграрных переворотов. Мы позволим себе остановиться на их истории несколько более.

Древнейшим типом поземельных отношений в Индии, как и везде, была «родовая община, члены которой живут в нераздельности, обрабатывая землю сообща и удовлетворяя своим потребностям из общих доходов» (Общ. Земл., стр. 75). Под влиянием причин, о которых мы будем говорить ниже, сознание родства между ветвями родов становится слабее; в них является стремление к индивидуализации имущественных отношений, и нераздельная дотоле община распадается на несколько частей, связь которых между собою проявляется только в чрезвычайных случаях.

На этом не останавливается, однако, процесс разложения «архаи-

---

[1]) Бенефициальная система, отдача должностей на откуп, коммендация и патримониальная юстиция.

ческого» коллективизма. Ведение хозяйства сообща прекращается и в подразделениях рода. На место общей обработки и общего хозяйства является система семейных наделов, величина которых определяется «степенью действительного или мнимого родства, в какой стоят главы нераздельных семей от действительного или мнимого основателя рода» (Общ. Земл., стр. 6). Но так как способ определения наделов в зависимости от степеней родства со временем ведет к большим затруднениям, то мало-по-малу «индивидуальные наделы перестают зависеть в своем протяжении от близости их владельцев к общему родоначальнику; больший или меньший их размер определяется теперь тем, как велико пространство земли, подвергаемое фактической обработке тем или другим семейством» (Общ. Земл., стр. 80). Правом на надел в такой общине пользуются лишь коренные члены рода, все же новые колонисты бывают из'яты из пользования, по крайней мере, пахотной (то-есть более ценной) землей. А между тем, количество этих новых поселенцев постоянно возрастает, благодаря самым разнообразным причинам; довольно сказать, что все это «члены чужих родов, добровольно или насильственно покинувшие последние» (стр. 6). С течением времени численный перевес оказывается на их стороне, и они добиваются права на пользование общинной землей. Но так как среди них не может быть уже речи о степени родства с основателем рода; так как, кроме того, земледельческое хозяйство каждого из них начинается лишь со времени завоевания ими равных с общинными старожилами прав, то, естественно, возникает система равных наделов, «поддерживаемых путем периодического передела земель общины». На этом оканчивается метаморфоз родовой общины—место ее занимает сельская. Но, как известно, и эта последняя, под влиянием тех или других, по мнению автора, самопроизвольных причин, заменяется подворно-наследственным владением, сначала усадьбами, потом пахотами, сенокосами, а наконец и всеми остальными угодьями. Нераздельная семейная собственность является единственным остатком первобытного коммунизма. Но и она «рано или поздно поддается влиянию всеразлагающего процесса обособления интересов»... («Большая семья уступает место выделившимся из нее малым», стр. 87 Общ. Земл.).

Уже свод Ману упоминает о частной собственности на землю; в нем есть также указание на «отчуждение последней продажею», впрочем «не иначе, как с согласия сограждан, родственников и соседей» (93 стр.). В период, отделяющий появление этого свода от составления Яджнавалькьи и Нарады—от IX-го века до Р. Х. до V—VI в.в. по Р. Х.,—

«самопроизвольный» процесс распадения общин усиливается под влиянием новых факторов: возрастания власти старейшин, образования религиозно-ученого сословия и эмиграции сельского населения в городские и промышленные центры. Рядом с ним происходит разложение семейной общины. Взаимная ответственность родственников ограничивается только некоторыми степенями родства в нисходящей и боковой линиях, «дети отвечают только друг за друга, за отца, деда, дядю и, наоборот, каждый из вышеуказанных членов рода только за остальных» (Общ. Земл., стр. 108). Раздел семейной собственности значительно облегчается в сборниках индийского права, относящихся к V—VI в.в. по Р. Х., «тогда как в своде Ману раздел оставшегося от родителей наследства допускается только в случае открыто выраженного желания старшим сыном; в Учреждениях Нарады он поставлен в зависимость от одного лишь уговора между членами семьи» (Общ. Земл., стр. 108). Десяти лет, отдельного от общего семейного хозяйства, управления своим имуществом достаточно для легального выделения из семьи.

Свобода отчуждаемости земли также делает шаг вперед. Сводом Ману отчуждение разрешалось под непременным условием согласия на него не только родственников, но и соседей, между тем как «в Учреждениях Нарады выставляется одно лишь требование публичности в крепостных делах» (Общ. Земл., стр. 110).

Так, постепенно возрастая в своей интенсивности, процесс индивидуализации имущественных отношений подготовлял почву для разрушительного действия иностранных завоеваний. Ко времени монгольского владычества в Индии он проник еще далее как во взаимные отношения членов общин, так и в сферу семейной собственности. По словам г. Ковалевского, успех индивидуализма «наглядно выступает как в большей легкости семейных разделов, так и в большей свободе распоряжения не только благоприобретенным, но и родовым имуществом, особенно когда дело идет о предоставлении тех или других имущественных выгод членам жреческой касты—браминам» (Общ. Земл., стр. 113). Таким образом и здесь поземельная политика завоевателей, христиан и мусульман, только завершила собою «самопроизвольный» процесс распадения «архаического коммунизма». Было бы излишне останавливаться на двух последних главах книги г. Ковалевского, так как излагаемая в них история аграрных отношений в Алжире приводит его к совершенно тождественным выводам относительно влияния различных категорий причин на разложение коллективных форм землевладения. Мы полагаем, что верно передадим взгляды автора, если резюмируем эти выводы

следующим образом: во всех странах, о которых мы имеем исторические сведения, в Америке, Азии, Африке и, как можно догадываться по замечанию автора об исследователях русской общины, в Европе,—процесс разложения аграрной общины идет по равнодействию двух сил: «самопроизвольных», лежащих в самой организации первобытного общества, причин и внешних на него воздействий. Первая из слагаемых является, выражаясь математическим языком, величиной постоянной; вторая, в значительной степени, носит на себе местный, случайный характер переменной величины.

Каждая из этих сил действует по одному направлению, и результатом их совместных влияний является полное торжество индивидуализма в отношении—мы не говорим уже движимой, но и недвижимой собственности. Итак, полный коллективизм, как исходная точка общественно-экономического развития человеческих обществ, — полный индивидуализм, как результат этого развития,—такова, в немногих словах, история каждого из известных нам народов. Если мы вернемся теперь к поставленному нами в начале статьи вопросу о том—представляет ли поземельная община способную прогрессировать форму человеческих отношений, или, в силу тех или других внутренних недостатков ее организации, она должна уступить место другим формам собственности, то заключение, к которому мы можем притти на основании исследования г. Ковалевского, будет не в пользу общины.

Если от книги г. Ковалевского мы перейдем к исследованию г. Орлова, то встретим в нем, повидимому, лишь новые доказательства неминуемости разрушения нашей общины.

Правда, преобладающей формой крестьянского землевладения в Московской губернии остается, пока, община. Но и в нее закралось уже много чуждых, угрожающих ей полным разрушением элементов. В значительном количестве селений мы встречаем пример того столкновения интересов между «состоятельными и несостоятельными членами общины», которое, по словам г. Ковалевского, является одною из главных причин ее распадения. Мы видим, что в некоторых общинах «исправные домохозяева» противятся переделам земли и устанавливают для них определенные, иногда очень продолжительные сроки. Мы видим, что в некоторых общинах (и таких не мало) «наиболее состоятельные крестьяне сочувственно относятся к подворно-наследственному землевладению, при котором бы была уничтожена круговая порука и устранены общие переделы полей» (стр. 275 Сборн. статист. свед., т. IV, в. 1). Мало того, «те крестьяне, которые лишились возможности вести земле-

дельческое хозяйство (бесхозяйные дворы, гуляки и т. д.), которые порвали свою непосредственную связь с землей, которые добывают средства к существованию исключительно сторонними заработками—все такие крестьяне, как и наиболее состоятельные, желали бы также замены мирового хозяйства подворно-наследственным (Ibid.).

Появляются общинники, по мнению которых мирское землевладение с круговой порукой невыгодно потому, что лишает их возможности «скупать земли малосильных дворов и недоимщиков» (Ibid.).

Почти на наших глазах («последние 20—30 лет») происходит разложение тех поземельных общин, которые состоят из нескольких селений и которые г. Орлов называет, несовсем, как нам кажется, удачным, именем «составных». «Число составных общин,—говорит г. Орлов (стр. 256 Сборн. статист. свед.),—с течением времени все более и более уменьшается: составные общины разлагаются на простые, ограничивающиеся одним селением».

Нельзя не обратить внимания также и на то, что «стремление удержать при каждом доме одни и те же при-усадебные участки в постоянном пользовании и избежать чересполосицы, происходящей от отрезок и прирезок при переделе, привело некоторые общины к полному уничтожению переделов при-усадебной земли» (стр. 84, 85 и 86 1-го в. IV т. Сб.). «Очевидно, — скажем мы словами г. Орлова,—что крестьяне таких общин перешли от общинного владения при-усадебною землей к подворному».

А с этого, как известно, всегда начинается процесс разрушения поземельной общины. Мы узнаем наконец, что в некоторых селениях совершается еще более заметный переход к подворно-наследственному владению. «В этих селениях пахотная земля разделена подворно и периодических переделов не бывает» (стр. 6 Сборн.). Положим, что таких селений «не более десяти» и при том «лесная и выгонная земля и здесь находится в общем мирском владении, порядок которого ничем не отличается от обыкновенного общинного порядка» (Ibid.), но, во-первых, окончательный переход крестьян означенных селений к подворно-наследственному владению, без сомнения, есть только дело времени и, если угодно, успехов сельского хозяйства, а, во-вторых, в данном случае для нас важна не количественная, а качественная сторона метаморфоза в крестьянском землевладении. Он совершается в сторону «индивидуализации имущественных отношений», то-есть, именно, в том направлении, в каком, по словам г. Ковалевского, действуют «самопроизвольные причины».

Естественно предположить, что распадение нашей общины, по крайней мере, до некоторой степени, обусловливается общими историческими законами, которым лишь помогают вступить в их права различные, неблагоприятные для общины, внешние влияния. Иначе мы можем навлечь на себя упрек, с которым г. Ковалевский обращается к «недавним исследователям русской общины», будто бы, «совершенно упустившим из виду самопроизвольные причины разложения последней».

Но прежде чем перейти к анализу и классификации, по созданным автором «Общинного землевладения», рубрикам, причин разрушения нашей общины, посмотрим, сколько основательности в таком делении вообще.

II.

Когда появился «Очерк истории распадения общины в кантоне Ваадт», в котором, как мы уже сказали выше, автор выражает те же взгляды на неизбежное распадение общины под влиянием «мирового явления борьбы интересов», г. Кареев, в апрельской книжке «Знания» за 1876 г., поставил ему на вид, что история общинного землевладения в названном кантоне прослежена им только с того времени, когда пахотная земля уже перешла в частную собственность. «Когда тело умирает,—говорит г. Кареев,—начинается его разложение». Когда бывшие общинники поделили в наследственное владение пахотную землю—общину можно было назвать умершей, и с *этих пор* ее разложение было неизбежно и естественно. Но написать историю этого разложения не значит еще указать на причины смерти общины, так как все-таки остается нерешенным вопрос: чем же вызвано было подворно наследственное владение пахотною землею. По мнению г. Кареева, разрушение общины на западе Европы было вызвано не внутренними причинами, не экономической необходимостью, но чисто внешними влияниями средневекового общественного склада. В настоящем труде г. Ковалевский проследил историю аграрной общины до самого ее возникновения, со времени перехода первобытных «стадных соединений» к оседлому земледелию. По его словам, это исследование лишь подкрепляет его прежние выводы; но посмотрим, нет ли в нем и прежних ошибок.

Экономическая история человечества начинается, как сказано выше, с полнейшего коммунизма. Так как земледелие привлекает к себе внимание первобытных обществ сравнительно поздно, когда ни звероловство и рыболовство, ни скотоводство не могут удовлетворять в достаточной степени потребностям увеличившегося народонаселения данной

территории, то «архаический коммунизм» имеет место первоначально лишь в отношении движимости. Причина, обусловливающая собой отсутствие института частной собственности, понятна. Надеяться на какой-нибудь успех в борьбе с окружающими условиями первобытный человек может только в том случае, когда он соединяет свои усилия с усилиями ему подобных. Эта-то необходимость общих усилий в борьбе за существование и «ведет к аппроприации как движимой, так, с течением времени, по мере оседания племен, и недвижимой собственности не частными лицами или семьями, а целыми группами индивидуумов разного пола, ведущими хозяйство сообща» (стр. 4—5 Общ. Земл.).

Но еще до перехода к земледелию в таких обществах можно заметить зародыши иных форм имущественных отношений. Некоторые предметы выделяются или в личную собственность того или другого члена общины, или в собственность «большего или меньшего числа живущих совместно и родственных друг другу семейств». Образуются категории родовой, семейной и личной собственности. Раньше всего в личную собственность поступают «оружие и одежда», а также и украшения. В общем обладании семьи и рода или даже целого племени остаются «орудия производимого совместно промысла» и все, добываемое с помощью этих общих орудий труда. Этот «самопроизвольный процесс индивидуализации движимой собственности» может дойти до большей или меньшей степени интенсивности, коснуться большего или меньшего количества находящихся в распоряжении первобытного человека движимых предметов, когда начнется переход к земледелию. Первоначально это последнее не обусловливает собою оседлости. «Некоторые американские племена, добывая средства к жизни преимущественно охотой на диких животных в то же время практикуют и земледелие» (стр. 37 Общ. Земл.).

Там, где нет оседлости, не может быть и определенного отношения к земле. Засеянный участок бросается после одной или нескольких жатв, и земледельцы-дилетанты переходят на новое место. Но, со временем, такой способ земледелия оказывается не в состоянии удовлетворить потребностям племени, и оно, силою экономической необходимости, вынуждается к исключительному занятию земледелием—к оседлости. Но сделать это не так легко, как может казаться с первого взгляда. Обыкновенно, такое оседание происходит на территории уже занятой другими племенами, которые уступают пришлецам свое право на нее «не добровольно, а по принуждению» (стр. 39), т.-е. после более или менее продолжительной борьбы. Если исход борьбы благоприятен для пришлого племени, оно получает фактическую возможность вести оседлый образ

жизни. С этого момента и начинается его аграрная история, главным образом интересующая нас в настоящее время. Какие перемены в экономических, а вследствие этого и правовых отношениях вызывает оседлое земледелие внутри племени? Чтобы ответить на этот вопрос, мы предложим читателю припомнить, изложенную выше, историю аграрных отношений в Индии. Мы видели, что первоначальным типом общественного устройства у земледельческих народов является родовая община, члены которой ведут хозяйство сообща. Читатель помнит, что родовая община, после целого ряда метаморфоз, уступает место сельской, а эта последняя семейной, а потом и личной. Он не забыл также и того, что личная земельная собственность ко времени английского завоевания в значительной уже степени сконцентрировалась в руках высших сословий. То, что имело место в Индии—«не составляет исключительной особенности национальности или расы», а потому и может быть принято схемой аграрной истории всех племен и народов. Вопрос только в том, составляет ли принятая г. Ковалевским схема эмпирический закон, лишь констатирующий последовательную смену общественных форм, но не выводящий ее необходимости из других более общих законов социологии, или, вместе с констатированием факта, г. Ковалевский дает ему полное и всестороннее об'яснение, показывает, какими причинами вызывается именно этот, а не какой-либо другой ход истории имущественных отношений в обществе. Его указания на «самопроизвольные причины» заставляют дать утвердительный ответ. Г. Ковалевский не только констатирует факт повсеместного исчезновения общины, но и дает ему об'яснение. Остается проверить правильность последнего. Для удобства анализа, мы разделим историю первобытного коллективизма на периоды, сообразно с естественными фазами его развития и упадка, и рассмотрим причины, обусловливающие, по мнению автора, переход общины из одного фазиса в другой,—каждую в отдельности. Следуя этому плану, нам придется задаться вопросом о причинах: 1) возникновения частной собственности в до-земледельческий период; 2) распадения родовой общины на более мелкие единицы; 3) перехода ее в сельскую общину с системой периодических переделов и, наконец, 4) разрушения этой последней, образования семейной и личной собственности и обезземеления массы в пользу высших сословий.

Мы не могли найти в книге г. Ковалевского указаний на причины возникновения в первобытных обществах частной собственности на движимость. Перечислив предметы, ранее других подвергающиеся личному присвоению, только «указав на самопроизвольный процесс индивидуа-

лизации движимой собственности» (стр. 35), но не об'яснив его, автор переходит «к вопросу о том: какое влияние оказывает переход того или другого племени к занятию земледелием и скотоводством на изменение в его среде форм имущественного права» (Ibid.). Таким образом, самая первая, важнейшая страница в истории частной собственности остается неразгаданной и темной. Мы не знаем, на каком основании автор считает возникновение частной собственности на движимость «самопроизвольным».

Факта ее возникновения никто, конечно, отрицать не станет; но если мы, до сих пор, можем лишь «указать» его, не приводя его в связь с каким-либо более общим и более для нас понятным разрядом явлений, то он продолжает оставаться фактом, установленным лишь эмпирически, а известно, что такие факты, как бы широко ни было их распространение, очень рискованно возводить на степень какого-то «мирового явления», в самом себе заключающего достаточную причину своего существования. Нельзя же, в самом деле, предположить, что на факте возникновения частной собственности обрывается причинная связь общественных явлений, что это самое широкое обобщение, какое мы только можем сделать, изучая сосуществование и последовательность этих явлений. Странно было бы думать, что факту повсеместного образования частной собственности суждено играть в общественных науках ту же роль, какую в естествознании играет факт взаимного притяжения тел. Очевидно, институт личной собственности в отношении как движимости, так и недвижимости, должен и может найти себе об'яснение в свойствах человеческой природы или общественной организации, или, наконец, в их взаимодействии, а пока мы не нашли для него об'яснения, мы не имеем достаточно основания для зачисления его в разряд «самопроизвольных» явлений, не говоря уже о путанице понятий, к какой может повести принятая автором терминология. Относительно любой из причин, действующих как в обществе, так и во всех других сферах явлений природы, возможно предположение, что влияние ее может нейтрализоваться воздействием других причин, или что даже она сама, действуя при других условиях, может повести к диаметрально-противоположным результатам; а между тем, называя процесс «индивидуализации имущественных отношений» самопроизвольным, автор как бы исключает, для вызывающей этот процесс и даже не указанной им причины, возможность сказанного предположения.

Нам кажется, что причина возникновения в первобытном обществе частной собственности на движимость заключается в свойствах перво-

бытных орудий и обусловливаемой ими организации труда. Если наше предположение окажется верным, то интересуюший нас «самопроизвольный» процесс сведется на степень общественного явления, обусловливаемого не более, как техникой производства в данном обществе; т.-е. его прогрессивный и регрессивный метаморфоз будет поставлен в зависимость опять-таки от той же силы экономической необходимости, которая, по мнению самого автора, «вызвала к жизни архаический коммунизм». Мнение же наше о причинах возникновения индивидуального права собственности основывается на следуюших соображениях. Из приводимых г. Ковалевским примеров мы видим, что ранее других подвергаются личному присвоению те орудия труда, которыми, в момент работы, может пользоваться лишь один индивидуум: таково, например, первобытное оружие у ботокудов и дакотов, рыбачья лодка с ее принадлежностями (стр. 32), шило у эскимосов и т. п. предметы. Наоборот, долее других в общем владении остаются такие орудия труда, которые требуют для их употребления в дело соединения усилий нескольких человек или, даже, семейств. Количество совладельцев таких орудий прямо пропорционально числу работаюших с их помошью членов общества. Мы говорили уже выше, со слов г. Ковалевского, что «орудия производимого совместно промысла... должны быть отнесены... к составным частям семейной и родовой собственности». Взявши приводимый им пример эскимосов, мы увидим, что предметом собственности, находяшейся во владении от одного до трех семейств, служат: палатка с ее принадлежностями, *большая ладья,* служашая при ловле китов, сани и запас провизии, достаточный для прокормления всех, держаших общий очаг лиц» (стр. 33 Общ. Земл.). Но есть род предметов, имеюший еше больший круг совладельцев: сюда относятся—«деревянная постройка для зимы и продукты китового промысла в количестве, достаточном для прокормления *всех соединившихся для возведения самой постройки* и живущих в ней совместно семейств, равно и для освещения жилищ в течение бесконечных зимних ночей». Все эти предметы принадлежат к категории *«общественной»* собственности. «То же воззрение на жилище, *как на достояние нескольких соединившихся для возведения* его семейств, встречается и у нуткас» (стр. 33).

Таким образом, не только орудия, но и продукты труда, требующего для своего выполнения общих усилий нескольких лиц, поступают в общую собственность семьи или рода. То же нужно сказать о предметах, приобретение которых в частную собственность может представить некоторые экономические неудобства и которые, с другой стороны, могут

удовлетворять потребностям многих семей, находясь в общем владении; такие предметы составляют об'ект общественной собственности даже в обществах, где от первобытного коллективизма остаются лишь немногие следы,—таково приобретение мирских быков в русских крестьянских селениях. Наконец, избегают индивидуального присвоения такие предметы, которые при разделении труда в данной группе индивидуумов служат для удовлетворения общих потребностей: «о краснокожих Бразилии доктор фон Мартиус сообщает, что рядом с индивидуальной собственностью, предметами которой являются оружие и одежда, у них встречается и семейная, в состав которой входит домашняя утварь, как-то: снаряды для растирания зерна и обращения его в муку, кухонные горшки и тому подобное» (стр. 33).

Что касается продуктов труда, исполняемого с помощью находящихся в индивидуальном владении орудий, то некоторое время они продолжают еще поступать в раздел между всеми членами племени.

У дакота убитые им буйволы служат для пропитания всего племени (стр. 28). Про ботокудов пишут, что у них: «все и каждый из членов племени в равной степени призываются к употреблению в пищу мяса убитого» («какого-нибудь крупного зверя») (стр. 29); но со временем эти предметы поступают в исключительное пользование добывшего их лица. Г. Ковалевский говорит, что первоначальное число предметов, подлежащих индивидуальному присвоению (оружие и одежда), «с течением времени увеличение путем присоединения к ним тех или других предметов, созданных частной предприимчивостью того или другого лица, как-то: насажденных его рукою деревьев, прирученных им же самим животных и тому подобное, а равно и тех, которые достались ему путем насильственного похищения» (стр. 35 Общ. Земл.). Очевидно, ни одно из этих предприятий не может быть исполнено с голыми руками, а при существовании, напр., в Индийском праве, требования, чтобы подобного рода «имущество было приобретено помимо всяких затрат со стороны семьи» (стр. 109), остается одно возможное предположение, что орудия, с помощью которых добывались эти об'екты собственности, находились в личном владении приобретателя. Конечно, переход от права всего племени на плоды личного труда и личной инициативы, как это мы видели у ботокудов, до постановлений, напр., Нарады, которая говорит, что «в раздел не поступает все, приобретенное мужеством, знанием, а равно и женино имущество» (Общ. Землевл., стр. 110),—такой переход совершается очень медленно и имеет множество промежуточных ступеней. Ко времени его окончательного завершения, в обществе действует уже

много других, разрушающих коллективизм, влияний; но нам важно то, что, на основании всех вышеприведенных данных, первоначальной причиною отнесения предметов к разным категориям собственности, мы должны признать различные свойства различных орудий труда; ими обусловливается тот или другой вид как организации труда, так и аппроприации продуктов труда в первобытных обществах. Известно, каковы свойства большинства первобытных орудий. Человек начинает свою борьбу с природой, будучи вооружен только жалкими кремневыми изделиями; долгое время он не знает даже железа. Экономическая необходимость заставляет первобытных людей скучиваться, по выражению г. Ковалевского, «в стадные соединения»; она заставляет их трудиться для общей цели.

Но посмотрите, какая разница в организации труда в группе первобытных людей, совместно добывающих средства к существованию, и на современной западно-европейской фабрике, в настоящем смысле этого слова. Труд фабричных рабочих представляет собою один организм, остов которого образует машина; усилия каждой трудящейся единицы имеют смысл лишь постольку, поскольку они приспособлены к усилиям других единиц,—без этого условия они теряют всякое значение. Техника современного производства не дает фактической, материальной возможности существованию изолированного труда. Сложная машина только и может быть пущена в ход трудом нескольких человек. Поэтому она не только обязывает людей к коллективизму труда, но и логически неизбежно ведет к коллективизму владения. Производительные ассоциации на Западе служат одним из симптомов такой тенденции. Не то в ассоциации первобытных людей. Совокупность усилий трудящихся единиц получает в ней значение только—как выражаются в логике—«через простое перечисление». Обстоятельства могут сложиться так, что чем больше единиц соединит свой труд, тем больше он будет иметь успеха. Но каждая из них работает с помощью отдельных, часто совершенно одинаковых орудий; какой-нибудь лук или бумеранг не только не требует для своего употребления труда нескольких человек, но и не может, в момент работы, служить более, чем одному человеку. Экономически необходим в таких ассоциациях только коллективизм труда, но не владения. Вот почему оружие, как мы видели, раньше всего отходит в частную собственность. В этом и заключается неустойчивость «архаического коммунизма». Едва ослабеет соединившая людей сила необходимости, едва ориентируется первобытный человек в окружающих его условиях—его орудия дают ему возможность трудиться независимо от

других. «При взаимодействии в борьбе, целью которой является утилизация людьми тех или других предметов... обращение последних в об'-екты владения и пользования, другими словами, в вещи не того или другого индивидуума, а всей группы последних является столь же необходимым, сколько и неизбежным последствием» (Общ. Земл., стр. 34).

Но там, где нет «взаимодействия» в труде, «столь же необходимым, сколько и неизбежным» кажется нам возникновение частной собственности. Мы видели уже, что сумма подлежащих индивидуальному присвоению предметов увеличивается, со временем, всем добытым «помимо общих затрат». Выдающиеся способности или смышленность являются основанием экономического неравенства в первобытном обществе; «архаический коммунизм» заболевает хроническим недугом и быстрыми шагами идет к разрушению.

Орудия или продукты общего труда остаются некоторое время в общем владении, пока увеличенное множеством, сосуществующих с указанными, влияний, экономическое неравенство в обществе не доставит, наконец, возможности приобресть их в собственность одному лицу, на которое другие работают по найму или принуждению.

Так, русские рыболовные артели уступают место капиталистической организации этого промысла.

Только в этом смысле, думается нам, можно назвать «самопроизвольным» процесс индивидуализации имущественных отношений: он является неизбежным при данном, далеко не постоянном, состоянии орудий человеческого труда. Ниже мы вернемся к тому значению, какое может иметь, по нашему мнению, указанное ограничение в исторической судьбе коллективизма; теперь же перейдем к рассмотрению «самопроизвольных» причин распадения первобытной общины, со времени окончательного перехода ее членов к оседлому земледелию.

III [1]).

Родовая община, с общинной эксплоатацией полей, этот древнейший тип поземельных отношений, распадается, как мы знаем, на несколько частей сообразно разветвлениям рода. К сожалению, о процессе ее распадения мы должны сказать почти то же, что и о первоначальном возникновении права частной собственности на движимые предметы. Нам не совсем понятны вызывающие его причины, а потому мы

[1]) «Русское Богатство» 1880 г., февраль.

затрудняемся отнести процесс распадения поземельной общины к числу явлений, обусловливаемых внутренними, «самопроизвольными» причинами. В самом деле, чем вызвано, по мнению автора, распадение родовой общины. Насколько мы могли его понять, причины распадения заключаются, во-первых, в увеличении числа членов рода, происходящем, с одной стороны, вследствие естественного прироста населения, а с другой—вследствие принятия родом в свой состав «как первоначальных поселенцев завоеванной ими местности, так и отщепенцев от других родов» (стр. 5 Общ. Земл.); вторая причина состоит в вызываемом увеличением населения ослаблении родственной связи между членами общины. «Не сдерживаемые более воедино узами крови,—говорит г. Ковалевский,—нераздельные семьи приходят постепенно, путем опыта, к сознанию разногласия, существующего между интересами каждого из них и интересами всех» (Ibid.).

«По мере удаления от первоначального поселения родов в пределах завоеванной ими территории,—повторяет он в главе о *современных формах общинного землевладения в Индии*,—сознание кровного родства между отдельными ветвями рода необходимо должно ослабевать. С постепенным упадком этого сознания обнаруживается, с одной стороны, в каждом из родовых подразделений желание устроить свои имущественные отношения таким образом, чтобы они стояли вне сферы участия и вмешательства более или менее чуждых ему остальных подразделений рода, а с другой...» и т. д.

Что касается до ассимиляции родом новых поселенцев, то, как видно из разбираемой же книги, это не везде и не всегда имело место; мексиканские и перуанские общины, в эпоху занятия этих стран испанцами, не принимали в свою среду новых поселенцев. Против их вторжения «община находила надежное средство в строгом соблюдении правила касательно совершенного устранения от выгод общинного пользования как новых поселенцев, так и членов соседних общин» (стр. 43).

Сведения эти почерпнуты г. Ковалевским из отчета Алонзо Зуриты, который застал у краснокожих «родовую общину с семейными наделами, размер которых определяется законами наследования» (стр. 40). Нас удивляет несколько, почему автор полагает, что такая община была «древнейшим типом землевладельческой общины в среде краснокожих» (стр. 42)—это тем более непонятно, что сам же он цитирует описание Стефенсом одного из племен группу Майо, в котором отдельные семьи обрабатывают землю сообща. Продукты урожаев поступают на хранение в особо устроенные для того магазины, из которых ежедневно отпу-

скается количество, необходимое для прокормления всего племени и т. д. (стр. 38). Вероятнее и сообразнее с принятой автором общей схемой историей человечества—предположить, что община, которую застал Зурита в Мексике и Перу, представляла собою не более, как одну из ступеней распадения описанного Стифенсом типа родового союза. А так как нет основания думать, что устранение от выгод общинного пользования членов других родов являлось лишь после исчезновения общинной эксплоатации полей в Мексике и Перу, то можно принять, что распределение на отдельные ветви родовой общины краснокожих не может быть приписано, хотя бы и частью, влиянию новых поселенцев. Остается ослабление родственной связи под влиянием естественного прироста населения. Но мы думали, что, указывая на роль последнего фактора в истории общины, автор принял следствие за причину. Можно признать, как нам кажется, общим правилом, что не родственные отношения определяют собою экономические, а, наоборот, характер первых целиком зависит от последних. Члены отдельной семьи никогда не могли утерять сознание существующей между ними кровной связи, а между тем, постепенное разложение «семейной общины» представляет такой же неоспоримый факт, как и распадение рода на отдельные ветви и семьи. Точно так же не раз было указываемо на изменение отношений в среде современной западно-европейской семьи под влиянием капиталистической продукции. Непонятно, вообще, каким образом может возникнуть «сознание разногласия между интересами» членов общины, вроде южно-славянских задруг, «практикующих начало нераздельности имуществ и общинной эксплоатации» (стр. 75). К такому сознанию отдельные семьи общины приходят, как мы видели, «путем опыта», но в чем же заключается реальная основа подобного опыта? Мы не думаем, чтобы она могла иметь что-либо общее с генеалогией отдельных семей. Если читатель находит сколько-нибудь вероятным наше об'яснение возникновения индивидуальной собственности свойствами первобытных орудий труда, то мы позволим себе предположить в распадении родовой общины дальнейшее влияние причин, уже нарушивших, по отношению к движимости, коренной принцип коллективизма. Кроме того, нужно иметь в виду и другие факторы. Припомним, что оседание племени в пределах данной территории могло совершиться лишь под условием победоносной борьбы с ее аборигенами. «Покоренные туземцы,—говорит г. Ковалевский,—составляющие на первых порах, если не все без исключения, то... в громадном большинстве, зависимый или полу-свободный класс... бывают устранены от пользования общинной землею» (стр. 5).

Вследствие этого, в недрах общества возникает многовековой процесс борьбы между победителями и побежденными. Одни стремятся удержать основанное на насилии statu quo, другие добиваются изменения его в свою пользу. Вызываемые этим процессом формы отношений к земле, «отличаясь крайним разнообразием, отвечают каждая той или другой стадии его развития» (стр. 39). В этом, как нельзя более удачном, выражении содержится разгадка дальнейшей аграрной истории общества, основанного на завоевании. Мы не понимаем лишь окончания только что цитированной фразы, в котором он называет переживаемые общинные метаморфозы «самопроизвольными».

С известными читателю ограничениями, мы согласились назвать таким образом процесс индивидуализации собственности, обусловливаемый свойствами орудий труда. Но изменения, внесенные в общину завоеванием, нельзя назвать иначе, как изменениями под давлением внешних влияний. Последние разнообразятся тысячами случайных обстоятельств. Численное отношение между победителями и побежденными; большая или меньшая разность культуры приходящих в столкновение племен; их религиозные воззрения и т. п., все это имеет значение в аграрной истории общества, все это видоизменяет ее, сообразно с различными комбинациями указанных и множества других условий. Не без значительного влияния на дальнейшую судьбу общины остается и ее военная организация у завоевательного племени. Г. Сокальский в военно-иерархической организации англо-саксонской сельской общины справедливо, по нашему мнению, видит первый и важнейший элемент ее разрушения. Игнорируя влияние завоевания, в момент «оседания», на дальнейшую судьбу общины; называя «самопроизвольным» в значительной мере обусловливаемый завоеванием процесс ее распадения, автор без достаточного, как нам кажется, основания выделяет в особую категорию «искусственных» разрушителей законодательную колониальную политику европейцев. Если отрицательное влияние испанского завоевания должно считать в числе «искусственных причин» разрушения общины у краснокожих, то почему же не отнести к таковым влияние всякого завоевания, в какой бы момент истории данного общества оно ни совершилось.

Испанцы истребляли туземцев, ввели систему «repartimientos» и «encomiendas», т.-е. по-просту обратили в рабство жителей завоеванной ими страны, они разрушили крепость общинных союзов и т. д. И на этом основании г. Ковалевский говорит, что разрушение общины у краснокожих «было ускорено» влиянием чисто внешних причин; но

разве ранее испанцев в Мексике и Перу не было завоеваний? И разве не к тем же последствиям должно было повести всякое завоевание? Мы приводили уже мнение г. Сокальского о том, как отразилась военная организация общины на завоевателях англо-саксах. Из книги самого г. Ковалевского можно видеть влияние той же организации на формы поземельного владения у мусульман. Автор относит к числу причин «самопроизвольного» разрушения коллективизма—влияние старейших, власть которых со временем возрастает и делается наследственной; влияние духовной и светской аристократии и, наконец, влияние промышленности. Так как все эти воздействия проявляются в полной силе уже после перехода родовой общины в сельскую, то мы должны сказать несколько слов об этом переходе, а затем уже заняться анализом перечисленных «самопроизвольных» причин.

В истории Индии мы видели уже, что этот переход совершается под влиянием новых переселенцев, устраняемых некоторое время от пользования общинной землей. Поэтому мы ограничимся замечанием, что система переделов и определяемых жребием участков не всегда имеет такое происхождение. В случае заселения свободной территории эмигрантами из страны, в которой уже совершился переход родовой общины в сельскую, эти последние сначала практикуют систему свободного занятия земли, «куда топор, коса и соха ходят», и затем, по мере возрастания населения, прямо переходят к переделам, т.-е. сельской общине в тесном смысле этого слова. Так происходило и происходит частью теперь дело, например, в наших казацких землях, которые представляют собою интересный пример группы сельских общин, в которых члены одной общины не устраняются от пользования землями другой. Земля считается принадлежащей целому войску, и казак какой-нибудь Луганской станицы Донецкого округа может перейти в любую станицу другого округа, везде имея право на получение следующего ему по разверстке душевого надела. Конечно, в настоящее время существует не мало канцелярских трудностей для перехода в другую станицу, но в этом нужно винить не казаков. Мы говорим это к тому, чтобы показать, до какой степени под влиянием внешних, случайных причин может разнообразиться история земельных отношений в обществе. Сельская община может возникнуть из свободной «займанщины», она может вырасти из родовой, наконец, эта последняя может прямо повести к владению подворно наследственному. «Последний исход имел место там, где общинные владельцы пришли своевременно к признанию невозможности воспрепятствовать дальнейшему включению поселенцев в их

число, иначе, как путем раздела общинной земли, если не в частную собственность, то в такую, неограниченным суб'ектом которой являлось бы большее или меньшее число живущих совместно и родственных друг другу семейств» (стр. 6 Общ. Земл.).

Ни в одном из этих случаев историю общины нельзя об'яснять внутренними причинами; называть «самопроизвольными» ее видоизменения. Невозможность установить сколько-нибудь прочный критерий, для отличия «искусственных» причин разрушения общины от самопроизвольных, ярче всего выступает при описании г. Ковалевским влияние усиливающейся государственной организации на формы поземельного владения в данной стране. Принятая им терминология ведет его ко многим противоречиям. Так, описывая существовавший в мексиканской общине обычай устранения пришельцев от пользования общинной землей, он говорит, что этот обычай «являлся плотиной против делаемых извне попыток к разрушению сельской [1]) общины» (стр. 44).

И, действительно, обложение общин, дотоле свободных от всяких платежей, «налогами в пользу», с одной стороны, правительства, с другой—«духовенства»; «обращение прежних свободных владельцев в зависимых от казны и поземельной аристократии общинных собственников», «захваты многими из членов служилого сословия... отдельных участков в пределах вверенных их администрации округов» (стр. 46)—все эти причины разрушения общины не могут назваться иначе, как идущими «извне» враждебными влияниями. А между тем, распадение общинного землевладения в эпоху доиспанского завоевания совершалось, по мнению автора, «самопроизвольно». Он находит, что, «при всей недостаточности дошедших до нас сведений касательно внутреннего быта туземного населения Мексики и Перу, мы, тем не менее, можем указать на факт *самопроизвольного* возникновения в его среде первых зародышей, с одной стороны монархического устройства, а с другой,—светской и духовной аристократии» (Общ. Земл., стр. 44). Едва ли про «*народившуюся с момента завоевания поземельную аристократию*» (стр. 45) можно сказать, что она возникла самопроизвольно. Сам автор говорит, что основание феодальным поместьям «*было положено вождями завоевательного племени*» (стр. 45 Общ. Земл.). При чем же здесь «самопроизвольное возникновение»... «светской и духовной аристократии»?

---

[1]) Т.-е. собственно говоря, родовой, так как «о переделах на равные доли мы нигде не встречаем и помину, по крайней мере, в Мексике и Перу, в эпоху их завоеваний испанцами (стр. 42 Общ. Земл.).

То же нужно сказать по поводу следующих глав сочинения г. Ковалевского. Почему автор относит английскую поземельную политику к «искусственным причинам» разрушения общины, а то же разрушение в эпоху арабского и монгольского владычества считает «частью насильственными, частью самой силой вещей вызванными переменами в системе поземельного владения в Индии» (стр. 149)? Неужели созданные арабами «вакуфы» и «икта», дававшие иктодарам столько поводов к захвату общинных земель, об'явление пустопорожней общинной земли собственностью правительства и раздача ее в полную индивидуальную собственность («muek»)—неужели все эти явления могут считаться, хотя отчасти, симптомами «самопроизвольного» разложения общины? Сам автор приводит данные, по которым можно составить себе понятие как о размерах раздачи, так и о переходе икта в наследственную собственность иктодаров.

«Персидский хроникер Зиауд-дин Барни сообщает нам, что в одном Доабе, взамен жалованья, было роздано султаном Шамсуддином до 2-х тыс. икта. Его преемники Гиасуд-дин Балбан и Джалалуд-дин Фироц, в свою очередь, лично или через губернаторов провинции, роздали военной аристократии новые бенефиции (стр. 134). Достигнутая на деле наследственность икта получила законодательное признание в правление Фирадза» (стр. 138). Великие Моголы создали систему земиндарств. «Утверждение старых и новых земиндаров составляло обыкновенное занятие всякого вновь вступившего на престол императора» (стр. 144). Земиндары получали, «с момента их поступления на должность, особые наделы из пустопорожних земель уделяемых им округов» (стр. 144); кроме того, им «предоставляемо было нередко право в'езда, охоты и рыбной ловли» (стр. 144). Династические интриги вели к упрочению земиндарств за получившими их лицами, которые не без успеха занимались «присвоением земель туземного населения, с целью дальнейшей обработки их на собственный счет» (стр. 148). Не удивительно, что все эти «самопроизвольные» причины создали, в конце концов, «тот радикальный переворот в сфере поземельных отношений, благодаря которому, по отзыву наиболее беспристрастных английских администраторов, во многих округах комиссарам кадастрации невозможно было обнаружить других собственников, кроме земиндаров» (стр. 150). Рядом с этим производилась, в фискальных интересах, раздача пустопорожних земель в «бесповоротную собственность» частным лицам и «уступки прав собственности мелкими владельцами крупным, под условием удержания наследственного пользования ими, т.-е. так называемая комен-

дация, или, по туземному, «икбалдава», но и эта последняя вызывалась внешними влияниями. «Причина, побуждавшая мелких собственников к добровольному отказу от своих прав,—говорит сам же Ковалевский,—лежит, очевидно, в том обстоятельстве, что с об'явлениями их земель вакуфами последние освобождаются как от возможности насильственного отчуждения их за долги путем публичной продажи, так и от обязанности нести в пользу казны «кородж», другими словами поземельный сбор» (стр. 123 Общ. Земл.). Процесс феодализации поземельной собственности и параллельного разрушения общины в Индии совершался целиком под влиянием причин совершенно внешних, не имеющих никакой связи с внутренней организацией общины; при всем внимании, мы не могли усмотреть тех «перемен в системе поземельного владения» в Индии, которые, не злоупотребляя словами, можно было бы приписать «самой силе вещей». Не менее недоразумений возбуждает и глава о «видах поземельного владения в Алжире». Почему разложение Алжирской общины во второй половине XVI-го века автор считает «ускоренным... совершенно посторонними влияниями, корень которых лежит в покорении страны турками» (стр. 204), между тем как то же разложение в предшествующей турецкому завоеванию период, по мнению автора, вызывалось, «как и везде, внутренними причинами» (стр. 204)?

Турецкому завоеванию предшествовало арабское и римское. Мы видели уже из истории Индии, как могли влиять мусульмане на общинное землевладение в покоренных ими странах; что же касается до римлян, то индивидуальное начало в поземельной собственности «несомненно обязано своим происхождением влиянию римского права, действие которого распространено было италийскими завоевателями и на туземное население берберов (Общ. Земл., стр. 198). Если римляне вводили в стране институт частной собственности, то чем же отличается их влияние от влияния поземельной политики французов, этой несомненно «искусственной» причины распадения коллективных форм землевладения в Алжире? А летопись завоеваний, которым подверглась страна, начинается, вероятно, ранее римлян. Вся разница между влиянием новейших европейских завоевателей и всех возможных других может, по нашему мнению, заключаться лишь в интенсивности вызываемого ими процесса разложения общины и, вследствие этого, во времени, в течение которого мог завершиться этот процесс. Интенсивность же разрушительного влияния, в свою очередь, об'ясняется разностью культуры завоевателей и завоеванных. Европейцы в эпоху их столкновений с аборигенами их колоний, не знали другой собственности, кроме

индивидуальной; естественно, что их отрицательное влияние на общинное землевладение в колониях должно было сказаться резче и скорее, чем влияние завоевателей-мусульман, бытовые формы которых еще продолжали носить на себе характер коллективизма. Но, не будучи чужды коллективных форм землевладения, мусульмане самым фактом завоевания ставили общину в условия, при которых не могло продолжаться ее здоровое существование; не разрушая общины, они вызывали, как говорят химики, «диссоциацию», т.-е. медленное распадение коллективизма. Таким образом, мы не видим существенной разницы между рассмотренным нами до сих пор «самопроизвольными» причинами распадения коллективизма и теми отрицательными влияниями на него, которые сам автор не колеблется отнести к числу внешних, «искусственных». Ни одна из них не имеет, по нашему мнению, связи с внутренней организацией общины, а потому вызываемое их совокупным действием разрушение коллективизма не может быть приписано экономической необходимости. Власть старейшин и образование высших сословий имеют своими предшествующими причинам *завоевание*. Возникновение и рост их обусловливается как естественным неравенством прав между завоевателями и завоеванными, так и военно-иерархической организацией внутри господствующего племени. К той же категории внешних влияний следует отнести и разрушительное действие развивающейся промышленности. Мы готовы согласиться, что «невозможность пользоваться общинными землями иначе, как под условием постоянного пребывания в месте нахождения последних, тормозя переселение в города ремесленно-торгового населения, является в его среде стимулом к разделу общинной земли» (стр. 15). Но ведь известно, что спрос вызывает предложение, а не наоборот. Чтобы часть рабочих рук страны оставила земледелие и обратилась к промышленности, нужно. во-первых, появление во всем обществе или в некоторой его части потребностей, для удовлетворения которых создавались бы те или другие отрасли промышленности; во-вторых, необходимо, чтобы работники, переходящие от земледелия к ремеслу, или получали лучшее вознаграждение на этом новом поприще, или просто не имели возможности приложить свой труд к земледелию, вследствие малоземелия или каких-либо других, подобно этой, причин. Иначе у них не будет стимулов для такого перехода. Где же возникает прежде всего спрос на произведения промышленности? Пред'является ли он целым обществом или только некоторой его частью?

Мы знаем, что коренной слой общества, его земледельческое насе-

ление долгое время удовлетворяется частью произведениями своего домашнего хозяйства, частью трудами местных деревенских ремесленников. Изделия промышленности находят очень мало покупателей в этой среде, да и не для нее предназначаются. Эмигрируя в города, ремесленники надеются встретить заказчиков, главным образом, среди высших сословий, военного и вообще дворянского, духовного и, наконец, среди чиновников, исполняющих те или другие административные функции. Но этого мало. Люди вообще не охотно покидают привычные занятия; тем более это можно сказать о земледельцах. По словам г. Ковалевского, в Индии «привязанность крестьян к земле так велика, что они предпочитают оставаться земледельцами на раз принадлежавших им в собственность участках, нежели искать высших заработков в городах» (стр. 194—195). Таким образом даже лучшее вознаграждение не всегда способно привлечь в города не только собственников земель, но и сельских батраков.

Однако переход в города, в конце концов, все-таки совершается.

Чтобы понять ускоряющие его причины, нужно припомнить то обстоятельство, что поземельная аристократия, вообще, не особенно церемонилась с подвластным ей населением деревень. Так, например, не говоря уже об истреблении и порабощения испанцами краснокожих, «обложение их владений не соответственными их доходности натуральными и денежными сборами приводит к тому же результату: я разумею,—говорит г. Ковалевский,—оставление туземцами их земель и переселение их в незаселенные европейцами и недоступные им лесные и болотистые пространства» (стр. 62).

Так поступали не одни европейцы. Созданная Великими Моголами система земиндарств в Индии вела к тому же результату. «Обременение налогами, личные преследования, нередко открытые насилия легко доводили крестьян до оставления своих наделов. В этом случае, последние обыкновенно шли на округление владений самого земиндара или поступали в заведывание кого-либо из зависимых от него лиц» (стр. 148), и крестьянам оставалось выбирать между «лесными и болотистыми пространствами», с одной стороны, и заработками в сфере промышленного труда—с другой. Разумеется, выбор не всегда склонялся в пользу первых. Так получает промышленность контингент рабочих рук, нужных для ее возникновения. Так же она снабжается ими и в более поздние периоды своего существования.

Известно, что развитию крупной капиталистической промышленности на Западе предшествовало массовое обезземеление крестьянства.

Счастливую особенность нашего отечества составляет отсутствие в нашей истории такого обезземеления. Но не нужно думать, что у нас нет условий, вытесняющих в города когда-то исключительно земледельческое население. «Земля в Московской губернии,—говорит г. Орлов [1]),—при своем естественном малоплодородии и при отсутствии у крестьян надлежащего удобрения, не только не дает средств для уплаты лежащих на ней податей и повинности, но даже не в состоянии доставить необходимых продуктов для удовлетворения первых потребностей крестьянского населения: в земледельческом хозяйстве крестьян почти везде в губернии *является дефицит, который обыкновенно покрывается* промыслами местными и *отхожими*» (стр. 9—10). Средний, по 12-ти уездам Московской губернии, размер платежей, лежащих на душевом наделе, равняется 10-ти руб. 45 коп., между тем как средняя арендная плата за него не превышает 3 руб. 60 коп. (Сборник Стат. Свед., стр. 202).

В «доброе старое время» русские крестьяне, подобно краснокожим под испанским владычеством, искали облегчения своей участи в «болотистых и лесных пространствах», они «разбредались розно». В настоящее время разбредаться по таким пространствам невозможно, а потому хотя деревня «разбредается» по-прежнему, но ее «руки» служат для увеличения «национального богатства» на фабриках, заводах и так далее, словом—в сфере промышленного труда. Но таким образом создается только один элемент промышленности—необходимый контингент рабочих рук. Для развития ее нужен, как известно, еще и капитал. Каким же образом создается этот последний? «В обществе, в котором, как в индийском, капиталистическое хозяйство не успело еще сложиться,—говорит г. М. Ковалевский,—ростовщичество составляет весьма обычное явление» (стр. 185). И не только обычное, но и необходимое: без накопления ростовщического и торгового капитала немыслимо возникновение капитала промышленного. Чтобы составить себе понятие о том, чем вызывается и поддерживается ростовщичество, читателю стоит лишь прочитать в книге г. Ковалевского главу об «английской поземельной политике в Ост-Индии». Он узнает из нее, как, благодаря непомерно высоким налогам, «мелкий ростовщик начинает постепенно играть роль гиганта в индийской поземельной системе» (стр. 186); как, по словам официального лица, сборщика налогов, «ростовщики... обстоятельно знакомятся с экономическим положением каждого из членов сельской общины и, пользуясь их стесненными обстоятельствами,

[1]) Сборник Стат. Свед.

соглашаются не иначе сделать им заем, как под условием уплаты чрезмерных процентов» и т. д. (стр. 186). И не в одной Индии встречаемся мы с таким явлением. По словам г. Орлова, в Московской губернии «бедные крестьяне-недоимщики принуждены во что бы то ни стало продавать свои дольки (из лесных наделов), не дожидаясь удобного времени; а между тем у многих из них нет даже лошади, чтобы отвезти лес в город; приходится поэтому продать на месте первому покупщику, каковым и является более зажиточный крестьянин, скупающий у неимущих крестьян доставшийся, по разделу, им лес по ничтожной цене и затем перепродающий его в удобное время вдвое и втрое дороже. Почти во всяком селении, имеющем в наделе лес, встречаются такие скупщики» (Сборн. Стат. Свед., стр. 245). Читателю известно, что кулачество находит себе пищу не только при разделе мирского леса.

Этим об'ясняется тот факт, что в Московской губернии «возникают резкие противоположности в имущественном состоянии крестьянского населения: громадный процент крестьян постепенно теряет всякую возможность вести самостоятельное хозяйство и обращается в разряд безземельных и бездомных, а вместе с этим незначительный процент крестьян с каждым годом увеличивает степень своего имущественного благосостояния» (Сб. Ст. Свед., 1 стр.). Результаты такого положения дел везде одни и те же. Как в Индии «оставление земель без обработки и удаление из общины с целью избавиться от несения поземельного налога» становится «далеко не редким явлением» (Общ. Земл., стр. 187), так и в России—«пустырники» выделяются в особую группу и становятся как бы отверженными, изгнанными из мира; община раскалывается на две части, из которых каждая становится во враждебное отношение друг к другу; хозяева смотрят на «пустырников» как на тяжелое бремя, так как им приходится, по круговой поруке, отвечать за последних; «пустырники же, не пользуясь своими наделами, должны платить все лежащие на них подати, иначе мир не выдает им паспорта и «стегает» их в волостном правлении за неплатежи; очевидно, мир в глазах пустырников является обузою, бичом, тормозом» (Сборн. Стат. Свед., стр. 155). В таких-то общинах и замечается стремление крестьян к подворному владению. Оно представляет приятную перспективу и для «исправных домохозяев», которые, благодаря ему, избавились бы от круговой поруки,—и для «пустырников», которые рассчитывают путем его совершенно разделаться с обременительными для них наделами (Сравн. Сб. ст. сведений, стр. 289—290). Итак, не одна только «неосуществимость выгод от общинного пользования», как думает г. Кова-

левский, заставляет покинувших земледелие общинников стремиться к подворно-наследственному владению; к этому приводит иногда и невозможность избавиться от убытков, связанных с владением мирскими землями, иначе, как путем их раздела. В обоих случаях разрушение общины «происходило и происходит под влиянием столкновений, в которые рано или поздно, приходят интересы состоятельных и несостоятельных членов ее». Но, спрашивается, чем же вызывается это столкновение? Лежит ли его причина внутри или вне общины? Мы рассмотрели последовательно возникновение каждого из элементов, необходимых для развития промышленности в стране. Мы видели, что спрос на ее произведения является прежде всего в среде высших сословий; мы знаем уже, что как образование этих последних, так и необходимый для промышленности контингент рабочих рук и накопление капиталов имеют своим источником условия, совершенно не связанные с общинным землевладением. Поэтому «обособление» от оседлого сельского населения «подвижного ремесленно-торгового» (Общ. Земл., стр. 8) так же, как и прочие указанные г. Ковалевским «самопроизвольные причины» разложения земельного коллективизма, должно быть, по нашему мнению, приписано посторонним, враждебным для общины влияниям. Вот почему, несмотря на все достоинства замечательного труда г. Ковалевского, мы думаем, что он повторил в нем ту же ошибку, на которую указывал ёму г. Кареев, после выхода «Очерка истории распадения сельской общины в кантоне Ваадт», то-есть внешних разрушителей общины он принял за лежащих в ней самой, внутренних и «самопроизвольных». В сказанном нами заключается ответ на все поставленные выше вопросы. На основании всего выше изложенного, мы не можем считать разрушение общины неизбежным историческим явлением. При известной комбинации отрицательных влияний, это разрушение, действительно, неизбежно. Именно такие комбинации и обусловили собою разрушение общины почти во всех известных нам культурных странах. Но из этого еще не следует, что невозможна другая комбинация условий, при которых община, напротив, стала бы расти и развиваться. По той же причине мы не можем признать справедливым сделанный г. Ковалевским упрек «недавним исследователям русской общины».

Но скажет, быть может, читатель, невозможно даже представить себе общину, изолированную от враждебных влияний; мы не знаем такой Аркадии, где бы не было завоеваний, порабощения одного племени другим и т. д.,—все это лежит в природе первобытного, да, пожалуй, если на то пошло, и современного человека; поэтому указанные авто-

ром причины, хотя бы они и не лежали в организации общины, все-таки должны быть названы самопроизвольными, то есть лежащими в природе составляющих общество единиц причинами, действие которых неотвратимо и неизбежно. Защищаемая вами община требует, для сохранения своего существования, совершенно немыслимых условий; только, покрывши ее стеклянным колпаком, можно предохранить ее от разрушения, а это равносильно признанию неизбежности, иначе самопроизвольности, последнего. Добро бы стояли вы на точке зрения г. Орлова, по мнению которого «предполагать, что общинную форму землевладения можно устранить какими-либо внешними, искусственными или законодательными мерами было бы заблуждением» (Сборн. Стат. Свед., стр. 319), а то сами же соглашаетесь с тем, что многие из тех условий, в которые становилась община, в течение своей истории, были для нее абсолютно смертельными, сами же указываете на разобщающие производителей свойства первобытных орудий труда и все-таки спорите, все-таки доказываете, что «самопроизвольные причины» разрушения общины—в сущности не самопроизвольны. Удивительная страсть к спору из-за слов! Но, скажем мы, в том-то и дело, что спор касается не одних только слов. Выслушайте нас до конца, и вы, быть может, найдете, что мы не так уже виноваты в празднословии, как вам это кажется.

С мнением г. Орлова мы, действительно, согласиться не можем. В его собственном исследовании есть немало данных в пользу противоположного высказанному им взгляда.

Пример сельских обществ, пришедших к подворно-наследственному владению, вследствие закона о вольных хлебопашцах, наглядно показывает возможность разрушения общины под законодательным влиянием. Точно так же, по его собственным словам, «разложению составных общин на простые (односеленные, деревенские) в значительной степени способствовала выдача в 1866 году государственным крестьянам владенных записей, где точно обозначен размер земли, поступившей в надел каждому селению» (Собр. Стат. Свед., т. VI, в. 1, стр. 256—275). Усилия подольской земской управы ввести подворно-наследственное владение приусадебными землями «на основании 110 ст.», несмотря на встреченное со стороны крестьян противодействие, также могут увенчаться успехом. А ведь именно с переходом усадебных мест в наследственное владение и начиналось всегда и везде распадение общины.

Но, кроме этих непосредственных влияний, мы укажем г. Орлову на замеченное им же самим «раскалывание» общины на две неравные части—«исправных домохозяев и «пустырников»,—раскалывание, про-

исходящее, опять-таки, по независящим от общины обстоятельствам. Мы попросим его припомнить обнаруживаемую такими общинами и опять же им самим подмеченную тенденцию к разделу общинных земель в потомственное владение, установление определенных сроков переделов, являющееся результатом того, что «после нескольких переделов, убедившись, что переделами делу не поможешь, если нет надлежащих условий для хозяйства, — мир устанавливает приговором определенный срок, до истечения которого переделы не должны повторяться (Сб. Стат. Свед., т. VI, в. 1, стр. 211—212). Продолжительностью таких сроков «и гарантируются интересы более исправных домохозяев» (стр. 212). Но всего важнее, как нам кажется, то обстоятельство, что в способах владения «купчей» и пользования арендованной землей сохранилась, да и то не всегда, одна внешняя форма общины, так как в этом случае права каждого участника в предприятии измеряются количеством внесенных им денег; такую землю делят «по деньгам», нисколько не соображаясь с хозяйственными способностями и потребностями «пайщиков».

Очевидно, что такой способ соединения покупателей и арендаторов ближе подходит к понятию о мелкой акционерной компании, чем к понятию мирского владения и пользования землей, в настоящем значении этого слова. Он практикуется в странах, где от общинного землевладения не осталось и следа, как, например, в Сицилии, где крестьяне также соединяются в компании для аренды земли у крупных собственников и также производят ее разверстку «по деньгам» [1]).

Нужно помнить, что соединение мелких арендаторов в одно общество, с круговою порукой его членов, происходит нередко по требованию землевладельца, справедливо видящего в этом гарантию своевременного взноса следуемой ему арендной платы.

Можно было бы найти еще много примеров вторжения во взаимные отношения общинников разлагающего общину индивидуализма, но, надеемся, и приведенных достаточно, чтобы показать, почему не разделяем мы приятной уверенности г. Орлова. Итак, мы убеждены, что земельный коллективизм не всегда способен устоять под напором враждебных ему влияний; в частности же, в русской общине, замечаем признаки искажения ее коренного принципа и даже—таких случаев к счастию еще не много,—полного ее разрушения. Но мы все-таки говорим, что поземельная община может иметь прочное будущее при благоприятном стечении обстоятельств.

---

[1]) См. «Критическое Обозрение», 15 августа 1879 г., рецензию г. Кареева о книге Сонино.

Процесс разложения поземельной общины под совокупным давлением свойства первобытных орудий труда и внешних враждебных воздействий совершается далеко не всегда одинаково быстро. В одних случаях, родовая община, как мы видели выше, непосредственно заменяется подворно-наследственным владением пахотной землей, а потом и другими угодьями; в других она переходит в сельскую. Эта последняя в свою очередь держится более или менее долгое время, в зависимости от множества условий. На Западе пахотные земли были поделены в наследственную собственность еще задолго до развития крупной капиталистической промышленности; в России община исчезнет,—если только исчезнет,—повидимому, уже в борьбе с капитализмом. В германской марке усадебная земля уже во времена Тацита была поделена в наследственную собственность, у нас и в настоящее время предложение подольской земской управы, о переходе к этому способу владения приусадебной землей, встречает противодействие в крестьянской среде. Мы не думаем приписывать это различие в судьбе общины у нас и на Западе каким-либо «расовыми особенностями»; мы просто относим его на счет исторических влияний, которые не были тождественны в том и другом случае. Но мы знаем, что сумма этих влияний в данной стране не остается постоянной. С течением времени в нем может явиться новое, весьма значительно видоизменяющее ее слагаемое. Мы разумеем то или другое, положительное или отрицательное, но, во всяком случае, сознательное отношение общественного мнения страны к существующим в ней формам землевладения. Правда, такое отношение к общине может установиться лишь путем сравнения ее с другими формами землевладения, то-есть после более или менее полного ее разрушения, по крайней мере в других странах. Но там, где она представляет еще господствующую форму землевладения, сознательно-положительное отношение к ней крестьянской массы и интеллигенции страны может в значительной степени нейтрализовать действие враждебных ей влияний, если не останется, разумеется, платоническим. И мы считаем позволительным предположить, что в таком случае община может продержаться до того времени, когда явится необходимость и возможность интенсивной культуры земли, а значит и употребления таких орудий и способов труда, которые потребуют общинной эксплоатации общинного поля. Свойства орудий труда, состояние земледельческой техники—эти единственные самопроизвольные причины неустойчивости первобытного коллективизма, станут с тех пор могучими стимулами его роста и развития. Коллективизм труда и владения его орудиями сделается экономически необходимым, а потому и неиз-

бежным, и будущее поземельной общины получит твердую, реальную основу.

Своевременный переход к общинной эксплоатации полей или разрушение в борьбе с нарождающимся капитализмом—такова, по нашему мнению, единственная альтернатива для современной сельской поземельной общины вообще и русской в частности.

Правы или не правы мы, высказывая это мнение, но читатель, надеемся, согласится, что мы не из-за слов только спорили, доказывая, что не внутри, а вне общины лежат причины ее почти повсеместного разрушения. Он видит также, что́ понимали мы под «суммою положительных влияний», под «благоприятным для общины стечением обстоятельств», могущим предохранить ее от разрушения. Говорить о *таких* положительных влияниях вовсе не значит желать накрыть общину стеклянным колпаком.

В IX главе исследования г. Орлова, посвященной описанию «отношения самих крестьян к общинной форме землевладения» читатель найдет немало доказательств сознательного сочувствия крестьян к этой последней. Симпатии нашей интеллигенции также все более и более склоняются на сторону общины.

Что же касается до машинной обработки земли, то в этом—последнее слово агрономической теории и практики; рано или поздно к ней придут русские землевладельцы и земледельцы, как уже приходят постепенно западно-европейские.

Вопрос только в том, будет ли к тому времени земля находиться во владении крестьянских обществ или частных лиц. А это, как мы уже говорили, в значительной степени зависит от правильности понимания нашей интеллигенцией экономических задач родной страны.

Статьи из „Черного Передела“.

От редакции [1]).

В № 1 «Народной Воли» было уже заявлено о причинах прекращения издания «Земли и Воли» и появления двух новых органов, не совсем согласных между собою в определении практических задач русской социально-революционной партии.

Нам остается лишь дополнить сделанное там об'яснение. Раскол в редакции «Земли и Воли» не ограничился, к сожалению, пределами литературного кружка; он выражал собою два различных течения, возникших внутри народно-революционной партии. Которое из них более соответствует духу девиза этой партии—Земли и Воли,—какое из двух новых изданий уклонилось от первоначальной ее программы—об этом не место высказываться в нижеследующих немногих строках. Мы ограничимся поэтому замечанием, что «Земля и Воля» по-прежнему останется нашим практическим, боевым девизом, так как эти два слова наиболее полно и широко выражают народные потребности, стремления и идеалы.

В статье о «Черном Переделе» подробно говорится об отношении повсеместного ожидания народом передела земли к этой исторической революционной формуле. Что касается названия нашего издания органом социалистов-федералистов, то оно об'ясняется нашим убеждением, что лишь федеративный принцип в политической организации освободившегося народа, только полное устранение принудительного начала, на котором основаны современные государства, и свободная организация снизу вверх— может гарантировать нормальный ход развития народной жизни. Насколько торжество федеративного принципа может быть достигнуто одним ударом, одним победоносным революционным движением,—невозможно, конечно, сказать в настоящее время. Но партия

---

[1]) Из передовой статьи в № 1 «Черный Передел», вышедшем 15 января 1880 г.

должна направить все свои усилия к обеспечению его торжества, и социально-революционные издания не могут обходить молчанием этого, важного вопроса.

Этнографический состав населения русского государства постоянно заставляет считаться с ним даже в современной нам практике. Малороссия, Белоруссия, Польша, Кавказ, Финляндия, Бессарабия—каждая из этих составных частей Российской империи имеет свои народные особенности, требует самобытного, автономного развития.

Ввиду этого было бы весьма полезно развитие местной революционной литературы; но пока оно составляет задачу будущего. «Черный Передел», по необходимости, является органом всех русских социалистов, разделяющих основные положения его программы. Тем не менее, каждое указание на местные отличия в постановке социального вопроса и практических приемах партии всегда найдет самый радушный прием на страницах нашего издания.

Наконец, исходя из условий русских общественных отношений в постановке своей практической программы, русская социально-революционная партия не может упускать из виду положений научного социализма, которые должны служить для нее критерием при оценке различных сторон и форм народной жизни. Издание, имеющее в виду, главным образом, интеллигентных читателей—к которым мы относим также и часть городских рабочих,—даже обязано указывать на тесную связь русского революционного движения с общими выводами западно-европейской жизни и мысли, оттенять их тождество—в последнем счете—с стремлениями и задачами русской социально-революционной партии.

Сказанного, полагаем, достаточно, чтобы отклонить могущие возникнуть по поводу названия нашего органа недоразумения.

Черный Передел [1]).

Глас народа—глас Божий.

В многомиллионной массе русского крестьянства беспрерывно появляется, исчезает и вновь возникает множество самых разнообразных слухов, толков и ожиданий. Несмотря на свое видимое разнообразие, все эти слухи имеют один и тот же источник—страстное искание наро-

[1]) Статья из № 1 «Черного Передела».

дом того или другого выхода из современного невыносимо-тяжкого положения. Но ни один из них не приобрел такого широкого, можно сказать, повсеместного распространения, ни один не остановил на себе в такой степени внимания правительства и интеллигентного общества, как слух о предстоящем, будто бы, в скором времени переделе земли. Никто не может указать не только автора этого «превратного толкования», но даже и места первоначального появления последнего. Пущенный, быть может, одним из тех бывалых людей из народа, которым их продолжительное скитальчество по белому свету сообщает не псевдо-цивилизованные привычки городского обывателя из мещан, не презрительное отношение к «серой деревенщине», но глубокое, инстинктивное понимание народных потребностей и народного горя, слух этот облетел всю земледельческую Россию... и везде перешел в непоколебимую уверенность относительно скорого приближения «слушного часа» и т. п. Не заботясь о том, чьим «священным правам», каким «общественным основам» противоречит его желанный аграрный переворот, народ наш положил ожидание этого переворота в основание своего примирения с тяжелым настоящим, своих надежд на лучшее будущее. С точки зрения этого, по его мнению, неотвратимого факта он оценивает все события внутренней и внешней жизни современной России. Покушение на жизнь императора, казни политических преступников, стеснение казаков, восточная война, приготовление к ревизии, все эти факты, несмотря на их очевидную несоизмеримость, взвешиваются народом исключительно с точки зрения его заветных ожиданий земельного передела, в каждом из них он видит только подтверждение основательности своих надежд. Правительственный циркуляр, изданием которого г. Маков едва не оказал медвежьей услуги популярности царского имени в народе, встречен последним с полным недоверием. «Так и перед волей не единожды читали и об'являли, а все-таки воля вышла»,—вот непредвиденный, вероятно, г. Маковым ответ, о своеобразную логику которого разобьется еще не одно правительственное заявление.

Влияние этой непоколебимой уверенности простирается даже на сферу чисто-коммерческих отношений: в некоторых местах крестьяне, как известно, отказываются от покупки земель и избегают долгосрочных арендных контрактов. По своему влиянию на народные умы, слух о переделе земли может сравниться разве только с теми слухами об уничтожении крепостного права, которые ходили в народе чуть ли не с самого возникновения этого института в России, послужили поводом ко множеству мелких волнений, с каждым годом расширявшихся и возра-

ставших в числе [1]), и убедили, наконец, правительство в том, что лучше «освободить народ сверху», нежели ждать, пока это освобождение будет предпринято снизу.

Не прошло еще и двадцати лет после «великой реформы» нынешнего царствования, как народ, со свойственной массам черной неблагодарностью, начинает поговаривать о переделе земли и толкует об этом с тою же роковою уверенностью, которая один раз уже вынудила правительство к уступке. Никто не может поручиться в том, что если бы правительство уступило и на этот раз, наарод не потребовал бы от него новых и новых уступок, пока, постоянно ограничивая и урезывая самого себя, государство не дошло бы, наконец, до полного самоотрицания, а так как это последнее никак уже не может входить в правительственные виды, то никто не может поручиться и в том, что народ не будет вынужден удовлетворять своим потребностям путем того воздействия «снизу», тенет которого все правительства и все либералы в мире избегают так же старательно, как Мефистофель избегал креста. Что касается до нас, революционеров-народников, то мы считаем такое воздействие неминуемым, так как вся внутренняя история России есть, по нашему мнению, не что иное, как длинное, полное трагизма повествование о борьбе на жизнь и смерть между полярно-противоположными принципами народно-общинного и государственно-индивидуалистического общежития. Кровавая и шумная, как ураган, в минуты крупных массовых движений, вроде бунтов Разина, Пугачева и др., борьба эта не прекращалась ни на минуту, принимая самые разнообразные формы. Откупаясь от государственного вмешательства в его жизнь во времена Грозного, как откупался он когда-то от норманнов, хазар или, потом, татар; разбредаясь розно и заселяя пустынные степные окраины и лесные тайги северного поморья и Сибири; образуя шайки понизовой вольницы под предводительством своих любимых «атаманушек»; оплакивая «древнее благочестие» в глухих раскольничьих скитах, народ везде и всюду отстаивал одни и те же стремления, боролся за одни и те же идеалы общежития.

Свободное общинное самоустройство и самоуправление; предоставление всем членам общины сначала права свободного занятия земли «куда топор, коса и соха ходит», потом, с увеличением народонаселения, равных земельных участков с единственною обязанностью участво-

---

[1]) См. кн. Романовича-Славатинского: «Дворянство в России», где представлена перепись этих волнений.

вать в «общественных разметах и разрубах»; труд, как единственный источник права собственности на движимость; равное для всех право на участие в обсуждении общественных вопросов и свободное, реальными потребностями народа определяемое соединение общин в более крупные единицы—«земли»: вот те начала, те принципы общежития, которые так ревниво оберегал народ и которые, кратко формулируясь в боевом девизе «Земля и Воля», в минуты, когда чаша народного долготерпения оказывалась переполненной до краев, обладали магическим свойством волновать умы массы от прикаспийской Астрахани до беломорского Соловецкого монастыря. С самых ранних времен своего существования государство вступило в противоречие с этими принципами. Отдача свободных дотоле общин в «кормление» представителям государственной власти, которые вмешивались в народную жизнь и лишили общину до тех пор неоспоримого ее права на решение возникавших внутри ее вопросов; произвольное обложение общин податями для непонятных народу и чуждых его интересам целей; захват общинных земель и раздача их частным лицам; раздача вотчин и поместий высшим классам и предоставление им права на крестьянский труд; полное закрепощение народа и насилие, насилие, насилие, от насильственного спаивания народа при «тишайшем» Алексее Михайловиче до обращения с помощью военных экзекуций сел в города и насильственного введения культуры картофеля при «незабвенном» Николае—вот те блага, которые приносило народу государство, те приемы, которых оно неуклонно держалось в продолжение всей своей истории. Напрасно г.г. официальные историки стремятся убедить нас в том, что русский народ не только добровольно призвал князей, но и всегда охотно подчинялся государственным порядкам. Это подчинение было настолько же добровольно, как и подчинение малорусского народа польскому или подчинение индийцев англичанам.

Во всех этих случаях было то же насильственное вторжение в народную жизнь, то же непонимание и игнорирование ее склада и особенностей, то же попрание народных прав, и еще неизвестно, который из трех народов более энергично протестовал, настойчивее отстаивал устои исконных бытовых форм своего общежития. До сих пор русское государство оставалось победителем в его борьбе с народом, но кто возьмется высчитать шансы этой борьбы в будущем? До сих пор торжество государства было полно и повсеместно. Оно сдавило народ железным кольцом своей организации; пользуясь ее преимуществами, оно с успехом подавляло не только мелкие и крупные народные движения, но и все проявления самостоятельной народной жизни и мысли; оно наложило

свою тяжелую руку на казачество, исказило земельную общину; заставило народ заплатить за его исконное достояние—землю—выкуп, превышающий стоимость самой земли; но в то время, когда оно отпраздновало уже тысячелетний юбилей своего существования, когда оно, повидимому, уже нимало не сомневалось в окончательной гибели самобытной народной жизни, народ с полным спокойствием и ничем не разрушимою уверенностью заявляет, что далее так продолжаться не может, что сам царь поймет, наконец, эту невозможность и возьмет на себя почин перестройки общественных отношений в духе исконных народных идеалов. Ничто не могло так горько отравить торжества победителей, не могло нагляднее доказать, что влияние государственности было и остается до сих пор поверхностным, что оно не простирается на умы и воззрения массы, как этот замогильный голос заживо погребенного, но все еще полного сил и способности к самобытному развитию, народа.

Вот почему правительство забило тревогу и, вопреки всем прежним официальным уверениям относительно того, что русская социально-революционная партия есть не более, как «горсть злонамеренных личностей», не имеющих никакой почвы и влияния в народе,—оно об'явило, что ходящие в крестьянстве толки о переделе земли нужно целиком отнести на счет социалистической пропаганды. Оно приписало социалистам такое громадное влияние на народные умы, о котором они до сих пор не всегда позволяли себе даже мечтать. Такова логика официальных заявлений. Справедливость заставляет нас, однако, признать, что в подобной ошибке правительство виновато менее, чем это может показаться с первого взгляда.

Мудрено ли, что не имеющее понятия об особенностях склада жизни и правовых воззрениях народа, из всех событий русской истории знающее лишь историю дворцовых переворотов да летопись дворцовых крупных и мелких интриг, часто забывающее даже историю своих собственных «мероприятий», мудрено ли, говорим, что такое правительство, с удивлением и страхом услышавшее о живущих в крестьянстве ожиданиях полного аграрного переворота, об'яснило эти ожидания влиянием социально-революционной партии? Оно узнало, что народ не признает за высшими классами права собственности на землю, что он требует не только экспроприации земли у высших классов, но и установления совершенно иных, малопонятных с правительственной точки зрения, форм отношений к ней; оно узнало, словом, что народ ждет социальной революции, и, естественно, обвинило в том социалистов.

Читатель, сколько-нибудь знакомый с ходом возникновения партий вообще, и русской социально-революционной в частности, не нуждается, конечно, в доказательствах того, что в данном случае следствие принято за причину. Не потому народные воззрения на землю и право владения и пользования ею противоречат воззрениям высших классов, не потому не согласуются они с понятием о собственности, санкционированным сводом государственных законов, что появилась в России социально-революционная партия. Напротив, эта последняя потеряла бы всякий смысл существования, навсегда осталась бы экзотическим растением, неизвестно кем и зачем пересаженным на русскую почву, если бы не было вышеупомянутой розни, если бы она не положила своего отпечатка на всю историю внутренних отношений в нашей стране, не проникала собою всех сфер человеческого общежития. Этою рознью только и вызвана к жизни наша партия, в ней заключаются наши надежды, в ней видим мы залог своего успеха, и ее же считаем мы исходным пунктом, операционным базисом нашей революционной работы в народе. Полагаем, что не бесполезно будет остановиться на этом несколько долее.

Наши воззрения на практические задачи нашей партии составляются из двух слагаемых: общих указаний науки и специальных условий русской истории и современной действительности. Мы признаем социализм последним словом науки о человеческом обществе и в силу этого считаем торжество коллективизма в области владения и труда альфой и омегой прогресса в экономическом строе общества. Мы знаем, что выражение «природа не делает скачков» одинаково приложимо как в сфере явлений природы, в тесном смысле этого слова, так и в ходе развития человеческих обществ. Мы помним, что каждый шаг на пути этого развития строго определяется предшествующей историей общества и его состоянием в данный момент, словом, всей суммой данных динамики и статики рассматриваемого общества. Но мы убеждены также и в том, что паллиативы не исцеляют социальных зол, что всякий общественный деятель должен стремиться провести в общество максимум необходимых и возможных реформ, что, выражаясь кратко, каждый общественный деятель должен быть *радикалом*. Так как экономические отношения в обществе признаются нами основанием всех остальных, коренною причиной не только всех явлений политической жизни, но и умственного и нравственного склада его членов, то радикализм прежде всего должен стать, по нашему мнению, радикализмом экономическим. Усилия реформатора-радикала должны направляться, главным образом, на максимальное изменение к лучшему общественно-экономического строя, не справляясь о том, мирно или при насильственном сопротивлении со стороны

лиц, заинтересованных в сохранении старого порядка, может совершиться это изменение.

Все эти положения суть не что иное, как выводы современной социологии, равно обязательные для всего человечества. Сознательно или бессознательно, следуя или противореча им на практике, с ними считались все реформаторы и революционеры, все общественные деятели, от Будды до К. Маркса, от «великого» Ликурга до «маленького» Тьера, или ген.-губ. Гурко включительно. Но едва захотим мы приложить эти положения к практической деятельности в нашем отечестве, едва, вместо условий общественного развития вообще, мы заговорим об условиях русского прогресса в частности, мы, логикой тех же самых положений, обращаемся в русских *революционеров-народников*. Только в формах русской народной жизни находим мы здесь задатки для развития полного коллективизма в отношениях производителей к орудиям труда, только отстаивая эти формы, мы можем найти незыблемую опору в крестьянской массе; в устранении враждебных влияний и расчистке пути для правильного развития этих форм заключается сумма возможных в настоящее время экономических и, стоящих к ним в отношении следствия к причине, политических реформ в России [1]). Но для осуществления этого максимума реформ, нам прежде всего нужно обратить свои усилия на разрушение ныне существующего в нашем отечестве государственного строя. Государству закрепощена главная масса народного труда. Созданное им путем экспроприации земли у народа малоземелье образует тот контингент искусственно оторванных от родной хаты и нивы батраков, из которого набирают «рабочие руки» фабрики и заводы. Тяжелыми поборами оно заставляет крестьянина искать средства для удовлетворения требований государства на стороне, т.-е. вынуждает его отдавать себя в жертву хозяйской эксплоатации. Оно поддерживает кулачество и ростовщический капитализм в деревне и, таким образом, подбирается к формам народной жизни с самой опасной стороны. Выше мы старались исторически осветить враждебность государства к всестороннему развитию форм народной жизни, теперь указываем на современные отношения народа к государству. Цель нашей статьи будет достигнута, если читатель согласится с нами, что всё принадлежащее последнему будет безвозвратно потеряно для народа, что каждый год его существования стоит народу массу бед-

---

[1]) Более полно эти мысли были развиты нами в № 3 «Земли и Воли» в статье «Закон экономического развития и задачи социализма в России», к которой мы и отсылаем читателя.

ствий, несчастий и горя, что оно деморализует народ, стараясь привить к нему формы чуждой ему жизни. Вот почему разрушение государственной организации должно составлять нашу первую задачу. А так как борьба с государством может совершаться только на почве «Земли и Воли», то мы, исходя из вышеизложенных общих положений социализма, приходим к необходимости агитации во имя тех же начал, за которые уже боролись Разин, Пугачев и другие, приходим к тому, что мы называем революционным народничеством. Так, понимающий дело русский агроном, руководствуясь общими положениями агрономической науки, выросшей на почве иных условий народонаселения, сбыта, техники земледелия, утилизирует эти положения, сообразно с русскими условиями выгодной эксплоатации почвы.

Вот почему мы называем нашу газету «Черный Передел». В этих двух словах заключается решение крестьянского вопроса, от которого, в свою очередь, зависят все остальные. Конечно, решение это касается только экономической стороны упомянутого вопроса, но экономические отношения в обществе служат субстратом для всех остальных категорий человеческих отношений. Толкуя о «Черном Переделе», о земле, народ забывает, повидимому, о «Воле», т.-е. о той сумме общественных реформ, которая исторически связана с этим словом, даже более, народ наш, повидимому, считает возможным примирить передел земли с существованием современного государства: он ждет этого передела от царя.

Но как бы ни думал в настоящее время народ, от кого бы ни ждал он осуществления его требований, экономическая, поземельная революция неизбежно поведет за собою переворот во всех других общественных отношениях. В знаменитом девизе крупных народных движений воля так же неотделима от земли, как сила неотделима от материи, как следствие неотделимо от причины. Пусть народ ждет поземельной революции от царя, пусть он верит в него, видит в нем своего защитника и ходатая. Но царь, существующий в народном понятии, и царь, сидящий на русском престоле,—так же непохожи друг на друга, как римский народный трибун непохож на восточного деспота, как Кай-Гракх непохож на Шир-Али, и мы утверждаем, что даже происходившее под авторитетным знаменем Пугачевское движение логикою народных требований было бы доведено до полного отрицания царской власти, как мы понимаем ее теперь. А во-вторых, рано или поздно фикция должна исчезнуть перед указанием опыта, народ должен увидеть царскую власть в ее истинном свете.

Социально-революционная партия должна взять на себя заботу как

о скорейшем разрушении этой фикции, так и об уяснении народу и проведении в его сознание всех необходимых следствий ожидаемого им аграрного переворота. Толкая народ в активную борьбу с государством, воспитывая в нем самодеятельность и активность, организуя его для борьбы, пользуясь каждым мелким случаем для возбуждения народного неудовольствия и для сообщения народу, путем пропаганды словом и делом, правильных воззрений на смысл ныне существующих и желательных в будущем социальных отношений, социально-революционная партия должна довести народ от пассивного ожидания «Черного Передела», долженствующего совершиться сверху, до активных требований «Земли и Воли», пред'являемых снизу. В этом заключается задача и возможные пределы ее воздействия на народ, только на этом пути ожидает нашу интеллигенцию славное историческое будущее, только на нем и встретит она мост для перехода той громадной пропасти, которая отделяет интеллигенцию от народа чуть ли не со времени крещения Руси и проникновения в высшие классы чуждых народу, выработанных на истощенной почве разлагавшейся Византии, воззрений и понятий.

Все другие пути действия, как бы ни казались они радикальны, как бы много ни сулили они народу, будут ретроградны по своему существу, потому что все они предполагают не только сохранение государства, но и действие с его помощью. Как бы ни приспособлялось государство к народным потребностям и интересам, оно всегда во столько же раз меньше даст народу, во сколько индивидуалистический принцип, лежащий в основе современного государства (не только русского, но и всякого другого), во сколько этот принцип ниже принципа коллективизма, мирской помощи и солидарности, на которых всегда строилась или стремилась построиться народная жизнь. В этом смысле мы и говорили, что голос народа, требующего аграрной революции, есть как бы голос Божий, указывающий нашей интеллигенции ее истинное, провиденциальное назначение.

С.-Петербург, 14 декабря [1]).

В то время, когда, вслед за наступившим после 1848 года затишьем, в западной Европе снова начало усиливаться рабочее движение, в России стали обнаруживаться революционные тенденции в среде интеллигентной молодежи. Пройдя несколько фазисов и захвативши известную часть рабочего населения, русское интеллигентно-революционное движе-

---

[1]) «Черный Передел» № 1.

ние остановилось на так называемом народничестве, которое и составляет ныне преобладающее течение в нашем революционном мире. Какое значение может иметь это движение в общей жизни страны? В состоянии ли оно изменить в течение веков установившееся отношение между народом и государством? В каком отношении стоит русское народничество к западно-европейскому социализму? Эти вопросы, представляющие интерес для всякого, кто рассматривает события нашей внутренней жизни не исключительно с точки зрения уголовного кодекса, естественно, должны быть разработаны изданием, посвященным пропаганде революционного народничества в среде нашей интеллигенции и указанию путей и способов его практического осуществления. В предлагаемом ряде следующих статей мы задаемся целью дать на них посильный ответ.

Прежде всего нужно установить сколько-нибудь определенную и точную терминологию. Это тем более необходимо ввиду того, что с народничеством в разных странах и в различные периоды их общественного развития могут быть связаны совершенно различные и даже противоположные друг другу теоретические представления и практические программы.

Название «народно-революционной» может быть отнесено ко всякой партии, ставящей на своем знамени социальную революцию в интересах и согласно с воззрениями и идеалами народной массы. Но, употребленное без всяких оговорок, название это не дает еще никакого представления о характере долженствующего совершиться переворота. Современные ирландские агитаторы были бы народниками-революционерами, если бы, вместо более или менее паллиативных реформ, они указали низшему классу ирландского населения на аграрную революцию, как единственый выход из его бедственного положения. Агитация Гракхов в Риме, равно как и делавшиеся во время Цицерона предложения относительно передела земли, были радикально-народническими в полном смысле этого слова, так как они вполне совпадали с интересами беднейшей части римских граждан и их представлениями о справедливой организации поземельного владения. Но как в современной Ирландии, так и в древнем Риме, аграрная революция могла бы лишь передать право поземельной собственности в руки всего народа, не внося нового принципа в отношения людей к земле. Она могла бы только раздробить частную поземельную собственность, но не уничтожить ее совсем. В каждой из этих стран аграрная община исчезла уже задолго до названных нами аграрных волнений, и в населении успело изгладиться всякое

представление о коллективной поземельной собственности, по крайней мере, на пахотные земли.

Совершенно иное значение приобретают аграрные волнения в странах, где община является преобладающей формой крестьянского землевладения. Экспроприация крупных поземельных собственников необходимо ведет в этом случае не только к более справедливому распределению экспроприированных земель, но и к замене индивидуального владения ими коллективным, т.-е. обусловливает торжество высшего принципа имущественных отношений. Такой именно смысл имеют живущие в русском народе ожидания черного передела, которые, даже в тех частях нашего отечества, где существует подворно-наследственное владение землею, нередко связываются с представлением об общинном землевладении и душевой разверстке. Вследствие этого социалист, провозглашающий коллективное владение орудиями и об'ектами труда, по крайней мере, в той части своей пропаганды, которая касается поземельного владения, становится выразителем и обобщителем народных стремлений и, не отказываясь от своего выработанного наукою миросозерцания, он с полным правом может назвать себя *революционером-народником,* в лучшем значении этого слова.

Сочувствие массы земледельческого населения коллективным формам землевладения, в свою очередь, придает своеобразный вид как постановке социального вопроса, так и практическим задачам социалистической партии в России, сравнительно с ее задачами на Западе.

Чтобы определить и выяснить это различие, нужно обратить внимание на те формы кооперации производителей на Западе, которые служат якобы прообразом организации труда и владения в будущем обществе. Эти формы созданы крупной капиталистической промышленностью. Соединяя в одно организованное целое изолированных производителей ремесленного периода, социализируя труд, она подготовляет почву для социализации владения, которое, со времени разрушения западно-европейской поземельной общины, стало индивидуалистическим, даже по отношению к недвижимой собственности. Так как в настоящее время уже не мыслим возврат к ремесленному изолированному производству, то единственно-возможное решение рабочего вопроса заключается в экспроприации капиталистов и организации коллективного владения орудиями труда.

Техника современного производства, начавшись социализацией труда, логически-неизбежно ведет к социализации владений, т.-е. к практическому осуществлению социалистических учений. Родившись

на фабрике, рабочий социализм проникает и в деревню, вслед за исчезновением мелкой поземельной собственности и капиталистической организации земледельческих предприятий. При господстве индивидуального владения землею, социализация поземельного владения может явиться лишь как следствие социализации труда в таких предприятиях. Неудивительно поэтому, что социалистическая пропаганда встречает самый радушный прием в местностях, охваченных процессом капиталистического производства; напротив, мелкие собственники-крестьяне относятся к ней очень враждебно и составляют надежную опору реакционных партий. Классическим примером в этом случае может служить земледельческое население современной Франции. Но и там концентрация поземельного владения в руках крупных собственников рано или поздно вытеснит господствующую ныне систему землевладения, и французское крестьянство, силою экономической необходимости, вынуждено будет присоединиться к революционной армии городского пролетариата.

Таким образом, капитализм подготовляет почву социализму и является его необходимым предшественником. Но, как мог уже заметить читатель из вышеизложенного, неизбежность капиталистической продукции, как переходной ступени к социалистической организации будущего общества, признается нами лишь для тех сфер имущественных отношений людей, где индивидуализм являлся до сих пор исключительно господствующим принципом. Еще со времени феодализации поземельной собственности на Западе этот последний вытеснил собою коллективное владение землею; что касается орудий труда, то они по самым свойствам своим требовали единоличного владения, и лишь введение машин крупной промышленностью создало конкретную основу для применения к ним коллективного начала.

Поэтому все сферы общественных отношений в западно-европейском обществе должны были пройти чистилище капиталистической продукции, чтобы реорганизоваться на началах коллективизма. Там же, где эти последние проникают собою, по крайней мере, поземельные отношения массы, их дальнейшее развитие и распространение на движимые орудия труда может совершиться естественным путем, конечно, при благоприятных условиях. Коллективные формы владения даже движимой собственностью не представляют чего-либо нового и неизведанного в истории имущественного права. Мы встречаем их на первых ступенях общественного развития, и если они, мало-по-малу разрушаясь, уступили, наконец, место торжеству противоположных им индивидуалистических форм во всех известных нам культурных странах, то до сих пор еще во-

прос о причинах их исчезновения представляется далеко не решенным окончательно и безапелляционно в сторону внутренней необходимости Напротив, даже с предвзятою мыслью предпринятые исследования приводят лишь новые доказательства в пользу того мнения, что исчезновение коллективизма обусловливалось неблагоприятным стечением исторических условий. Они не только не носят в самих себе элементов разложения, но, напротив, при благоприятном стечении обстоятельств, прогрессируют и совершенствуются, налагая свою печать на все предприятия общинников. Стремление к коллективной организации промышленных предприятий было замечено во всех странах, где поземельная община сохранилась в более или менее полном виде.

Таково, напр., развитие артельных промыслов в тот период нашей истории, когда государственный гнет, с одной стороны, не успел еще подавить народной инициативы, а с другой—не породил еще того кулачества, которое монополизирует в настоящее время все отрасли промышленности.

Подобное же явление замечается и в Индии, где уже древнейшие законодательства упоминают о «людях, соединившихся с целью содействовать, каждый своими трудами, успеху общего предприятия». Несмотря на множество самых неблагоприятных исторических влияний, эти кооперативно-промышленные товарищества существовали вплоть до английского завоевания. Но, разумеется, применение принципа кооперации возможно только в тех сферах труда, где оно способно повести к увеличению его производительности. Современное состояние, напр., нашего земледелия, господство экстенсивной культуры почвы не благоприятствует общинной эксплоатации полей. Самое употребительное при такой обработке земледельческое орудие—соха, с которою, как известно, с удобством может управляться один рабочий. Разделение труда между отдельными работниками невозможно при подобном состоянии земледельческих орудий, а потому артельная обработка мирских земель не в состоянии была бы увеличить его производительность. В этом нужно искать разгадки того на первый взгляд странного явления, что, несмотря на всю привычку нашего крестьянина к артельной организации, он не применяет своего излюбленного артельного принципа к земледелию. Совсем иное значение имеет этот принцип в других отраслях сельского хозяйства и, вообще, крестьянского обихода. Покос лугов, вырубка леса, рытье канав и т. п. часто требуют дружных усилий всего мира, и здесь мы видим применение коллективного труда.

Таким образом, социализация земледельческого труда может

явиться естественным следствием общинного землевладения лишь на известном уровне сельскохозяйственной культуры. Введение интенсивных способов обработки почвы и более совершенных земледельческих орудий не только не затрудняется, но, напротив, значительно облегчается существованием неразделенной поземельной собственности в общине. А это введение поставит на очередь вопрос об артельной эксплоатации мирских полей. Тогда и пропаганда последней получит, так сказать, экономическую санкцию и будет, без всякого сомнения, плодотворной. В настоящее же время только общинное землевладение и артельная организация народной промышленности составляет практически осуществимую в России часть социалистической доктрины. Поэтому они и должны быть взяты агитационным девизом русской социально-революционной партии. Говорим—агитационным, потому что возможность и пределы *пропаганды* в различных частных случаях могут и должны быть шире требований, непосредственно вытекающих из условий переживаемого Россией фазиса экономического развития.

Так понимаем мы различие, существующее в постановке и способах решения социального вопроса на западе Европы и в России. Но это различие не исчерпывается вышеуказанным. Как это понятно само собою, оно распространяется и на практические приемы нашей партии, что и составит предмет следующих статей.

Лондон, 2 сентября [1]).

Нам, социалистам конца 70 и начала 80 годов, пришлось быть современниками весьма серьезного перелома в общественной жизни России. Когда-то всесильный, нигде и ни в ком не встречавший сопротивления, абсолютизм обнаруживает старческую дряхлость и почти полную беспомощность. В его расслабленном организме жизнь поддерживается только усиленными приемами возбуждающих веществ в виде всевозможных «временных мероприятий», от военной диктатуры до заграничных займов и выпусков новых бумажных денег включительно. Всё искусство придворных знахарей, вся мудрость Зимнего Дворца пущены в оборот, но полученные до сих пор результаты едва ли могут назваться отрадными для бескорыстных и нанятых сторонников абсолютизма.

Это и неудивительно. По традиционной привычке—искать в казарме разрешение общественных вопросов, перепуганный самодержец решил, что храбрый генерал непременно должен быть «мудрым правите-

---

[1]) Из «Черного Передела» № 2 1880 г.

лем» и, не долго думая, произвел «фельдфебеля в Вольтеры». Лорис-Меликов был облечен полномочиями, неслыханными в России со времен «Царя Земщины», блаженной памяти татарина Симеона Бекбулатовича. Занявши свой высокий пост, Михаил Тариэлович принялся спасать «порядок», «семью», «собственность» и все, к чему взывают предержащие власти, когда начинают опасаться за свои прерогативы. Он «карал», «миловал», обещался чего-то «не потерпеть», кого-то призвать к «содействию власти», а в последнее время отважился даже на переименование III-го Отделения, со всеми его чадами и домочадцами, в департамент полиции политической. Но, вопреки уверению сикофантов, его воззвания не содержали в себе решительно ничего оригинального, его «реформы» оказались тем низкопробным политическим шулерством, в области которого наше правительство составило себе такую печальную известность.

Некоторая разница между нашими «помпадурами борьбы» замечается только в слоге. Михаил Тариэлович любит «штиль» высокий и просит общество о «содействии власти». «Сам» предпочитает язык, если не совершенно «подлый», то, во всяком случае, простой и безыскусственный. «Господа, говорит он, многие из вас—домовладельцы, следите, пожалуйста, за своими жильцами». В «добром русском сердце» такая откровенная просьба находит даже более сочувственый отклик, чем псевдо-либеральное красноречие бывшего диктатора. Это доказывается тем, что в ответ на призыв самодержца слушатели гаркнули немедленное и дружное «ура», между тем, как читатели Лорис-Меликовской прокламации и до сих пор продолжают чесать у себя в затылке. Что же касается сердец, лишившихся своей первобытной чистоты под тлетворным влиянием Запада, людей, недовольных современными русскими порядками, то опыт показал уже, как относятся они к правительственым просьбам о помощи и обещаниям реформ. О социалистах, разумеется, нечего и говорить. Эти люди до такой степени испорченные, что беседы с ними возможны только в застенках «департамента полиции политической». Но стоит припомнить земские адреса, записку профессоров Петербургского университета, стоит раскрыть книжку сколько-нибудь честного журнала, развернуть номер мало-мальски чистоплотной газеты, чтобы увидеть, как глубоко пал абсолютизм в общественном мнении. Обязанность вынимать правительство из петли, которой оно само себя захлестнуло, общество не отделяет и не может отделить от права участия в управлении и его контроля.

Тлетворное влияние Запада сказалось на всем общественном мне-

нии, и правительству волей-неволей придется пойти на уступки. Александр Николаевич пока еще не понимает всей безысходности своего положения. Повидимому, он надеется еще поддержать колеблющуюся «храмину» абсолютизма соединенными силами дворников, полиции, жандармерии и всех забалканских и закавказских героев. Но, отличившиеся «в делах против неприятеля», полководцы не обнаруживают никаких талантов в походе против духа времени; высочайше пожалованные в соловьи кукушки остаются кукушками. А положение дел с каждым днем ухудшается. Невыносимая духота чувствуется во всей общественной атмосфере. Все сознают крайнюю ненормальность современного положения, все ищут выхода из него, но в умышленно поддерживаемой правительством темноте все бродят ощупью, сталкиваются, ушибаются, посылают друг другу проклятия и постоянно натыкаются на новые препятствия. «Слово и дело государево» распространяет настоящую панику, шпионство достигает небывалых размеров, и даже дети играют в военные суды и смертные приговоры.

Над Россией тяготеет проклятие, налагаемое историей на всякую отсталую и развращенную страну. Сама природа как будто ополчается на наше несчастное отечество и поражает его целым рядом бедствий. Неурожай, засуха, жучки, черви, голод, пожары, эпидемии, эпизоотии и т. п. и т. п.—вот чем полны отделы внутренних известий наших газет; вот картина, по яркости красок, не уступающая картине египетских казней. Ни в чем не повинный народ бедствует, голодает, разоряется окончательно. Вслед за последнею коркою хлеба, он потеряет также и терпение. Как предвестники приближающейся грозы, то здесь, то там вспыхивают волнения. В некоторых местах крестьяне отказываются платить недоимки и ободряют себя тем соображением, что «хуже не будет». «Хуже не будет, хуже невозможно»—это вопль отчаяния, в котором народы, как и отдельные личности, решаются на всё, трусы делаются героями, самые слабые люди—силачами.

Так продолжаться долее не может. Общество увидит, наконец, всю глубину пропасти, на край которой привело его правительство, и, движимое чувством самосохранения, добьется необходимых реформ. В противном случае Гордиев узел современной безурядицы будет разрублен топором крестьянина.

Но вероятнее первый исход. Один из Александров—II-й или III-й—это, в сущности, все равно, вынужден будет высочайше пожаловать конституцию, которая удовлетворит интересам высших классов. На минуту нарушенное согласие между ними и монархом восстановится, го-

лодающему народу кинут корку-другую хлеба, охранителей из «департамента» заменят охранители из Земского Собора, и «порядок» будет восстановлен, к общему удовольствию всех, заинтересованных в его сохранении.

В этом споре за власть между отживающим абсолютизмом и нарождающейся буржуазией, какую роль будут играть социалисты? Сосредоточат ли они свои силы на политической борьбе или найдут для себя в народе дело более плодотворное, более достойное партии, написавшей на своем знамени экономическую революцию в интересах трудящихся масс?

Конечно, не нам, отрицающим всякое подчинение человека человеку, оплакивать падение деспотизма в России; не нам, которым борьба с существующим режимом стоила таких страшных усилий и стольких тяжелых потерь—желать его продолжения. Мы знаем цену политической свободы и можем пожалеть лишь о том, что русская конституция отведет ей недостаточно широкое место. Мы приветствуем всякую борьбу за права человека, и чем энергичнее ведется эта борьба, тем более мы ей сочувствуем. «Света, больше света».—На этом требовании сойдутся все честные и уважающие себя люди в России. Но кроме выгод, которые несомненно принесет с собою политическая свобода, кроме задач ее завоевания, есть другие выгоды и задачи; и забывать о них невозможно именно в настоящее время, когда общественные отношения так обострились и когда, поэтому, нужно быть готовыми ко всему.

Кризисы, переживаемые обществом при замене одного режима другим, всегда сопровождаются некоторым брожением в народе; при благоприятных условиях оно разрешается рядом более или менее сильных волнений. И это понятно. Народу всегда тяжелее всех других классов приходится расплачиваться за ошибки правительства. Отсюда—недовольство, с особенной силой проявляющееся в минуты правительственной дезорганизации. Так было во время Великой Революции во Франции, так было в Германии в 1848 г. Народ возобновлял свою вековую распрю с господствующими классами и поджигал помещичьи замки, не справляясь о консервативном или либеральном образе мыслей их владельцев. Исходы таких волнений определялись, конечно, всей суммою современных им условий. Но в алгебраической сумме последних весьма значительную отрицательную величину—всегда составляло отсутствие в народе сплоченности, единства и организованности действий. В то время иначе и быть не могло. Крестьянские массы только в редких, исключительных случаях способны выдвинуть из своей среды достаточ-

ное количество организующих и руководящих элементов. Интеллигенция же того времени почти целиком стояла на стороне буржуазии и на благо народа смотрела сквозь призму интересов 3-го сословия. Это опять-таки было естественно тогда, но совершенно непозволительно для социалистической интеллигенции нашего времени. Было бы очень печально, если бы, увлеченные политической борьбой, мы предоставили народным волнениям совершаться без нашего участия, воздействия и влияния. Поступая таким образом, мы собственноручно подписали бы себе патент на беспочвенность, который так усердно навязывают нам наши враги. Социалистическая «партия» без почвы и влияния в народе, без заботы о их приобретении—это nonsens, «штаб без армии», мнимая величина, не имеющая значения в ходе общественной жизни страны. С такою партией было бы не нужно считаться ее врагам, они могли бы игнорировать ее требования, без всякой серьезной для себя опасности.

Итак, рассуждая даже исключительно с точки зрения нашего влияния на ход политических событий в России, мы должны поставить деятельность в народе превыше всех задач, как источник нашей силы и наших успехов в борьбе с врагами, которых в конституционной России у нас, конечно, будет не менее, чем теперь, и которые всеми силами будут стараться затруднять нашу деятельность, помешать нашей пропаганде, об'явить нас вне закона.

Но какую же проповедь понесем мы в эту среду, какие задачи и цели укажем мы ей, как наиболее важные и легче всего достижимые? Экономический вопрос всегда и везде был и будет сильным, жгучим, самым существенным вопросом для трудящихся масс. С точки зрения этого вопроса они определяют свое отношение к существующему порядку вещей, благословляют или проклинают появление нового, отталкивают или поддерживают различные партии. Выступая активно в моменты общественных кризисов, народ преследует именно цель своего экономического освобождения. Вопросы политические имеют для него второстепенное значение, если не игнорируются им совершенно. В этом—несчастие всех дворянских и буржуазных партий и—залог несомненного успеха для социалистов, которые признают коренную важность экономического вопроса и решают его в пользу трудящихся масс. Но здесь же и предостережение для социалистической интеллигенции. Всякое ее уклонение с пути экономической революции будет наказываться ослаблением ее связи с народом, потерей ее значения, падением ее влияния в народной среде.

Вот почему, при всем нашем сочувствии политической борьбе, на

которую устремилось уже не мало сил, когда-то работавших вместе с нами, мы говорим, что борьба эта имеет лишь второстепенное значение; вот почему мы говорим: современное положение дел в России не только не требует сосредоточения *всех* наших сил на политической арене, но более, чем когда-либо, вызывает спрос на них со стороны народа.

* * *

«Но,—говорят нам,—деятельность в народе так затруднена; мы окружены в деревне целой сетью шпионов; каждый шаг наш наблюдается и принимается к сведению; о работе сколько-нибудь продолжительной нечего и думать. Мы должны от нее отказаться, если не хотим «тратить все силы на то, чтобы биться около народа, как рыба об лед».

На это мы заметим, что мы сами виноваты, если не воспользовались многими представлявшимися нам случаями усилить свое влияние и сделать популярным свое имя в народе. Стоит лишь припомнить волнения казаков на Урале, в Полтавской станице Кубанского Войска и на Дону; стачки рабочих в Серпухове, Костроме, селе Тейкове, наконец, в Петербурге, Москве, Киеве и Одессе, чтобы увидеть, как обильна была наша жатва и как мало оказалось жнецов. Во всех этих случаях социалисты не сделали и сотой доли того, что они должны были и могли сделать даже при существующих политических условиях. А сколько крестьянских волнений стало нам известно только тогда, когда «порядок был восстановлен», о скольких из них мы совсем не имели сведений? Одно только Чигиринское дело было попыткой утилизировать спорадически вспыхивающие в крестьянстве волнения, с целью создания в его среде более или менее широкой революционной организации. И результаты этой единственной в своем роде попытки едва ли подтверждают основательность вышеизложенных пессимистических взглядов. Крестьяне так горячо относились к вопросу своего освобождения, так охотно примыкали к организации, что неожиданно-обширное распространение ее, можно сказать, и погубили дело. Но случайность болтливости одного из членов могла бы быть устранена более осмотрительным приемом новичков в организацию; это сообщило бы ей устойчивость, и тогда, как знать, чем окончилось бы дело? Говорить ли о городских рабочих? Повторять ли, что Малиновские, Обнорские, Петры Алексеевы, Петерсоны и т. д. служат наглядным доказательством плодотворности нашей деятельности в рабочей среде. Лет 20—25 тому назад группа рабочих социалистов в России была бы «чудом родины своей», а в начале 80 г.г. нам пришлось услышать об аресте тайной ти-

пографии петербургских рабочих и о готовящемся к изданию социалистическом рабочем листке.

Мы не спорим, немало неудач пришлось нам пережить, но причины их надо искать не в свойствах народной среды и—по крайней мере, часть,—не в современных политических условиях, а в собственной нашей неловкости, в нашем собственном неумении. Но и это—болезни излечимые. Ряд наших недостатков располагается во времени, по убывающим, а не по возрастающим степеням. Но довольно об этом. Наша статья переросла уже намеченные для нее размеры, и мы почти до пост-скриптума должны были отложить многие, весьма существенные вопросы. Приемы революционной деятельности в народе должны прежде всего занять остающееся место. Перейдем же к их рассмотрению.

Выше мы постарались показать, что социалистическая интеллигенция лишится почвы в народе, если хоть на время откажется от преследования задач революции экономической. Мы говорили, что в минуты, когда народное внимание будет возбуждено политическими событиями в стране, социалистическая пропаганда—словом и делом—приобретет особенно важное значение и особенно внимательных слушателей; мы утверждали также, что если начнутся в народе волнения, на обязанности нашей интеллигенции лежит их расширение, организация и внесение в них возможно более широкой революционной идеи. Но для этого нужно иметь предварительно связи в народе, нужно упрочить свое положение в его среде. И чем скорее будут исполнены эти подготовительные работы, тем спокойнее мы будем смотреть на приближающиеся события, тем увереннее пойдем мы к своей цели.

Переход орудий и об'ектов труда в руки трудящихся—такова формула ее выражающая, таков девиз социалистической революции. И что бы ни принесли с собою грядущие события, мы никогда не должны терять ее из виду.

Трудная и долгая работа ее достижения не подходит, разумеется, под раз навсегда установленные шаблоны, не укладывается в неизменных рамках, а разнообразится в связи с условиями времени и окружающей среды. Устная и письменная пропаганда должна вносить в сознание народа идею социалистической революции со всеми ее выводами и последствиями. Но при настоящих условиях социалистическая пропаганда должна вестись тайным образом, при запертых дверях и опущенных сторах. Поэтому она поневоле будет затрагивать только отдельных личностей. Чтобы влиять на массу, нужно изыскивать другие способы действий. Посредственно или непосредственно, они заключаются в слове

«агитация». В русской социалистической литературе достаточно уже занимались разработкой вопроса о значении агитационных приемов. Поэтому мы излишним считаем приводить новые аргументы в их пользу. Интереснее вопрос о точках опоры для нашей агитации, тех исходных пунктах ее, которые в главных чертах всегда могут быть указаны для данной среды и известного времени. Имея дело с массой, всегда можно указать среднюю арифметическую недовольства составляющих ее единиц, найти ту струну народного сердца, которая больнее всего затрагивается окружающей действительностью. Для русского крестьянина такую больную струну составляет, без сомнения, вопрос аграрный. Крестьянин с завистью смотрит на барскую и казенную землю; он недоволен своим наделом, задавлен лежащими на нем платежами; он ждет аграрных перемен, «черного передела», «слушного часу» и т. п. Но вместо хлеба, правительство и высшие классы подают ему камень. И по временам терпение его истощается, долго накоплявшееся недовольство прорывается пассивным сопротивлением или открытым бунтом. Тогда готова почва для социалистической агитации. Революционер должен явиться обобщителем частных причин народного недовольства, подвести их к знаменателю экономической революции, поддержать стойкость и энергию в протестующей массе. Насколько удастся ему эта работа в каждом частном случае, предсказать, конечно, невозможно. Масса не всегда одинаково настроена в пользу радикального решения волнующих ее вопросов. Но в этом направлении должны влиять на нее социалисты. Недоконченное в одном случае, довершится в другом, пропаганда дополнит влияние революционера на отдельных, выдающихся личностей, организация свяжет их в один революционый союз, образует из них звенья одной цепи, и основания народной социально-революционной партии, в данной местности, могут считаться заложенными.

Но, говоря об агитационном способе действий, мы должны коснуться тех сторон его, которые, при недостаточно внимательном к ним отношении, легко могут сделаться отрицательными. По нашему мнению, Сцилла и Харибда агитации лежит: 1) в так называемых ближайших, минимальных требованиях, и 2) в предрассудках массы, с которыми агитатору, во всяком случае, приходится считаться. Устремляясь на путь первых, мы из социалистов-революционеров превратились бы в социальных реформаторов; излишний оппортунизм по отношению к народным предрассудкам может привести нас к самым опасным компромиссам.

Аграрная революция, как выражается она в народных требованиях,

сама по себе есть минимум в сравнении с задачами и требованиями социализма. Ставя эту революцию исходным пунктом своей агитации в народе, мы должны всеми силами стараться обобщать и расширять ее требования в социалистическом духе, а не урезывать их, отвлекая внимание народа на различные паллиативы. Организация поземельного кредита, увеличение наделов, уменьшение податей, расширение крестьянского самоуправления и ограждение его от произвола администрации—все эти и подобные им требования могут служить *поводом* для агитации, в том или другом частном случае. Но единственной *целью* ее должно быть приведение их к одному общему знаменателю экономической революции. Предлагать же эти полумеры всей массе крестьянства, как средство серьезных улучшений в ее судьбе—значило бы упрочивать, а не разрушать существующий ныне общественный строй. Сказанное относится ко всем моментам народной жизни, не исключая момента политических преобразований в России. В последнем случае, как и во всех других, на подготовленную ходом событий почву мы должны бросать семя экономической революции, хотя бы всходы не везде обещали быть одинаково хорошими.

Перейдем к вопросу о политических суевериях массы, расстаться с которыми ей иногда труднее, чем вступить в открытый бой с ее угнетателями. Может ли социалист утилизировать эти предрассудки для целей революции? Встретивши на страницах «Черного Передела» рассказ о Чигиринской попытке наших товарищей, многие приняли нас за апологетов такой утилизации. Но это ошибка. Ниже мы перепечатываем письмо, помещенное нами в польском социалистическом издании «Rownosci». Читатель может видеть из него, как относимся мы к «Чигиринскому делу». Здесь же мы скажем вообще, что вливание нового вина в старые меха совершенно неблагодарная работа, осужденная историей на полное бесплодие. И на страницах «Черного Передела» немыслима программа, ищущая в народных предрассудках опоры для социально-революционной деятельности, видящая в них фундамент и основу народного освобождения. Чем скорее и полнее совершится разрушение политических идолов народа, тем скорее пробьет час его экономической свободы. Социалистическая агитация всегда должна иметь в виду эту зависимость и не щадить усилий в борьбе с политическими суевериями массы. Только при соблюдении этого условия, созданные в народе революционные организации будут обнаруживать устойчивость и жизненность, растущие вместе с его сознанием и политической опытностью.

Заканчивая теперь нашу статью, мы нелишним считаем сделать

небольшую оговорку. Когда мы говорили об условиях и способах социалистической деятельности в России, мы имели в виду, главным образом, крестьянскую среду. Мы указывали на важность агитации в этой среде, на необходимость сплачивания и организации выдвигаемых ею революционных сил; мы старались формулировать требования, во имя которых может совершиться слияние социалистической интеллигенции с массой земледельческого населения. Но это не значит, чтобы в *целях* наших лежал какой-нибудь особенный, крестьянский социализм. Мы совсем не отрицаем значения революционной работы в наших промышленных центрах. Такое отрицание невозможно для нас уже и потому, что мы не в состоянии определить заранее, из каких слоев трудящегося населения будут вербоваться главные силы социально-революционной армии, когда пробьет час экономической революции в России. В настоящее время промышленное развитие России ничтожно, и понятие «трущиеся массы» почти покрывается понятием «крестьянство». Поэтому, говоря о практической деятельности, мы, главным образом, имеем в виду экономический быт, нужды и требования земледельцев. И если грозе социального переворота суждено предупредить значительные изменения в общественном строе России—главный интерес этого переворота сосредоточится на вопросе аграрном. Но пока мы делаем свое дело, русская промышленность также не стоит на одном месте. Нужда отрывает крестьянина от земли и гонит его на фабрики, на заводы. Рядом с этим, центр тяжести экономических вопросов передвигается по направлению к промышленным центрам.

Распределение наших сил должно сообразоваться с этим органическим процессом. Укрепившись на фабрике и в деревне, мы займем позицию, соответствующую не современному только положению, но всему ходу экономического развития России. Написавши на своем знамени девиз:—«рабочий, бери фабрику, крестьянин—землю», связавши в одно целое революционные организации промышленных и земледельческих рабочих, мы можем предоставить ход экономических изменений в России их естественному течению и не бояться их колебаний в ту или другую сторону.

От редакции [1]).

(По поводу Чигиринского дела).

Помещая на страницах нашего журнала рассказ о Чигиринском деле, мы вовсе не думаем пропагандировать тех средств, какие в нем практиковались.

По нашему мнению, дело это имеет значение, как чрезвычайно важный опыт создания революционой организации среди народа; в этом отношении оно заслуживает особенного внимания русских социалистов и главным образом теперь, когда события грозят увлечь чуть не все революционные силы в борьбу, имеющую очень мало общего с вопросом экономической революции России.

Мы думаем, что этот рассказ должен служить ответом скептикам, сомневающимся в возможности создания революционной организации среди народа и серьезного отношения с его стороны к этой организации.

В течение девяти месяцев существования Чигиринского тайного общества не было ни одного случая доноса или измены какого-нибудь из его членов. Аресты начались только благодаря неопытности, неосторожности,—качествам, свойственным, как известно, не одним только крестьянам. Горячее же участие чигиринцев в деле их освобождения доказывает, что неудачи, испытанные нашими товарищами, работавшими среди народа, зависели больше от них самих, чем от той среды, в которой приходилось им действовать.

Но с Чигиринским делом связано понятие об авторитарном знамени и об агитации во имя идеализированного народом царя.

Должны ли мы стать защитниками подобного рода действий. Не колеблемся ответить на этот вопрос отрицательно; тем более, что сами инициаторы чигиринского дела никогда не имели намерения поддерживать этой веры в царя среди крестьян.

Беспристрастный читатель на основании вышеприведенного рассказа согласится, что все стремления интеллигентных участников этого

---

1) «Черный передел» № 2.

Это заявление было напечатано в польском социалистическом журнале «Rewnosc» после выхода 1-го № «Ч. П.», где помещено начало «Чигир. дела».

дела были направлены к ослаблению авторитарного принципа и к развитию революционной самодеятельности народа. Они старались убедить крестьян, что царь не в состоянии улучшить их несчастную судьбу и что им остается положиться лишь на свои собственные силы.

Тем не менее мы понимаем всю натянутость положения социалиста, делающего народу такие заявления от имени царя.

Мы не можем не указать на необходимость избегать подобных положений и стараться подкопать веру народа в помощь и благосклонность царя.

Какие бы ни были практические результаты Чигиринского дела мы никогда не отступим от убеждения, что уничтожение веры в царя есть одно из необходимых условий народного освобождения.

Если бы хотели говорить об этом подробнее, то должны были бы повторить все, высказанное в статье: «Черный Передел» (в № 1).

Этим заявлением мы надеемся предупредить ложное понимание наших взглядов на задачи революционной деятельности в народе.

Заявление прежних издателей „Черного Передела“ [1]).

Вам известно, дорогие товарищи, обстоятельства, помешавшие кружку «Черного Передела» продолжать издание своего органа в России. Теперь, преодолев встретившиеся на нашем общем пути препятствия, мы решили перенести снова его издание на родину. Мы тем охотнее передаем ведение этого дела в ваши руки, что имели уже возможность убедиться в тождестве ваших взглядов со взглядами, высказанными в 2-х №№ «Ч. П.». В последнем из этих №№ мы заявили уже полную свою солидарность с программой общества «Земля и Воля». В настоящее время, как и полтора года тому назад, мы думаем, что задача «Ч. П.» заключается в определении задач партии в народе, в агитации на почве требований народа, выражаемых лозунгом «Земля и Воля» и во внесении в народный протест идей современного социализма. При этом, предостерегая партию от излишнего увлечения вопросами чисто

---

[1]) «Черный Передел» № 3. март 1881 г.

политического свойства, «Черный Передел», думаем мы, лишился бы значительной доли практического значения, оставаясь вполне безучастным к политическому вопросу, столь жгучему теперь в России. В этой области по нашему мнению, орган должен остаться верным принципу федерализма. Поэтому распадение Российской империи на самостоятельные организмы по естественным ее областям, пусть будет откликом на зов, раздающийся с другой стороны—«Всероссийский земский собор».

Товарищи, мы шлем вам братский привет и, от всей души желая полного успеха всем вашим предприятиям, с своей стороны обещаем вам наше посильное содействие.

Январь 1881 г.

Письмо Плеханова [1]) в редакцию „Черного Передела".

Печатаем ниже письмо одного из основателей «Ч. П.». Приветствуя наше намерение издавать этот орган в России, автор письма высказывает следующие мысли:

«Социализм есть теоретическое выражение, с точки зрения интересов трудящихся масс, антагонизма и борьбы классов в существующем обществе».

«Вытекающая из него практическая задача революционной деятельности заключается в организации рабочего сословия, в указании ему путей и способов его освобождения».

«Исполнение этой задачи невозможно помимо деятельности не только для народа, но и в среде его».

«Вне организации сил, вне возбуждения сознания и самодеятельности народа, самая геройская революционная борьба принесет пользу только высшим классам, т.-е. именно тому слою современного общества, против которого мы должны вооружать трудящиеся обездоленные массы».

«Освобождение народа должно быть делом самого народа».

«Мы понимаем всю важность переживаемого нашим отечеством политического и экономического кризиса и не мы будем ополчаться на защиту отжившего самодержавия. Но вопреки мнению «Народной Воли», мы думаем, что не один только «современный государственный строй служит главным препятствием к экономическому и политическому

---

[1]) «Черный Передел» № 3.

освобождению народа» и низвержение абсолютизма не устранит еще важнейших причин его порабощения».

«Чтобы достигнуть своего освобождения, народ должен представлять собою сознательно организованную силу, способную дать отпор эксплоататорам всех исторических формаций, всех фазисов развития страны. Иначе, на место представителей абсолютной монархии явятся представители конституционного режима, выразители экономических интересов буржуазии. Борьба с ними будет так же неизбежна для народа, как неизбежны были протесты его против гнета абсолютизма. И чем разрозненнее будут его силы, чем менее он будет подготовлен к пониманию социальных отношений в буржуазном обществе, тем труднее будет борьба его против новых своих господ, тем долее отсрочена будет его победа».

«Современное положение России как нельзя более соответствует всему вышесказанному».

«Абсолютизм, разбитый и дряхлый, как его коронованный представитель, понимает всю непрочность своего положения и, растерянно озираясь, он ищет поддержки».

«Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, какою ценою и где найдет он эту поддержку. Выросшая под его покровительством, вскормленная его заботами, наша буржуазия начинает уже расправлять свои крылья. Она чувствует свою силу, понимает свое значение, и, вчерашняя раба, она подсказывает сегодня программу «мирного развития», а на завтра готовится взять в свои руки все управление государством».

«Не политической агитацией в так называемом «обществе» можно, если не отвратить, то сократить ее господство. Общество—не народ. В огромном большинстве своих представителей—оно эксплоататор народа, верхний европеизированный слой той самой буржуазии, против которой мы должны бороться. Приблизить час ее падения могут только успехи социально-революционной пропаганды, агитации и организации в народе».

«Поэтому задача «Ч. П.» может считаться оконченною лишь тогда, когда вся русская социалистическая партия признает главною целью своих усилий создание социально-революционной организации в народной среде, при чем требование политической свободы войдет, как составная часть в общую сумму ближайших требований, пред'являемых этой организацией правительству и высшим классам. Другую часть этих требований составят насущные экономические реформы, вроде изменения податной системы, введения правительственной инспекции на

фабриках, сокращения рабочего дня, ограничения женского и детского труда и т. д., и т. д.»...

«Исходя одинаково из народной среды, эти два рода требований будут находиться в неразрывной связи, и связь их послужит ручательством того, что предстоящий политический переворот совершится в интересах не одних только высших классов».

«При общем признании такой постановки вопроса, существующее ныне разделение между русскими социалистами лишается своего основания, и «Ч. П.», как орган одной из фракций, уступит место органу слившейся в одно целое социалистической партии».

Январь 1881 г.

Об издании Русской Социально-Революционной Библиотеки.

В течение последних лет всё более и более ощущалась потребность в пополнении существующей на русском языке социалистической литературы. Мы имели, правда, за это время несколько периодических социально-революционных изданий, но они не могли пополнить наших литературных пробелов.

Эти издания не имели и не могли иметь в виду теоретических вопросов социализма. Дело в том, что ко времени их возникновения, т.-е. к концу 1877 и началу 1878 г.г.—наша социалистическая партия имела уже за собою опыт предшествовавших лет борьбы. На основании этого опыта подвергались критике старые способы действия, вырабатывались новые программы, проектировались новые практические приемы. А между тем, с прекращением заграничных социалистических изданий, единственным средством обмена мыслей по всем этим, не терпящим отлагательства, вопросам, оставались единичные встречи тех или других лиц, или так называемые «сходки» социалистов. При многолюдности среды, в которой поднимались эти вопросы, при постоянно-возраставшей бдительности полиции и отсутствии системы в возникавших на сходках прениях, ни тот, ни другой из названных способов не могли удовлетворить нуждам партии.

Жизнь настойчиво требовала расширения социалистической аудитории. Начиналось горячее, тревожное время. Завязывалась борьба, ребром поставившая многие, до тех пор неясно формулированные, вопросы. Выстрел Веры Засулич, ее оправдание присяжными; демонстрация перед зданием суда; демонстрация по поводу убийства Сидорацкого; стачка рабочих на Новой Бумагопрядильне и другие факты, столь же значительной революционной важности, популяризировали имя партии, обращали на нее внимание даже тех, кто до той поры вовсе не знал о ее существовании или об'яснял все интригами внешних врагов. Пульс революционера забился сильнее, чем когда бы то ни было. В вихре событий, следовавших одно за другим с небывалой быстротой,

чувствовалась необходимость столковаться, выработать общий план действий, обеспечить себе возможность говорить сразу нескольким тысячам человек. Тогда участились прокламации Петербургской Вольной типографии, появились номера социалистических газет. С тех пор, каждый деятельный и обладавший средствами кружок должен был включить издание органа в число своих необходимых функций.

Но то же самое положение дел, которое вызвало к жизни наши периодические издания, не позволяло им отвести много места теоретическим вопросам. Занимаясь обсуждением условий и шансов практической борьбы, они, естественно, носили на себе по преимуществу агитационный характер. Поставленная им самой жизнью задача заключалась в том, чтобы, при данных силах социально-революционной партии в России и при данном сопротивлении со стороны правительственной организации, найти способы действий, которые сделали бы наиболее производительными наши неизбежные затраты. Необходимость и неизбежность социальной революции в современных европейских обществах, теоретические положения социализма служили первыми посылками при решении этой задачи и считались как бы не требующими доказательств и более детальной разработки. Их общею догматической формулировкою начиналась большая часть руководящих статей. И это не удивительно. Наши «подпольные» издания имели в виду определенный круг читателей, с которыми им не было нужды условливаться на счет своих исходных пунктов. Такими читателями были убежденные социалисты. Но если окончательно сложившийся социалист, во всем, что касалось оценки его практической деятельности, и не нуждался в иных способах аргументации, то не нужно забывать, что никакое новое учение, никакая новая партия не могут безнаказанно игнорировать теоретических вопросов. В России эта истина имеет бóльшее, чем где бы то ни было, значение. До невероятности напряженная борьба с правительством не позволяет социалисту-революционеру спокойно заниматься пополнением пробелов в его образовании. У него нет для этого ни времени, ни подходящих условий. Попавши с самых молодых лет под огонь полицейских преследований, он часто не имеет даже комнаты, которую он мог бы назвать своею. Целые месяцы, а иногда и годы, он не имеет определенного местожительства. Он ведет скитальческий образ жизни и, вставши утром, не всегда знает, где найдет приют на следующую ночь. При таких условиях умственные занятия, если не совершенно невозможны, то крайне затруднены. Заинтересованный тем или другим историческим вопросом, тем или другим общим положением социализма, он не мо-

жет читать многотомных исследований, не может искать в легальной литературе необходимых для него фактических данных. Да и много ли даст эта литература, в стране, где даже «Курс позитивной философии» Конта считается запрещенным сочинением? А между тем, не только умственные привычки и потребности, но и практическая польза могут требовать от социалиста увеличения его умственного багажа. Успешность пропаганды в среде интеллигенции или городских рабочих и не только социалистической теории, но и практических способов действия, находится иногда в прямой пропорциональности с разносторонностью образования пропагандиста.

Социалистическая литература одна могла притти в этом случае на помощь практическим деятелям. Не задаваясь фантастически-широкими целями, она должна была представить систематическое и обстоятельное изложение социалистической доктрины, историю и связь этой последней с различными сторонами современной ей общественной жизни, обработать, с социалистической точки зрения, хотя бы важнейшие эпохи исторической жизни человечества. В своем изложении, отдельные книги и брошюры, с большим удобством, чем периодические издания, могли бы приспособляться к различным фазисам умственного развития читателей, к различным степеням выработанности их миросозерцания. Это было бы одним из незаменимых их преимуществ, так как рядом с убежденными социалистами, в числе читателей наших изданий, находились люди, еще не успевшие подвести итога своим теоретическим сведениям и своему жизненному опыту. Они не удовлетворялись уже тою спутанностью понятий, тем слабым намеком на определенность воззрений, которыми, волей или неволей, довольствуется наша многострадальная легальная литература, но они не перешли еще на другую сторону пропасти, отделяющей цензурное миросозерцание русского обывателя от миросозерцания социалиста. Эта пропасть так велика, что только очень немногие могли перескочить ее без посторонней помощи; лишь очень счастливая комбинация обстоятельств давала возможность самостоятельной выработки социалистических воззрений. Понятно, что насущная необходимость не только пополнять наши потери, но и постоянно увеличивать численность рядов социалистической партии, не соответствовала медленности и случайности такой выработки личностей. Нужно было ускорить этот переход из неопределенной оппозиции в ряды революционного социализма, надо было построить мост, по которому без труда и риска обессилеть в дороге могли бы перейти к нам эти люди, ищущие теоретической истины и

житейской правды. Нужно было популяризировать, разрабатывать в деталях, освещать с различных точек зрения те общие посылки, которые служили исходною точкой в изданиях, трактующих о способах практической борьбы.

Мы до сих пор не исполнили этой обязанности или, если угодно, исполнили ее в весьма несовершенной степени.

На столе вещественных доказательств фигурируют, правда, во многих процессах, сочинения Бакунина, издания редакций «Вперед!» и «Работника». Некоторые из них носят на себе печать недюжинного таланта и разносторонней эрудиции. Их изложение разнообразится от отвлеченной беседы с европейски-образованным читателем до сказки, понятной и десятилетнему ребенку. Но, не говоря уже о том, что эти издания становятся все реже и реже, что трудность удовлетворения спроса на них возрастает с каждым годом, составленная из них библиотека все-таки не отличалась бы достаточной полнотой. Сочинения эти выходили в свет независимо одно от другого. Общего плана издания возможно более полной и разносторонней серии социалистических сочинений в то время не существовало. Эта неполнота и бессистемность сделала то, что русская социалистическая литература, с самых первых времен своего возникновения, не могла совершенно удовлетворить требовательности читателей из среды так называемой интеллигенции. В течение же последних лет мы вовсе не обращали внимания на теоретическую литературу, несмотря на то, что в начале 80-х г.г. читатель может быть в этом отношении требовательнее, чем был он десять лет тому назад. Если условия русской действительности требовали сосредоточения нашего внимания на поприще практической борьбы, то теоретическая работа шла своим обычным путем в среде западно-европейских социалистических партий. Литература последних обогащалась новыми приобретениями. Практическая жизнь также не стояла на одном месте, и во второй половине последнего десятилетия совершились события, заслуживающие полного внимания социалистов всех стран и народов. Таковы—волнения рабочих в Америке, ирландская аграрная агитация, конгрессы французских рабочих и т. п. Русский читатель узнает о них лишь по корреспонденциям цензурных газет, так как, заваленные материалами, наши периодические издания только изредка могли бросить беглый взгляд на общественные движения Запада.

Нам кажется, что настала пора серьезно задуматься об исправлении указанных недостатков. Чем ожесточеннее становится наша борьба с правительством, чем чаще сыплются на нас его удары, чем более

усложняются условия, в которых нам приходится жить и действовать, тем крепче мы должны сжимать в своих руках спасительную нить наших руководящих принципов, тем чаще мы должны обращать на нее внимание всех окружающих, чтобы и они могли видеть и осязать ее во всей ее реальности. В лабиринте непредвиденных политических событий она предохранит нас от неразумных компромиссов и не позволит нам уподобиться библейскому Исаву, продавшему свое первенство за чечевичную похлебку. В потоке грязи и лжи, который выливают на нас наши противники, она поможет беспристрастному свидетелю отличить правого от виноватого, понять стремления социализма.

Так понимаем мы значение социалистической литературы для пропаганды наших идей в среде интеллигенции. Народная литература заслуживает не меньшего внимания со стороны русских социалистов.

Наши издания для народа состоят, главным образом, из более или менее талантливо написанных тенденциозных рассказов. Сказка составляет преобладающий элемент в этой литературе [1]). Характеристическою чертою последней является единообразие того среднего типа читателей, к пониманию которого приспособляется язык и способ аргументации авторов. Читая наши народные издания, можно подумать, что среда, для которой они предназначаются, не представляет резких различий по умственному развитию, общественно-экономическому положению и наиболее жизненным интересам ее отдельных составных частей. Можно подумать, что приемы и способы социалистической пропаганды остаются единообразными и неизменными как в ватаге рыбаков на Волге, так и между рабочими больших городов, в станице казачьего войска и в мастерской мелкого ремесленника уездной глуши.— Даже более. До появления «Паровой машины» на малорусском языке, мы не имели ни одной книжки, которая доказывала бы, что мы помним о разноплеменном составе Российской империи. Предназначая свои народные издания для всего трудящегося люда, от одного конца России до другого, мы не приняли во внимание того обстоятельства, что русское государство состоит из различных народностей, вполне сохранивших, в низших слоях населения, свою национальную самобытность и свой язык. «Сказку о четырех братьях» могли понимать только великоруссы; Емелька Пугачев считался годным для оживления революционной традиции, как в Поволжье, так и в Малороссии, воспевающей своих

---

[1]) Просим иметь в виду, что все сказанное нами по поводу социалистической литературы на «русском» языке—относится, собственно, к великорусской литературе.

народных героев, имевшей свои массовые движения. Как известно, проповедники христианства были в этом отношении практичнее, чем мы, ибо апостолы своевременно позаботились о сошествии Святого Духа и о получении дара говорить на всех языках.—Практика не могла, разумеется, выиграть от такого рода приемов. Ставя солидарность интересов всего трудящегося мира как идеал, нельзя считать понятие о ней присущим миросозерцанию народа; помимо воздействия социалистов, нельзя считать ее исходным пунктом революционной пропаганды. Задача последней заключается не в том, чтобы предложить народу эту солидарность, как готовый абстрактный вывод, как догмат откровения, а в том, чтобы сделать самый процесс обобщения интересов трудящихся единиц понятным и доступным уму крестьянина, рабочего или казака. Перед их глазами, применяя способ наглядного обучения, нужно разложить формулу солидарности на ее составные части, которые содержит в себе обыденная жизнь. В этом заключается смысл и значение так называемой пропаганды или агитации на почве местных интересов. Но для их успехов социалистическая литература не должна игнорировать местные, национальные, исторические или экономические особенности, а, напротив, совершенно приспособить к ним свою деятельность и, уже исходя из всем понятных, местных интересов, стараться сглаживать шероховатости, примирять существующий между различными народностями или группами трудящихся антагонизм.

Возьмем хоть Казацкое Донское Войско. Как крестьянину, так и казаку прежде всего бросается в глаза экономическая и правовая разница их положения. Отсюда—антагонизм, заставляющий крестьянина с завистью посматривать на огромный, сравнительно, надел донца, а этого последнего презирать «мужика».—Наши народные революционные издания имеют в виду, как мы уже говорили, средний тип читателя. Этим типом служит крестьянин. Спрашивается, полагают ли русские социалисты совершенно оставить в покое казачество и, если нет, то какой успех будет иметь в казачестве революционная брошюра, трактующая о нуждах мужика, написанная крестьянским языком?—Факты показывают, что даже эти брошюры встречают там хороший прием, и они делают свое дело, если сопровождаются дельными комментариями. Но если почва для социалистического воздействия там хороша, то это тем более заставляет жалеть о полном отсутствии специально к ней приспособленных орудий ее возделывания. Действительно, мы не имеем ни одной книжки, ни одной прокламации, которая пыталась бы раз'яснить казачеству его истинное отношение к государству, указать на вы-

ход из этого положения, на необходимость солидарности с презираемым на Дону мужиком. То же, разумеется, нужно сказать и о войске уральском и черноморском.

Если от казачества перейти к городским рабочим, то картина, представляемая нашею революционною литературою, не станет утешительнее. Можно сказать без преувеличения, что слой заводских рабочих совершенно лишен всяких подходящих для него социалистических изданий. Прежде всего, это—в большинстве случаев—городские мещане. И хотя их контингент и пополняется, частью, крестьянами, но эти последние, попавши в экономические условия, совершенно отличные от деревенских, скоро свыкаются с своим положением и приобретают все привычки постоянного жителя больших городов. Заводский рабочий, конечно, не перестает интересоваться земельным вопросом, но уже с точки зрения чисто-отрицательной. Не занимаясь более земледелием, и как знающий ремесло человек, не видящий выгоды в возврате к нему, он мечтает лишь о том, чтобы отделаться от лежащих на его наделе податей, которые часто превышают доходность земли. Центр тяжести его интересов заключается в вопросе о заработной плате, цене на квартиры и предметы первой необходимости или даже комфорта. Процесс капиталистического производства захватил его в свой механизм и наложил свой отпечаток на все его интересы, привычки и миросозерцание. Относительная высота его заработной платы дает ему возможность занимать комнату, а не угол [1]), жить и питаться до некоторой степени по-человечески, возвышает его потребности, и, в то же время, над его головой постоянно висит Дамоклов меч безработицы и полного, беспомощного нищенства. Неопределенность его положения делает его подвижным, восприимчивым и недовольным. Он не презирает более немецкого платья,—он щеголяет им в праздник и тратит на него значительную часть заработка. Он чуждается деревенских оборотов речи и уснащает свои фразы иностранными словами; он хочет казаться образованным. Впрочем, выражение «*казаться*» было бы не совсем правильным. Жизнь в больших центрах разрушает в нем то равновесие, которое характеризует миросозерцание земледельца экономически-отсталой страны, и делает из него скептика, превращает ум его в tabula rasa, на которой жизнь постепенно очерчивает новый, более широкий кругозор. Эта умственная переборка вызывает действитель-

---

[1]) Все, что мы говорим здесь о заводских рабочих, не относится к так называемым чернорабочим, живущим нисколько не лучше крестьянина.

ное желание знать и учиться. Заводские рабочие следят за газетами, на столе более развитых из них появляются книги. Много ли даст им при таких условиях какая-нибудь *«Сказка о копейке»*?

Аграрный вопрос представляет мало интереса для заводского рабочего. Самый способ аргументации и изложения наших народных изданий не соответствует степени его умственного развития. Возбудивши работу мысли в мозгу рабочего, вызвавши множество сомнений и недоразумений, они не дают и не могут дать на них ответа. Ему остается или искать разрешения интересующих его вопросов в беседе с пропагандистом, или приняться за чтение цензурных книг. Ни то, ни другое не в состоянии вознаградить рабочего за недостаток, доступной для его понимания, социалистической литературы. В стране, где сыщик может применить к себе слова писания: «Иде-же бо еста два или трие—ту есмь посреде их»—большие собрания очень затруднены, а частный, единичный обмен мыслей поневоле отличается отрывочностью и отсутствием системы. И чем больше будет возрастать число новообращенных, тем труднее будет социалистам заменять живою речью недостаток печатного слова. Наконец, нужно принять во внимание и то обстоятельство, что работа предшествовавших лет создала в рабочей среде известный контингент социалистов, контингент, который своими размерами перерос возможность личного воздействия наиболее развитых единиц. Что же касается до легальной литературы, то ее служение делу проповеди социализма может быть только косвенным. Она может дать материал, представить факты, исследования, которые, при правильной критике, послужат уяснению социалистических задач; но дело подобного рода критики—не ее дело. Большинство ее представителей или враждебно, или индифферентно по отношению к социализму. Наконец, существующие цензурные условия запрещают «вредные учения социализма и коммунизма». Ко всему этому нужно прибавить, что рабочий имеет слишком мало времени, чтобы в куче печатного хлама найти глубоко зарытое зерно истины, чтобы разносторонним и систематическим чтением выработать в себе способность ориентироваться среди недомолвок, иносказаний, а подчас и лицемерия легальной литературы. Ее об'емистые томы предназначены не для тех, кто работает не менее 10 часов в сутки.

При отсутствии социалистической литературы, результаты чтения рабочими легальных изданий далеко не утешительны. Французская революция умещается рядом с Екатерининским Наказом, Парижская коммуна—с фабричным законодательством в Англии, сочинения Чернышев-

ского—рядом с конституционными вожделениями либеральных газет и журналов. В конце концов, для рабочего ясно только то, что он пария в современном обществе, что он недоволен своим положением и готов взяться за оружие для его изменения к лучшему. В чем заключается это лучшее, какими путями можно к нему подойти? Это так же темно и неопределенно для него, как и для того французского рабочего, который, придя в 1848 г. к Луи-Блану делегатом от своих товарищей, требовал декрета «об организации труда» и на вопрос, в чем должен состоять декрет, повторял только эти два слова. События, последовавшие во Франции после 1848 г., показали, кто остается в выигрыше от подобного положения дел.

Бессистемностью своей пропаганды мы готовим поле для интриг политических партий, которые выйдут же когда-нибудь из своего современного бессилия. Но тогда поправлять дело будет, пожалуй, уж поздно. Мы не говорим, конечно, об отдельных личностях. Счастливая комбинация условий дала некоторым из рабочих возможность приобрести солидное образование. Мы знаем таких лиц, но знаем также, что именно они-то и согласятся скорее всего со сказанным нами. В этих строках мы повторяем лишь то, что не один раз слышали от них самих. История их умственного развития есть история труда, на который способен только недюжинный ум. Из того, что западно-европейская рабочая среда выдвинула Бебелей, Мостов, Малонов и Варленов, нельзя еще заключать, что она не нуждается, так сказать, в социалистических букварях. Наши западно-европейские братья отлично знают цену печатного слова. Не говоря уже о Германии, которая является классической страной популярной социалистической литературы, можно указать на целую серию итальянских народных брошюр. В них трактуется *о государстве, о машинах и социализме, о коллективизме и социализме, о распределении* и т. д. и т. д. Французы сделали в этом отношении меньше других, но у них этот недостаток пополняется отчасти существованием рабочего органа («Prolétaire»), рабочими конгрессами и собраниями. Мы не должны пренебрегать этим примером. Нам могут сказать, конечно, что заводские рабочие, о которых мы говорили на предыдущих страницах, составляют лишь меньшинство, что большинство фабричных мало чем отличается от крестьян и, делая из своего фабричного труда род отхожего промысла, интересуется более вопросом о земле, чем вопросом о фабрике. Это верно лишь постольку, поскольку оно не говорит против необходимости социалистической литературы для фабричных. Труд на фабрике для многих из них, действительно, отхожий про-

мысел. Но на этом промысле зиждется часто всё благосостояние семьи. Фабричный рабочий идет из той полосы России, где земля не окупает лежащих на ней платежей. Заработная плата составляет самую значительную часть в бюджете такого полупромышленного, полуземледельческого рабочего. Ее колебания отражаются на нем самым тяжелым образом и, волей-неволей, вызывают его на борьбу с капиталом. Можно ли сказать, что в этой борьбе ему не нужна помощь социалиста? А если да, то в чем должна состоять эта помощь, как не в уяснении целей и способов этой борьбы, в раз'яснении истинных отношений труда к капиталу. Крупные стачки петербургских ткачей и прядильщиков показали, какую важность имеет существование рабочих организаций в промышленных центрах. Те же самые стачки показали, что влияние тайных организаций рабочих-социалистов находится в прямой зависимости от ясности понимания ими современных общественных отношений и задач экономической революции. Впрочем, это понятно и à priori. Пополнение социалистической литературы является одной из насущнейших задач современного рабочего движения в России. Это одна из серьезнейших услуг, какую только может оказать ему наша социалистическая интеллигенция, к которой нужно причислить и часть городских рабочих.

Точно также, едва ли кто станет отрицать значение социалистических изданий для крестьян. Мы далеки от того, чтобы предлагать распространение книг, как единственный способ социалистической деятельности в народе. Мы знаем, что есть другие приемы, которые не утратят своей важности никогда, а при существующих политических условиях в России тем более выдвигаются на вид. Но как бы мало ни придавал значения распространению книг живущий в народе социалист, как бы ни считал он ограниченной сферу их возможного распространения, он все-таки должен согласиться, что они могут оказать ему весьма серьезные услуги. Прежде всего, он никогда не может обойтись без союзников из среды самого народа. Как местные люди, такие союзники должны служить связующим звеном между социалистической организацией и массой народа. При более близком знакомстве они могут и должны быть приняты в организацию. Тогда явится необходимость посвятить их в ее цели и задачи, и здесь-то начинается роль книжной пропаганды. Степень устойчивости и влиятельности организации и здесь, как в среде городских рабочих или в интеллигенции, прямо пропорциональна сознательности отношения ее членов к окружающей их действительности и средствам достижения лучшего будущего. В этом

отношении, описание современного положения крестьянства, его наделов и лежащих на них платежей, количественное отношение мелкого и крупного землевладения в России, история крестьянского сословия, наконец, цели и стремления социально-революционной партии,—всё это могло бы быть весьма благодарною темою для наших народных изданий.

Подводя итог всему сказанному, мы увидим, что каждая из существующих отраслей социалистической литературы требует весьма значительного пополнения. Кроме того, в виду разницы экономического положения и привычек различных классов трудящегося населения России, наша народная литература должна, так сказать, дифференцироваться на несколько различных отраслей: издания для городских рабочих, казачества и крестьянства.

Сделать это тем более можно и должно, что та же самая борьба, которая ставит нам эту задачу, дает косвенные средства для ее разрешения. Известный процент русских социалистов постоянно должен искать убежища на чужбине. Личный состав нашей эмиграции, правда, постоянно меняется. Но и тех нескольких месяцев, которые приходится провести каждой отдельной личности за границей, достаточно, чтобы, так или иначе, способствовать делу пополнения социалистической литературы для интеллигенции, крестьян и рабочих. Кроме того, есть люди, возврат которых в Россию будет невозможен еще очень долгое время. Их обязанность заключается в том, чтобы досуг, остающийся от ежедневной борьбы за существование, посвятить делу социальной революции на родине; обязанность хорошо организованной партии состоит в утилизации их сил.

Мы предлагаем социалистам всех фракций и оттенков, выражаются ли их взгляды изданиями «Вперед!», «Работника» или «Общины», «Земли и Воли», «Начала», «Народной Воли», «Черного Передела» или «Громады»—соединиться для дела, несомненно полезного им всем.

Это дело—издание книг и брошюр, разрабатывающих теоретически вопросы, относящиеся к социализму. Весь ряд будет носить общее название *Русской Социально-революционной Библиотеки.*

Издания Русской Социально-революционной Библиотеки предназначаются:

1) *Для интеллигенции,* т.-е. для читателей, подготовленных к чтению серьезных трудов и располагающих необходимым для этого досугом.

2) *Для народа,* т.-е. для читателей, по недостатку времени или под-

готовки не могущих воспользоваться трудами первой категории. Сюда войдут популярные брошюры для рабочих, крестьян, казачества и т. д. Народные издания Русской Социально-революционной Библиотеки по языку и способу изложения будут применяться к важнейшим экономическим и этнографическим особенностям различных местностей России.

Более или менее полное достижение поставленной таким образом задачи зависит от той поддержки, какую окажут нашему предприятию различные социально-революционные кружки в России.

Для покрытия издержек издания образуется *фонд* Русской Социально-революционной Библиотеки.

Дела издания Русской Социально-революционной Библиотеки находятся в заведывании *Редакционной Комиссии,* состоящей из трех лиц и *кассира.*

Способы избрания комиссии и кассира и их функции будут установлены на первом собрании всех лиц, согласных содействовать изданию. Оно должно быть созвано через полгода по выходе первой книжки Русской Социально-революционной Библиотеки.

В настоящее время избрана по большинству голосов лицами, согласившимися участвовать своими трудами в издании, *временная Редакционная Комиссия* и ею избран кассир.

Дело временной редакционной комиссии ограничивается установлением порядка в издании предлагаемых ей трудов, соображаясь со временем их доставки и со средствами кассы. Комиссия имеет право устранять лишь труды, прямо отрицающие основные начала рабочего социализма, и те, которые явно лишены всякого литературного достоинства. Если она найдет, что присланные рукописи нуждаются в дополнениях или изменениях, то входит по этому вопросу в сношения с авторами, но не может без согласия последних делать какие-либо изменения в рукописях и, в крайнем случае, может внести в издание некоторые примечания. Если бы автор дозволил себе личные оскорбительные выражения относительно других членов социалистической партии, выражения, которые комиссия нашла бы неприличными и противоречащими самой цели издания, именно, соединению всех фракций русского социализма в серьезной обработке общих вопросов для общих целей, то комиссия созовет общее собрание, которому и предложит решить вопрос.

На обязанности *кассира* лежит ведение всех дел по кассе фонда, и на его имя должна быть адресована вся переписка. Он же выдает рас-

писки о получении денег в кассу или рукописей для редакционной комиссии.

Первое собрание всех русских социалистов, согласных участвовать трудами или взносами в издании, окончательно установит все подробности ведения дела, при чем лица, не находящиеся на месте, передают свой голос другим.

Во временную Редакционную комиссию избраны следующие лица: *Л. Н. Гартман, П. Л. Лавров и Н. А. Морозов.*

1880 г.

Предисловие к русскому изданию „Манифеста Коммунистическ. Партии“ [1]).

Имена Карла Маркса и Фридриха Энгельса пользуются у нас такою громкою и почетною известностью, что говорить о научных достоинствах «Манифеста Коммунистической Партии» значит повторять всем известную истину. Вместе с другими сочинениями его авторов «Манифест» начал новую эпоху в истории социалистической и экономической литературы—эпоху беспощадной критики современных отношений труда к капиталу и, чуждого всяких утопий, научного обоснования социализма. Едва ли нужно, поэтому, об'яснять мотивы, побудившие «Русскую Социально-революционную Библиотеку» издать «Манифест» на русском языке. Достаточно сказать, что вышедший в шестидесятых годах русский перевод его представляет собою теперь библиографическую редкость в полном смысле этого слова. Кроме того, в перевод этот закралось, как нам кажется, несколько неточностей, мешавших правильному пониманию мыслей авторов. Мы решились сделать новый перевод этого великого, хотя и не об'емистого произведения, которое разошлось в огромном количестве экземпляров во всех цивилизованных странах, и несомненно получило бы еще большее распространение, если бы образованные представители господствующих классов продолжали интересоваться наукой даже в том случае, когда выводы ее противоречат их интересам и предрассудкам.

Нам казалось, что издание русского перевода «Манифеста Коммунистической Партии» не только полезно, но и необходимо теперь, когда русское социалистическое движение окончательно уже выступило на путь открытой борьбы с абсолютизмом, и вопрос о значении и задачах политической деятельности нашей партии становится жгучим практическим вопросом. Взаимная зависимость и связь политических и экономических интересов трудящихся указаны в «Манифесте» с полною ясностью. Авторы его сочувствуют «всякому революционному движению

[1]) «Манифест Коммунистической партии», изд. 1882 г.

против существующих общественных и политических отношений». Но, отстаивая ближайшие, непосредственные цели всякого революционного движения, они в то же время не упускают из виду его «будущности». Поэтому «Манифест» может предостеречь русских социалистов от двух одинаково печальных крайностей: отрицательного отношения к политической деятельности, с одной стороны, и забвения будущих интересов партии—с другой. Люди, склонные к первой из упомянутых крайностей, убедятся в том, что «всякая классовая борьба есть борьба политическая», и что отказываться от активной борьбы с современным русским абсолютизмом значит, косвенным образом, его поддерживать. С другой стороны, «Манифест» показывает, что успех борьбы каждого класса вообще, а рабочего в особенности, зависит от об'единения этого класса и ясного сознания им своих экономических интересов. От организации рабочего класса и непрестанного выяснения ему враждебной противоположности его интересов с интересами господствующих классов зависит будущность нашего движения, которую, разумеется, невозможно приносить в жертву интересам данной минуты.

Основания этой организации рабочего класса могут быть заложены уже в настоящее время. Русское социалистическое движение не ограничивается уже пределами того слоя, который принято называть учащеюся молодежью, мыслящим пролетариатом и т. п. Рабочие наших промышленных центров, в свою очередь, начинают «мыслить и стремиться к своему освобождению». Несмотря на все преследования правительства, тайные социалистические организации рабочих не только не разрушаются, но принимают всё более широкие размеры. Вместе с этим расширяется социалистическая пропаганда, растет спрос на популярные брошюры, излагающие основные положения социализма. Было бы очень желательно, чтобы имеющая возникнуть русская рабочая литература поставила себе задачей популяризацию учений Маркса и Энгельса, минуя окольные пути более или менее искаженного прудонизма.

Правда, у нас до сих пор еще довольно сильно распространено убеждение в том, что задачи русских социалистов существенно отличаются от задач их западно-европейских товарищей. Но не говоря уже о том, что окончательная цель должна быть одинакова для социалистов всех стран, рациональное отношение наших социалистов к особенностям русского экономического строя возможно лишь при правильном понимании западно-европейского общественного развития. Сочинения же Маркса и Энгельса представляют собой незаменимый источник для изучения общественных отношений Запада.

Скажем теперь несколько слов о «приложениях», помещенных нами в конце книги. В своем предисловии к немецкому изданию 1872 г. авторы «Манифеста» указывают на опыт Парижской Коммуны, «показавшей, что рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной и воспользоваться ею для своих собственных целей». При этом они ссылаются на брошюру «Гражданская война во Франции», в которой вопрос о развитии и значении современной государственной власти рассматривается подробнее. Ввиду того, что русское издание этой брошюры теперь уже совершенно разошлось, мы решили приложить к «Манифесту» перевод указанного авторами места из «Гражданской войны во Франции». Что касается Устава Международного Товарищества Рабочих, то мы считали его интересным дополнением к «Манифесту» потому, что это знаменитое Товарищество представляет собою в высшей степени плодотворный опыт международной организации рабочего класса на началах, впервые развитых в «Манифесте Коммунистической Партии». Несмотря на непродолжительность своего существования, Международное Товарищество Рабочих сделало свое дело, скрепивши «братскими узами солидарности» социалистические партии всего мира.

Воспоминание об А. Д. Михайлове [1]).

Я познакомился с А. Д. Михайловым осенью 1875 года, когда он, окончивши гимназический курс, поступил в Технологический институт в Петербурге. Знакомство наше состоялось на одной из многочисленных тогда студенческих сходок, на которых обсуждались занимавшие молодые умы вопросы о «знании и революции», «хождении в народ», пропаганде, агитации и т. п. Сходка, о которой я говорю, состоялась где-то около Технологического института в довольно просторной и высокой комнате, битком набитой студентами разных учебных заведений. Проспоривши часа два подряд, мы все почувствовали нестерпимую духоту и решили отворить форточку. Тогда наступил род перерыва, и прения приняли частный характер; собрание разбилось на небольшие группы, в которых продолжалось обсуждение различных спорных пунктов. Мы горячились и кричали, не обращая внимания на то, что, благодаря открытой форточке, собрание наше могло обратить на себя внимание дворников и полиции. Вдруг все голоса были покрыты чьим-то громким напоминанием об осторожности. Обернувшись в сторону говорившего, мы увидели довольно высокого, белокурого господина в красной шерстяной рубашке и высоких сапогах.

— Вы лучше помолчите, господа, пока форточка открыта,—продолжал белокурый господин, не проронивший до тех пор ни одного слова и потому не обративший на себя ничьего внимания.

Не знаю почему, все мы расхохотались над этим предостережением, но не отказались, однако, последовать благому совету. У многих явилось желание познакомиться с осторожным господином, одетым настоящим «нигилистом». Около него образовалась кучка, посыпались вопросы: где учитесь, как ваша фамилия и т. д. «Михайлов, студент Технологического института, первокурсник»,—обстоятельно пояснял, с легким заиканием, белокурый господин, не обращаясь ни к кому в частности. Я был в числе вопрошавших и, узнавши, что Михайлов—техно-

[1]) «На Родине» № 3.

лог, спросил его о новых правилах, только что введенных Вышнеградским и вызывавших всеобщее неудовольствие студентов.

— Говорят, что не сегодня-завтра студенты откажутся ходить на репетиции, и начнутся «беспорядки».

— Студенты очень возбуждены, и беспорядки весьма возможны, но я не приму в них ни малейшего участия,—отвечал мой новый знакомый.

Это откровенное заявление ужасно удивило меня, так как отказ поддерживать товарищей в их справедливых требованиях считался несомненным признаком трусости.

— Видите ли, в чем дело,—невозмутимо продолжал Михайлов,—они хотят сообща отказаться от репетиций, потому что каждый из них боится сделать это в одиночку. Я давно уже переступил этот Рубикон: с самого поступления в институт я не был ни на одной репетиции, так как считаю их совершенно бесполезными. Если бы и другие поступали как я, то новые правила были бы устранены фактически, и тогда не было бы надобности в «беспорядках» и неизбежных за тем высылках.

— Но ведь те, которые не являются на репетиции, получают нуль, а за несколько нулей студент не допускается к экзамену.

— А пусть себе ставят нули, ведь нельзя же оставить на второй год всех студентов всех курсов.

— Но пока вы один, с вами это, наверное, случится.

— Это уже их дело, а я все-таки не пойду на репетиции, потому что это пустая трата времени.

На этом и прекратился мой разговор с Михайловым. Вскоре после нашей первой с ним встречи, действительно, начались «беспорядки» в Технологическом институте, а за ними последовали административные «водворения на родину». Михайлов был выслан одним из первых, хотя он сдержал слово и не принимал ни малейшего участия в «беспорядках» Его выслали как упрямого протестанта против новых порядков, доказавшего свою «злую волю» непосещением репетиций еще в то время, когда другие студенты являлись на них самым исправным образом. Его водворили, кажется, в Путивле, откуда он скоро перебрался в Киев.

В шумном водовороте петербургской студенческой жизни я скоро совсем забыл о Михайлове, не подозревая, что мне еще придется жить и действовать с ним вместе. Поэтому я таки порядком удивился, когда, в октябре 1876 года, столкнулся с ним на империяле конно-железной дороги. После первых приветствий, он рассказал мне свою Одиссею и прибавил, что, получивши разрешение вернуться в Петербург, он приехал с целью поступить в Горный институт или какое-нибудь другое

высшее учебное заведение. В минуту нашей внезапной встречи он ехал на Садовую, чтобы осведомиться насчет правил приема в Институт Инженеров Путей Сообщения. Как человек практичный, он решил держать экзамены в двух учебных заведениях сразу, чтобы, «срезавшись» в одном, не лишиться шансов на успех в другом. Нужно заметить, что приемные экзамены в Горный институт отличались тогда большою строгостью, так что опасения Михайлова касательно провала были не лишены основания. Впрочем, техника интересовала его в это время очень мало. Студенческий билет должен был доставить ему некоторую гарантию от преследований полиции, которая, как известно, вообще неблагосклонно смотрит на пребывание в Петербурге людей «без определенных занятий». Я не помню, удалось ли ему запастись этим громоотводом, знаю только, что, поселившись в столице, Михайлов посвящал всё свое время разыскиванию «настоящих революционеров». Припоминая теперь его тогдашний образ жизни, я думаю, что он должен был пережить страшно много за каких-нибудь два-три месяца. Он как бы переродился. Из уединенного обитателя Измайловского полка, каким я знал его год тому назад, он превратился в самого подвижного, самого живого члена студенческих «коммун», нигде не остающегося надолго, но вечно перекочевывающего из одной квартиры в другую. «Коммуны», в которых он вращался в это время, представляли собою иногда небольшую студенческую комнату, занимаемую вместе с настоящим ее хозяином целой массой пришлого населения. Я помню рассказ Михайлова об обстановке одной из таких коммун. На Малой Дворянской улице, на Петербургской стороне, в крошечном и низком деревянном домике, настоящей избушке «на курьих ножках», кто-то из знакомых Михайлова занимал комнату, помещавшуюся в первом этаже и выходившую окнами на улицу. Мало-по-малу, вместо одного постоянного жильца в ней оказалось целых шестеро, размещавшихся, как это легко себе представить, без всякой претензии на удобства. Спали на кроватях, спали на столах, спали на полу, и когда к постоянным обитателям комнаты присоединялось несколько «ночлежников», то весь пол был занят спящими, так что путешествие из одного угла комнаты в другой представляло собой настоящую «скачку с препятствиями». «Когда дворник отворял по утрам ставни наших окон,—рассказывал Михайлов,—то, пораженный этим необычайным зрелищем, он мог только произнести: «О, Господи!». В настоящее время, конечно, ни один дворник не ограничился бы такими лирическими порывами, но лет пять-шесть тому назад полиция снисходительнее смотрела на студенческие нравы и терпеливее «ожидала по-

ступков». Она ни разу не потревожила Михайлова и его сожителей, которые, не довольствуясь обычным в их квартире многолюдством, часто устраивали сходки из нескольких десятков человек. В то время сходки, вообще, были очень многолюдны и оживленны. Наступившее после арестов 1873—1874 годов затишье уступило место новому оживлению молодежи, на развалинах старых кружков вырастали новые организации, революционные «программы» предшествующего периода заменялись так называемым «народничеством».

Михайлов горячо интересовался всеми «проклятыми вопросами» этого периода нашего революционного движения и принимал деятельное участие во всех вызывавшихся ими дебатах. Посещая все сколько-нибудь интересные собрания, он надеялся встретиться там с «настоящими революционерами», которые облегчили бы ему переход от слова к делу. Надежды его оправдались в очень скором времени. На одной из сходок, если не ошибаюсь, в описанной уже выше «коммуне» на Малой Дворянской улице, он познакомился с членами возникавшего тогда общества «Земля и Воля» и скоро сам был в него принят. Тогда окончился «нигилистический», как любил выражаться Михайлов, период его жизни. Он достиг своей цели, нашел подходивших к его воззрениям людей, нашел кое-какую организацию и энергически принялся за ее расширение. Теперь он уже не посещал «коммун», не ужасал дворников оригинальностью своего костюма. Он превратился в сдержанного организатора, взвешивающего каждый свой шаг и дорожащего каждой минутой времени. «Нигилистический» костюм с его пледом и высокими сапогами мог обратить на себя внимание шпиона и повести к серьезным арестам. Михайлов немедленно отказался от него, как только взялся за серьезную работу. Он оделся весьма прилично, справедливо рассуждая, что лучше истратить несколько десятков рублей на платье, чем подвергаться ненужной опасности. Во всем кружке «Земля и Воля» не было с тех пор более энергичного сторонника приличной внешности. Часто, после обсуждения какого-нибудь серьезного плана, он делал своему собеседнику замечание относительно неисправности его костюма и настаивал на необходимости ремонта этого последнего. Если собеседник отговаривался неимением денег, то Михайлов умолкал, но при этом записывал что-то шифром в свою книжечку. Через несколько дней он доставал деньги и сообщал адрес недорогого магазина платья, так что его неисправно одетому товарищу оставалось только итти по указанному адресу, чтобы вернуться домой в приличном виде. Другою, не менее постоянною заботою Михайлова был квартирный вопрос. Помимо обыкновенных житей-

ских удобств, найденная им «конспиративная» квартира имела много других, незаметных для глаза непосвященного в революционные тайны смертного. Окна ее оказывались особенно хорошо приспособленными для установки «знака», который легко мог быть снят в случае появления полиции, так что, не входя еще в квартиру, можно было знать, что там «неблагополучно»; от других квартир она отделялась толстою капитальною стеною, так что ни одно слово не могло долететь до ушей, быть может, нескромных соседей; план двора, положение под'езда,—все было принято в соображение, всё было приспособлено к «конспиративным» целям. Я помню, как, показавши мне все достоинства только что нанятой им квартиры, на Бассейной улице, Михайлов вывел меня на лестницу, чтобы обратить мое внимание на ее особенные удобства.

— Видите, какая площадка,—произнес он с восхищением.

Признаюсь, я не понял—в чем дело.

— В случае несвоевременного обыска мы можем укрепиться на этой площадке и, обстреливая лестницу, защищаться от целого эскадрона жандармов,—пояснил мне Михайлов.

Вернувшись в квартиру, он показал мне целый арсенал различного оборонительного оружия, и я убедился, что жандармам придется дорого поплатиться за «несвоевременный» визит к Михайлову.

Но все эти хлопоты занимали Ал. Дм. лишь временно. Он собирался в «народ», на Дон или на Волгу, туда, где, по его мнению, еще жива была память о Разине и Пугачеве, где крестьянство не свыклось еще с ярмом государственной организации и не махнуло рукой на свое будущее. Но так как бродячая пропаганда 1873—1874 годов не принесла хороших результатов, то общество «Земля и Воля» решилось основать прочные поселения в народе, чтобы иметь возможность действовать осмотрительно, с знанием местности и разумным выбором личностей. Для этого, разумеется, нужно было занять известное положение в деревне, нужно было звание учителя, писаря, фельдшера или чего-либо подобного. Михайлов решился сделаться учителем, но не в православной, а в раскольничьей деревне. На пропаганду среди раскольников тогда возлагались очень большие надежды; беспоповцев, в особенности, считали, как и теперь считают многие, носителями неиспорченного народного идеала, которых без большого труда можно превратить из оппозиционного—в революционный элемент русской общественной жизни. Наилучшею репутациею пользовались, конечно, бегуны. Мысль о заведении с ними правильных и постоянных сношений была не нова, но осуществление ее представляло большие трудности. Михайлов не видел воз-

можности познакомиться с представителями этой секты иначе, как через посредство других, менее крайних, менее преследуемых, а потому, естественно, и менее недоверчивых сект. Он решился научиться всем обрядам беспоповцев, усвоить главные основания их учения и затем, в качестве своего человека, поселиться учителем в какой-нибудь раскольничьей деревне. Окончательный выбор его пал на Саратовскую губернию.

Весною 1877 г. с разных концов России члены общества «Земля и Воля» двинулись в Поволжье для устройства «поселений». Пространство от Нижнего до Астрахани принято было за операционный базис, от которого должны были итти поселения по обе стороны Волги. В одном месте устраивалась ферма, в другом—кузница, там поселялся лавочник, здесь приискивал себе место волостной писарь. В каждом губернском городе был свой «центр», заведывавший делами местной группы. Саратовская и Астраханская группы непосредственно сносились с членами кружка, жившими в Донской области, а надо всеми этими группами стоял Петербургский «основной кружок», заведывавший делами всей организации. Много потерь и неудач пришлось испытать и «основному кружку», и местным группам, но в общем дела шли очень недурно. Как член «основного» петербургского кружка, Михайлов должен был принимать деятельное участие в организации Саратовской группы, но в то же время он усердно готовился к своей миссии среди раскольников. Приехавши в Саратов в конце июля 1877 года и увидевшись с Михайловым, я узнал от него, что он уже завел знакомство между саратовскими раскольниками, даже поселился у одного из них на квартире и занимается изучением «писания». Его новый образ жизни не раз вызывал во мне удивление к его железной настойчивости и самой строгой выдержанности. Раскольничье семейство, в котором он поселился, обитало где-то на окраине Саратова и отличалось самыми патриархальными нравами. Много нужно было характера и терпения, чтобы приспособиться к этим допотопным нравам и не соскучиться выполнением раскольничьих обрядовых церемоний. Засидеться в гостях долее 6 час. вечера считалось в этой среде чуть не преступлением; начинавшееся с рассветом утро посвящалось всевозможным молитвам, «метаниям» и причитаниям; нечего и говорить о постах, которые соблюдались с педантическою строгостью. Живя в комнате, отделенной от хозяйского помещения лишь тоненькой перегородкою, Михайлов не мог скрыть ни одного своего шага от подозрительного глаза хозяев и должен был взять себя в ежовые рукавицы, чтобы окончательно отделаться от столичных привычек. С поразительным терпением и аккуратностью молился он Богу, расстилая

на полу какой-то «плат» и надевая на руку какой-то удивительный кожаный треугольник, висевший на длинном ремне. Помолившись и повздыхавши о своих грехах, он принимался за чтение священных книг и по целым дням назидался рассуждениями о пришествии Ильи и Еноха, о двуперстном сложении, о кончине мира и т. п. Скоро он так преуспел в этой раскольничьей теологии, что решился принять участие в диспутах, часто происходивших в православных храмах между православным духовенством и раскольничьими начетчиками. Он сообщил мне о своем намерении, и мы условились итти вместе. «Во едину от суббот», в октябре или ноябре 1877 года, мы явились с ним в так называемую «Кивонию», которая служила главной ареной обличительной деятельности саратовского духовенства. Всенощная уже окончилась, и оставшаяся в церкви публика, очевидно, дожидалась диспута. Скоро причетник поставил посредине церкви два аналоя, зажег около каждого из них по большому подсвечнику и стал поджидать «батюшек», ковыряя в носу и напевая какую-то молитву. Мы воспользовались этой свободной минутой, чтобы расспросить его о предстоящем диспуте. Михайлова более всего интересовал вопрос о том, кто из раскольничьих «столпов» будет отстаивать «древнее благочестие». Но, к великому его огорчению, причетник отвечал, что раскольники почти перестали ходить на диспуты, так как, не довольствуясь книжной мудростью, «батюшки» доносят на своих оппонентов полиции, и за несогласие с духовной властью раскольники получают должное воздаяние от власти светской. Благодаря этому известию, диспут утратил в глазах Михайлова почти всякий интерес, но он все-таки решился остаться «посмотреть, что будет». Нам недолго пришлось ожидать появления православных «светильников церкви». Из алтаря вышли один за другим два священника, неся в каждой руке по огромной книге, в кожаном порыжелом переплете. Подойдя к аналоям и возведя глаза к небу,—они об'явили, что целью их «собеседования» будет оспаривание, не помню уже какого, догмата раскольников «австрийского согласия». Михайлов насторожился. «Вот, например, раскольники утверждают, что перед пришествием антихриста церковь погибнет,—смиренномудро говорил один из «батюшек»,—а, между тем, в Писании сказано...».

«Созижду церковь мою и врата адовы не одолеют ю»,—подхватывал его товарищ, перелистывая порыжелые фолианты и отыскивая в них приличный случаю текст.

«О, Господи, помилуй нас грешных»,—сокрушенно шептал кто-то

в толпе, и «батюшки» переходили к новому пункту раскольничьих «лжеучений».

Не подлежало никакому сомнению, что оппонентов в толпе не имеется. Смиренномудрые «лики» батюшек озарились уже было сознанием победы, как вдруг Михайлов попросил некоторых раз'яснений. Дело шло о пришествии Ильи или Еноха; Михайлов утверждал, что для него не ясен смысл относящегося сюда пророчества. «Батюшки» раз'ясняли его «сомнения», он немедленно высказывал новые. Диспут оживился. Не интересовавшись никогда ни Ильей, ни Енохом, я был совершенным профаном в этих вопросах и не понимал решительно ничего во всем споре. Я видел только, что Михайлов говорит очень самоуверенно, что его не смущают возражения «батюшек», и что на каждый из приводимых ими текстов, он приводит не менее веское свидетельство того или другого святого. Окружающие слушали его с большим вниманием, а «батюшки» чувствовали себя, как видно было, не совсем ловко. Они не ожидали такого отпора и несколько растерялись. Михайлов настойчиво допрашивал их, как понимают они пришествие Еноха—духовно или телесно; «батюшки» почему-то избегали прямого ответа.

Не знаю, чем кончилось бы это препирательство, если бы Михайлов не имел неосторожности упомянуть о бегунах. Как только он назвал эту секту, оппоненты его снова почувствовали себя на твердой почве.

— Ну да ведь бегуны и царя не признают, — воскликнул один из них.

— Бога бойся, царя почитай,—вторил другой громовым голосом.

Михайлов не имел ни малейшего желания толковать с ними о политике и, в свою очередь, стал отвечать уклончиво. Через несколько минут «собеседование» окончилось. Мы направились к выходу.

— А позвольте вас спросить,—обратился к Михайлову один из священников,—вы где живете?

Я вспомнил слова причетника и начал опасаться, что развязка диспута будет иметь место в полицейском участке.

— Да я не здешний, я из Камышина, — заявил, не смущаясь, Михайлов.

— Да остановились-то вы где?—допрашивал батюшка.

— У одного знакомого, я ведь всего на два дня сюда приехал.

— Вы не подумайте, что я для чего-нибудь,—успокаивал неотвязчивый диспутант,—мне только хотелось бы поговорить с вами, я вижу в вас сомнения...

Кое-как отделавшись от его допросов, мы вышли на улицу. Ми-

хайлов был доволен своим дебютом. Он убедился, что его усидчивые занятия не остались без результата, и что он приобрел уже некоторый навык в богословских спорах. «Победихом, победихом»,—повторял он с веселым смехом и решился, не откладывая долее, ехать в какую-нибудь раскольничью деревню.

Его останавливала лишь необходимость отбывания воинской повинности. Солдатчина могла надолго отвлечь его от исполнения задуманного им предприятия. Но ему повезло неожиданное счастье. Отправившись в Москву и записавшись в одном из призывных участков, он вынул номер, по которому его зачислили в запас и отпустили на все четыре стороны. Он немедленно возвратился в Саратов и недели через две поселился где-то среди спасовцев в качестве «своего» (т.-е. не назначенного от земства, а нанятого самими раскольниками) учителя.

Более я не встречался уже с ним в Саратове. Обстоятельства заставили меня вернуться в Петербург, где я прожил всю зиму 1877—1878 года. Михайлов изредка сообщал «основному кружку» о своих успехах среди раскольников, но письма его были довольно лаконичны и бедны подробностями. «Весною приеду, расскажу более», заключал он обыкновенно свои сообщения. Мы ждали его в средине мая.

Читатель помнит, конечно, какими бурными событиями ознаменовалась в Петербурге весна 1878 г. Стачки рабочих, процесс В. И. Засулич, давший повод к кровавому столкновению публики с полицией, демонстрация в честь убитого Сидорацкого, в которой приняли участие люди весьма солидного общественного положения,—всё это давало повод думать, что русское общество начинает терять терпение и готово серьезно протестовать против произвола правительства. Живя в провинции, Михайлов только по газетам мог следить за положением дел в Петербурге. Его воображение дополняло газетные известия, и он был убежден, что в скором времени предстоят еще более крупные события. Он не вытерпел и в начале апреля уже мчался в Петербург, чтобы принять участие в тамошних волнениях. Надежды его, однако, не оправдались, одна ласточка «не сделала весны». Энергия петербургского общества истощилась в очень короткое время, газеты не дотянули начатой ими либеральной ноты, и скоро всё вошло в обычную уныло-казенную колею: социалистам оставалось только примириться с новым разочарованием и продолжать начатую в народе работу. Махнул рукой на петербургскую «революцию» и Михайлов. Он снова сосредоточил все свои помыслы на революционной деятельности среди раскольников. Но, заручившись знакомством и связями в этой среде, он, как орга-

низатор по преимуществу, не удовлетворялся уже своею прежнею ролью одинокого наблюдателя раскольничьей жизни. Он стремился сорганизовать целый кружок лиц, знающих историю раскола, начитанных «от Писания» и могущих не приспособляться только, но и приспособлять к своим идеалам окружающих лиц. Он требовал от нашего кружка основания особой типографии с славянским шрифтом, специальной целью которой было бы печатание различных революционных изданий для раскольников. Чтобы хоть несколько подготовиться к своей будущей роли реформатора раскола, он начал усердно посещать Публичную Библиотеку, пользуясь каждой свободной минутой для изучения богословской литературы. К сожалению, времени у него было очень мало. Его организаторский талант делал необходимым участие его в различных революционных предприятиях, требовавших иногда весьма продолжительной беготни. К этому присоединился пересмотр программы общества «Земля и Воля» и устава его организации. По смыслу выработанного в начале 1877 г. временного устава петербургского основного кружка, программа общества должна была подвергаться, если не ошибаюсь, ежегодному пересмотру с целью изменения или расширения ее, сообразно с указаниями опыта. Но так как весною 1878 г. у нас не было еще ни малейшего сомнения в практичности нашей программы, то оставалось только ввести в нее несколько дополнительных пунктов о деятельности в народе. Не так скоро покончили мы с уставом. Михайлов требовал радикального изменения устава в смысле большей централизации революционных сил и большей зависимости местных групп от центра. После многих споров почти все его предложения были приняты, и ему поручено было написать проект нового устава. При обсуждении приготовленного им проекта немалую оппозицию встретил параграф, по которому член основного кружка обязывался исполнить всякое распоряжение большинства своих товарищей, хотя бы оно не вполне соответствовало его личным воззрениям. Михайлов не мог даже понять точки зрения своих оппонентов. «Если вы приняли программу кружка, если вы сделались членом организации, то в основных пунктах у вас не может быть разногласий с большинством ее членов,—повторял он с досадой.—Вы можете разойтись с ними во взгляде на уместность и своевременность порученного вам предприятия, но в этом случае вы должны подчиниться большинству голосов. Что касается до меня, то я сделаю всё, что потребует от меня организация. Если бы меня заставили писать стихи, я не отказался бы и от этого, хотя и знал бы наперед, что стихи выйдут невоз-

можные. Личность должна подчиняться организации». В конце концов, был принят и этот параграф, с тем, однако, добавлением, что организация должна, по возможности, принимать в соображение личные наклонности различных ее членов.

Покончивши с уставом, Михайлов снова углубился было в изучение раскольничьей литературы, но события всё более и более отклоняли его от избранного им пути. Большинство членов основного кружка предложило Михайлову отложить на неопределенное время деятельность его среди раскольников и принять участие в организации некоторых из задуманных тогда предприятий. Волей-неволей ему пришлось подчиниться этому решению и оставить на время мысль о возвращении в Саратов. Было бы неудобно рассказывать здесь о том, что именно делал в это время Михайлов [1]). Я замечу только, что теперь, как и всегда, он фигурировал, главным образом, в роли организатора. Так, например, осенью 1878 г. ему поручено было ехать в Ростов на Дону с тем, чтобы собрать сведения о происходивших тогда в Луганской станице волнениях и, если окажется возможным, принять участие в движении казаков, организовавши, предварительно, особую организационную группу из местных «радикалов». Михайлов отправился по назначению, но, едва прибывши в Ростов, был снова отозван в Петербург, где во время его отсутствия произошли многочисленные аресты. По возвращении в Петербург, он нашел только немногие остатки незадолго перед тем сильного и прекрасно организованного «основного кружка». Положение дел было самое печальное. Оставшиеся на свободе члены организации не имели ни денег, ни паспортов, у них не было даже возможности снестись с провинциальными членами организации, так как они не знали их местопребывания. Такая дезорганизация грозила, разумеется, новыми провалами. Я помню, что, приехавши в Петербург спустя около недели после арестов, я не знал о них решительно ничего, и только благодаря случайной встрече с одним из уцелевших членов нашей организации я не пошел на квартиру Малиновской, где полицейские хватали всякого приходящего. Михайлов принялся восстановлять полуразрушенную организацию. С утра до вечера бегал он по Петербургу, доставая деньги, приготовляя паспорта, заводя новые связи, словом, поправляя всё, что было поправимо в нашем тогдашнем положении. Скоро дела наши пришли в некоторый порядок, и общество «Земля и Воля» не только не распалось, но приступило даже к из-

[1]) Прим. к новому изданию. Теперь, когда Михайлова уже нет в живых, можно сказать, что он участвовал тогда в попытке освободить Войнаральского.

данию своей газеты. Неутомимая деятельность Михайлова за этот период времени составляет одну из самых главных заслуг его перед русским революционным движением. Он уже окончательно теперь отказался от мысли возвратиться в Саратов и весь отдался организационным заботам.

В принципе Михайлов по-прежнему признавал деятельность в народе главною задачею общества «Земля и Воля», но он думал, что, при наличных силах этого общества, нельзя было надеяться на сколько-нибудь серьезный успех в крестьянской среде. «В настоящую минуту нам, находящимся в городах, нечего и думать об от'езде в деревню,—говорил он, по возвращении из Ростова,—мы слишком слабы для работы в народе. Соберемся сначала с силами, создадим крепкую и обширную организацию и тогда перенесем центр тяжести наших усилий в деревню. Теперь же волей-неволей приходится нам сосредоточить свое внимание на городских рабочих и учащейся молодежи». В то время мы были, действительно, так слабы, что никому из нас и в голову не приходило не соглашаться с Михайловым. Порешивши остаться в Петербурге, мы подразделили деятельность «основного кружка» на несколько различных отраслей, так что каждому из нас предстоял особый род работы. На Михайлове лежали, главным образом, хозяйственные заботы. Он заведывал паспортной частью, типографией, распространением «Земли и Воли», переписывался с провинциальными членами нашей организации, доставал и распределял средства между различными ветвями кружка и т. д. [1]). Уже это одно требовало очень значительной затраты времени, но Михайлов этим не ограничился. Аккуратный и точный до педантизма, он всегда умел так распределить свои занятия, что у него оставалось по нескольку свободных часов ежедневно. Этими часами, которые, казалось бы, составляли законное время отдыха, он воспользовался для деятельности среди рабочих. Здесь, как и везде, он фигурировал, главным образом, в роли организатора. Не имея возможности лично посещать рабочие кварталы, он старался, по крайней мере, собирать сведения обо всем, что происходило в революционных рабочих группах, снабжал их книгами, деньгами, паспортами, а главное, давал множество разнообразных и всегда разумных советов. Кроме того, вращаясь среди петербургской революционной молодежи, он сближался с личностями, способ-

[1]) Прим. к новому изданию. Прибавлю, что, главным образом, благодаря его усилиям взялся за свою оригинальную деятельность знаменитый Клеточников, которому многие из нас,—я в том числе,—обязаны были тем, что могли счастливо избегать полицейских ловушек.

ными, по его мнению, взяться за революционную пропаганду между рабочими, вводил их в занимавшуюся этим делом группу, способствовал, таким образом, расширению последней. В особенности сблизился он с «рабочей группой» во время большой стачки в январе или в феврале 1879 г. Рабочие фабрики Шау и так называемой Новой Бумагопрядильни на Обводном канале забастовали почти одновременно, сговорившись через посредство своих делегатов «стоять дружно» и начинать работу не иначе, как с общего согласия стачечников обеих фабрик. Более 1.500 человек осталось, временно, без всякого заработка, а следовательно, и без всяких средств к существованию, если не считать кредита в мелочных лавочках. Кроме того, предвиделись вмешательство полиции и административные расправы с «бунтовщиками». Нужно было организовать немедленную материальную помощь всем стачечникам и обеспечить семейства арестованных или высланных, в особенности. Работа закипела. Сборы производились повсюду, где была какая-нибудь надежда на успех: между рабочими, студентами, литераторами и т. д. При своих огромных связях, Михайлов часто в один день собирал такую сумму, какой не собирали другие сборщики за всё время стачки. Каждый день, явившись на заседание «рабочей группы» [1]), Михайлов пред'являл ей довольно значительную сумму денег и немедленно начинал самые обстоятельные расспросы. С довольным видом, пощипывая свою эспаньолку, выслушивал он рассказы людей, сошедшихся из разных концов Петербурга, занося в свою записную книжечку всевозможные поручения относительно паспортов, прокламаций, даже оружия и костюмов. Выработавши план действий на следующий день, собрание расходилось, и Михайлов спешил по какому-нибудь новому делу, на свидание с тем или другим «человечком», на собрание какой-нибудь другой группы нашего общества или самого «основного кружка».

Ал. Дм. никогда не мог увлечься каким-нибудь специальным делом до забвения, хотя бы и временного, других отраслей революционного дела. Каждое отдельное предприятие имело для него смысл лишь в том случае, когда он видел, понимал и, если можно так выразиться, осязал связь его со всеми остальными функциями общества «Земли и Воли». Не будучи никогда литератором ни по случаю, ни по призванию, он не пропускал ни одного собрания редакции издававшейся тогда «Земли и Воли»: он не мог быть спокоен, пока не знал состава приготовляемого

[1]) Из предыдущего изложения читатель понял уже, вероятно, что «рабочею группою» называлась группа, специальною целью которой была деятельность среди городских рабочих; в нее входили как рабочие, так и «интеллигенция».

номера и содержания каждой его статьи. Редакция до такой степени привыкла к присутствию Михайлова на ее собраниях, что часто отсрочивала их, если он был чем-нибудь занят. «Я очень люблю читать Михайлову свои статьи,—говорил мне один из членов редакции [1]),—замечания его так удачны, так метки, что с ним почти всегда приходится согласиться, и часто я переменяю весь план статьи, прочитавши ему черновую рукопись». Критические приемы Михайлова не лишены были некоторой своеобразности. Кроме согласия с программой, доказательности и хорошего слога, он очень ценил в статьях краткость изложения. Как только на собраниях редакции приступали к чтению имевшихся в ее распоряжении рукописей, А. Д. вынимал часы (мимоходом замечу, имевшие удивительное свойство останавливаться на ночь: «тоже спать хотят», говорил он, заводя их утром) и замечал, во сколько времени может быть прочитана та или другая статья. «Не торопитесь, потише,—останавливал он читающего,—публика читает, обыкновенно, медленнее... 25 минут, несколько длинно... Вы бы как-нибудь покороче; а кроме того, я хотел вам заметить»... Следовали замечания по существу дела.

Выход каждого № «Земли и Воли» ознаменовывался некоторым торжеством на квартире Михайлова. Тогда бывало «разрешение вина и елея». В маленькой комнатке, наш «Катон-цензор», как называли мы его тогда, приготовлял скромное угощение. Часов в девять вечера появлялись виновники торжества,—члены редакции «Земли и Воли»,—и начиналось «празднество». Михайлов откупоривал бутылку коньяку, наливал из нее каждому по рюмке и тотчас же запирал в шкап. Затем выступали на сцену какая-то «рыбка» и чай со сладким печеньем. Спустивши стору и установивши «знак» для кого-нибудь из запоздавших, Михайлов оживленно и весело беседовал с гостями, отдыхая от тревог и волнений истекшего месяца. Эти собрания были едва ли не единственным развлечением А. Д.; в театр он не мог пойти, если бы и захотел, так как это было бы «неосторожно»: там его могли узнать шпионы; у своих знакомых он оставался не долее, чем это требовало дело. Каждый вечер шифровал он в своей записной книжечке расписание предстоящих на завтра дел и свиданий, и, ложась спать, он долго еще ворочался в постели, стараясь припомнить каждую мелочь. Пробуждаясь на утро, он прежде всего бросал беглый взгляд на маленький клочок бумаги, висевший над его кроватью и составлявший единственное украшение комнаты. На этой бумажке красовалось написанное крупными буквами лаконическое напоминание: «*Не забывай своих обязанностей*». Как медный «змий» спасал

[1]) Прим. к нов. изд. Это был Л. Тихомиров.

евреев от телесных недугов, надпись эта спасала Михайлова от случайных искушений и слабостей: желания проспать долее положенного времени, почитать утром газету и т. д. Взглянувши на эту надпись, он немедленно вскакивал с постели, тщательно чистил платье и, одевшись «прилично», принимался за свою ежедневную беготню по Петербургу.

Личных друзей в обществе «Земля и Воля» у Михайлова было очень немного. По характеру своему, он более чем кто-нибудь другой склонен был согласиться с Прудоном в том, что «любовь есть нарушение общественной справедливости». Про него говорили, что он любит людей только со времени вступления их в «основной кружок» и только до тех пор, пока они состоят членами последнего. И нельзя не согласиться, по крайней мере, с положительной стороной этой характеристики. К каждому из своих товарищей он относился с самою нежною заботливостью, хотя и не упускал случая сердито поворчать за неисправность или неосторожность. Несомненно также, что революционная работа до такой степени проникала собой все помыслы и чувства Михайлова, что он не мог полюбить человека иначе, как на «деле» и за «дело». Для столкновения с людьми помимо этого дела у него просто не было времени.

Весною 1879 года совершился крутой перелом в воззрениях Михайлова. Он все более и более начал склоняться к так называемому террористическому способу действий. Перелом этот произошел, конечно, не вдруг. Некоторое время Михайлов не высказывался принципиально против старой программы, хотя не упускал случая заметить, что мы не имеем и десятой доли сил, необходимых для ее выполнения. Но, мало-помалу, новый способ действий выяснился для него окончательно, и когда весною 1879 г. Соловьев и Гольденберг приехали в Петербург, жребий был брошен, Михайлов сделался террористом. С этих пор начинается новый период его жизни, который мне известен менее, чем предыдущие.

Я не знаю, придется ли мне еще встретиться с Михайловым, послужит ли он еще революционному делу, или погибнет в каторжной тюрьме [1]), несмотря на свой железный характер. Но я уверен, что у всех, знавших Михайлова, никогда не изгладится образ этого человека, который, подобно Лермонтовскому Мцыри, «знал *одной* лишь думы власть, *одну*, но пламенную страсть»: этой думой было счастье родины, этой страстью была борьба за ее освобождение.

1882 г.

---

[1]) Как известно, Михайлов осужден на пожизненную каторжную работу. Это наказание представляет собою смягчение первоначального приговора—смертной казни «чрез повешание».

Прим. к изд. изданию. В тюрьме Михайлов скоро умер.

Новое направление в области политической экономии [1]).

D-r. Meyer—*Die neuere National-Oekonomie in ihren Hauptrichtungen.* Em. de Laveley—*Le socialisme contemporain.*

Всякий, кто следит за современной литературой в области экономической науки, не мог оставить незамеченным то явление, что на-ряду с «ортодоксальными» учениями, как они вышли некогда из-под пера экономистов-классиков,—учениями, дополненными и исправленными «учеными» вроде Бастиа,—вырастает новое направление, отрекающееся одновременно от Рикардо и от Бастиа и грозящее, повидимому, не оставить камня на камне в здании «манчестерства». Это новое направление в экономической науке приобретает все большее количество последователей и уже в настоящее время занимает довольно крепкую позицию в литературе и в университетах передовых европейских народов. Значительная часть немецких университетских кафедр занята так называемыми катедер-социалистами, взгляды которых встречают сочувствие и поддержку в целой фаланге итальянских, датских и даже английских ученых.

Только в странах французского языка новаторские стремления катедер-социалистов встретили равнодушный и даже враждебный прием. Но и здесь ученая ересь начинает оказывать свое влияние. И здесь, рядом с сочинениями, вроде книги Молинари «L'évolution économique du XIX siècle»; рядом с уверениями в том, что «естественные законы» народного хозяйства продолжают как нельзя лучше содействовать развитию общего богатства и благосостояния; рядом с традиционным «laissez faire, laissez passer»,—слышатся другие слова, раздаются другие уверения, предлагаются новые девизы. К числу таких, пока еще немногочисленных там отщепенцев принадлежит известный автор книги о «Первобытной собственности»—Эмиль-де-Лавелэ, выпустивший недавно

---

[1]) «Отечественные записки» 1881 г., ноябрь, за подписью Г. Валентинов.

в свет новое сочинение «О современном социализме». Некоторые главы этого, вообще небезынтересного с фактической стороны труда бельгийского профессора затрагивают вопросы «о новых тенденциях в политической экономии», об «отношении политической экономии к морали, праву, политике и истории» и т. д., и т. д. Рассматривая каждый из этих вопросов, автор настаивает на необходимости пересмотра положений «старой школы» с точки зрения катедер-социализма или, как его правильнее называют, «историко-реалистического направления».

Чем же вызывается это критическое отношение к догматам школы, считавшейся некогда непогрешимой? С какой стороны затрагивает «старую школу» критика экономистов-«реалистов»? Наконец, отказываясь от завещанного классической и вульгарной экономией наследства, расходясь как со Смитом и Рикардо, так и с Бастиа, представляет ли собою «историко-реалистическое» направление самостоятельную и цельную систему, охватившую все явления современной экономической жизни, все завоевания современной науки?

В предлагаемой статье мы попытаемся ответить на эти вопросы, опираясь на данные, заключающиеся в выписанных выше новостях иностранной экономической литературы. При этом вопрос о причинах постоянно возрастающего критического отношения к положениям «манчестерства» заставит нас бросить беглый взгляд на обстоятельства, при которых это учение начало клониться к упадку и уступать место новым экономическим теориям.

I.

Сочинения Д. Рикардо представляют собою высшую, кульминационную точку в развитии классической политической экономии. Основные положения тогдашней науки были с неуклонной последовательностью приложены знаменитым экономистом к решению всех вопросов производства, обмена и распределения, обращавших на себя в то время внимание исследователя. Эти вопросы были, разумеется, непохожи на «проклятые вопросы» настоящего времени. Не нужно забывать, что главное сочинение Рикардо, «Начала политической экономии», появилось еще в 1817 году, т.-е. шестьдесят четыре года тому назад. Капиталистический способ производства тогда еще только завоевывал себе господствующее положение в сфере западно-европейских экономических отношений; буржуазия спорила еще за власть и преобладание с поземельной аристократией; наконец, промышленные кризисы не сделались еще в то время периодически возвращающимся бедствием ци-

вилизованных наций. К общественным же наукам, более чем к каким-либо другим, применимы слова Ж. Б. Вико, утверждавшего, что «все науки родились из общественных потребностей и нужд народов» и что «ход идей соответствует ходу вещей». «Общественные потребности» и нужды западно-европейских народов были совсем иные в начале XIX века, чем в настоящее время. Перед современниками Рикардо не стоял еще грозным призраком рабочий вопрос; они не знали еще, до каких противоречий может дойти капиталистический способ производства. Они видели капитализм лишь с его положительной стороны, с точки зрения увеличения национального богатства. Правда, ученым того времени был уже известен закон заработной платы, названный впоследствии «железным и жестоким» законом. Еще Тюрго писал, что «во всех отраслях труда должно происходить и происходит в самом деле, что плата рабочего ограничивается тем, что необходимо ему для поддержания его существования» [1]).

Вслед за ним, отыскивая естественную норму заработной платы, Ад. Смит также находил, что она должна дать рабочему средства, необходимые для его существования и воспитания сына, который мог бы заменить своего отца, когда руки последнего окажутся неудовлетворяющими более своему назначению [2]). Что касается Рикардо, то он не только не отрицал указанной его предшественниками нормы заработной платы, но, напротив, придал учению о ней тот законченный вид, в котором оно стало известно под именем «закона заработной платы Рикардо». «Естественная цена труда есть, по мнению этого последнего, та, которая, вообще, необходима для доставления рабочим средств к существованию и продолжению своего рода как без возрастания, так и без уменьшения» [3]). Таким образом, Рикардо и его предшественники—основатели экономической науки—имели уже совершенно определенный и далеко не розовый взгляд на положение рабочих в капиталистическом обществе (о дифирамбах «экономической гармонии» в то время еще не задумывались), но тем не менее рабочий вопрос, в собственном смысле этого слова, интересовал их еще очень мало. Безучастность отношения экономистов-классиков к судьбе рабочего класса может иногда показаться просто невероятною для современного читателя. Так, напр., по поводу вопроса о заработной плате Ад. Смит цитирует

---

[1]) Cf. Reflexions sur la formation et distribution des richesses, p. 10.

[2]) Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, p. 88—89.

[3]) Сочинения Рикардо, выпуск 1, стр. 54—55.

Кантильона, утверждавшего, что плата рабочего должна дать ему средства для содержания двух детей. Смит замечает, что при большой смертности детей, доходящей до 50%, «беднейшие рабочие должны стараться воспитать, по крайней мере, 4-х детей, чтобы только двое из них могли достичь зрелого возраста» [1]) и служить, таким образом, для «поддержания рода». И этот факт громадной смертности, поражающей, главным образом, молодое рабочее поколение,—смертности, при которой половина детей заранее обрекается на гибель, чтобы другая могла удостоиться счастья и чести вынести на рынок свои «руки»,—не останавливает на себе внимания «отца политической экономии».

«Адам Смит,—восклицает Прудон в своих «Экономических противоречиях»,—видит и не понимает; он рассказывает и не разумеет смысла своего рассказа; он говорит по внушению Бога, без удивления и благоговения, и внутренний смысл его слов остается для него закрытою книгою!» И действительно, истинный смысл и значение капитализма оставались «lettre close» для экономистов-классиков. Интересы рабочих они продолжали связывать с возрастанием «народного богатства» и в этом возрастании видели единственное средство уврачевания общественных бедствий.

Впрочем, и во время Рикардо были уже явления, обнаружившие некоторые из противоречий капитализма. Одним из важнейших явлений этого рода была борьба рабочего с усовершенствованным орудием его труда—машиной. Введение машин затрагивало интересы всех участвующих в производстве «факторов», но затрагивало их с совершенно различных сторон и в диаметрально-противоположном смысле. Для работодателей введение машин означало увеличение производительности труда занятых в производстве рабочих или, как выражались тогда, уменьшение издержек производства, удешевление продуктов, расширение сбыта, пожалуй завоевание новых рынков и т. п. Словом, фабрикант по самому своему положению склонен был видеть лишь положительную сторону последствий введения машин. Для рабочего, напротив, это введение знаменовало собою уменьшение спроса на труд, понижение задельной платы, а временами и безработицу. Немудрено поэтому, что рабочий недружелюбно относился к машинам. Противоречия капитализма обнаруживались прежде всего нелепым явлением— борьбой производителя с орудием его труда. Из средства облегчения физического труда и увеличения власти человека над природой машина сделалась

[1]) Ad. Smith, ibid, p. 89.

вернейшим средством угнетения трудящихся. И вот последние борются против введения машин как путем петиций, так и открытыми бунтами. Во время кризиса 1815 года «все ожесточение рабочих, по словам Макса Вирта, обратилось на машины, в которых они видели причину застоя в делах. В различных местностях затевались бунты с целью уничтожения машин; молотилки, прядильные машины и ткацкие станки ломали и бросали в огонь». Когда тот или другой жизненный вопрос требует так настойчиво своего разрешения, то он, разумеется, не может остаться незамеченным наукою, если только ее представители не закрывают на него умышленно глаз. Но в то время к такому умышленному закрытию глаз на явления жизни еще не было поводов. Протест рабочих выражался в такой грубой, примитивной форме; он направлялся против таких необходимых и очевидно полезных для производства технических усовершенствований; наконец, сознание особенностей своего положения, как класса, было еще так слабо развито в умах самих рабочих, что ни самой буржуазии, ни ученым ее представителям не могло внушить серьезных опасений констатирование указанного выше противоречия капитализма. Каждый из лучших и честнейших представителей буржуазной экономии мог, как это сделал Рикардо, признать, что «замена машинами человеческого труда наносит часто большой вред интересам рабочего класса», и в то же время, без всяких сделок со своею совестью, прибавить: «надеюсь, что установленные мною положения не ведут к заключению, что машины не должны быть поощряемы». Рикардо совершенно верно полагал, что «употреблению машин никогда нельзя препятствовать в государстве безнаказанно».

Так современная им экономическая жизнь передовых европейских народов позволяла Рикардо и его непосредственным ученикам сохранять полную научную беспристрастность, стоя, в то же время, целиком на точке зрения буржуазии, отождествляя процессы ее обогащения с историей обогащения всего общества. Благодаря этой об'ективности положения школы Рикардо имели и имеют огромное научное значение. Систематичность, ясность и строгая научность учений Рикардо оставляли желать весьма немногого. Казалось бы, что экономистам последующего времени оставалось лишь принять полностью завещанное великим экономистом наследство и продолжать строить начатое им здание науки по выработанному им плану.

Но развитие экономической жизни западно-европейских народов шло своим путем; на историческую арену стали пробиваться новые общественные группы; незаметные прежде, противоречия капитализма

обнаруживались все с большею и большею ясностью, а вместе с этим и в науке стали обнаруживаться новые течения, более или менее сильно отклоняющиеся от направления Рикардо-Смитовской школы. Короче сказать, изменялся «ход вещей»,—изменялся и «ход идей», и правильное понимание первого должно дать нам ключ к уразумению последнего.

Заметнее и ранее всего обнаружилось это изменение в «ходе идей» в экономической литературе той страны, где зарождение и развитие капитализма совершалось при несколько иных условиях, чем происходило оно на родине экономической науки, в Англии и во Франции.

Мы говорим о Германии, где, по признанию Морица Мейера, «преобразованию учения Смита, независимо от критики социалистов, выступивших уже гораздо позже, более всего способствовали политические и экономические отношения». Как мы увидим ниже, и социалистическая критика была вызвана к жизни условиями совершенно определенного экономического и политического характера.

Но каковы же были «политические и экономические отношения», повлиявшие на развитие экономической науки в Германии и обусловившие собою характер господствующих там учений?

II.

Начало XIX столетия застало большую часть Германии на весьма низкой ступени экономического развития. Страна, которой суждено было играть такую видную и потом даже решающую роль в судьбах остальной Германии, Пруссия, была еще совершенно земледельческим государством. Более 80% населения занималось исключительно земледельческим трудом; только в западной части государства, в Силезии и Марке, именно в Берлине и Магдебурге, существовала некоторая фабричная промышленность.

Земля, представлявшая собою главный об'ект труда тогдашнего населения Пруссии, резко разделялась на помещичьи (Rittersgütern) и государственные имения (Domänen), с одной стороны, и крестьянские участки—с другой.

По закону, «рыцарскими» поместьями могли владеть только дворяне. Дворянские имения платили весьма умеренный поземельный налог, который существовал притом не во всех частях государства. Крестьянское население, обложенное гораздо более тяжелыми налогами, стояло в обязательных отношениях к дворянским имениям (Gutsunterthänigkeit). Города платили многочисленные налоги в виде так назы-

ваемых акцизных сборов, которыми обложены были все предметы потребления горожан.

Старая меркантильная система связывала торговую деятельность страны по рукам и ногам и совершенно парализовала ее успехи. Свобода торговли не допускалась даже между отдельными провинциями. Каждая из них имела свои особые таможни и свои тарифы. Внешняя торговля была опутана еще большими стеснениями. Ввоз многих заграничных изделий был запрещен совсем; другие были обложены высокими пошлинами, доходившими до 50 и даже более процентов их стоимости. В 1800 году был совершенно запрещен ввоз иностранных шелковых, полушелковых и хлопчатобумажных изделий. Уже после окончания наполеоновских войн тогдашний министр финансов фон-Бюлов, указывая королю на необходимость изменения торгового устава, говорил, что сборами обложено 2.775 предметов и в том числе почти все предметы первой необходимости. По его словам, в одних старых провинциях Пруссии существовало до 60-ти различных тарифов для городских и таможенных сборов. Все эти тарифы имели обязательную законную силу, хотя запомнить их не могла никакая человеческая память.

Промышленная деятельность была скована цеховыми уставами, не позволявшими ей выходить за городские ворота.

Результатом всего этого была отсталость прусской промышленности. И хотя, верное духу кольбертизма, правительство в течение предшествовавших 80 лет на одни только шелковые фабрики в Берлине, Потсдаме, Франкфурте на Одере и Кеппике издержало более 10-ти миллионов талеров, но французские и английские шелковые изделия были настолько лучше, прочнее и дешевле прусских, что, как мы видели, пришлось совершенно запретить ввоз первых в Пруссию, чтобы не делать подрыва местным промышленникам. Но это запрещение обходилось страшною контрабандой, которой не могли искоренить никакие строгие меры законодательства.

Экономическая отсталость влекла за собою общую бедность страны. По вычислениям Дитерици, перед роковым для Пруссии 1806 годом средний доход населения, в самых лучших случаях, не простирался выше 16—25 талеров на человека.

Австрия того времени находилась на еще более отсталой степени хозяйственного развития, и только некоторые мелкие государства— или, вернее, только некоторые части некоторых мелких государств— поднимались несколько над низким уровнем национально-экономической культуры Германии.

Таковы были рессурсы немецкого народа в период, непосредственно предшествовавший войнам 3-й и 4-й коалиции. Известно, какой исход имели эти войны. Аустерлиц, Иена и Эйлау сделали Наполеона владыкою Германии. Для французской буржуазии не могло быть лучшего случая расширить сбыт своих товаров. И вот, вместе с вторжением французских войск в немецкие пределы, совершается наплыв французских товаров в завоеванные местности. В начале декабря 1806 года французы требуют пропуска всех французских товаров с оплатою невысокой таможенной пошлиной во все занятые наполеоновской армией части Пруссии. Напрасно прусское правительство ставит завоевателям на вид, что туземная промышленность не сможет вынести конкуренции французских фабрикатов. Напрасно доказывает оно, что берлинские фабрики держались до сих пор лишь благодаря покровительственному тарифу, с падением которого население окончательно обнищает и фабричные рабочие пойдут по миру. Напрасно также старается оно подействовать на корыстолюбие завоевателей, говоря, что от понижения таможенных пошлин потеряет само же временное французское правительство, в пользу которого собирались таможенные пошлины в завоеванных местностях. Победоносные полководцы буржуазной Франции отвечают, что ввоз в страну французских товаров представляет «естественное следствие» завоевания. После долгих споров и пререканий, французские товары получают свободный доступ в занятые завоевателями местности, с платою лишь небольшой пошлины.

Таким образом, рядом с политическою борьбою правительств шла экономическая борьба народов или, вернее, тех слоев французского и немецкого народов, в руках которых и до сих пор сосредоточиваются средства производства. Рядом с борьбою армий шла борьба фабрикантов; рядом с соперничеством полководцев шла конкуренция товаров. Французской буржуазии нужно было овладеть новым рынком; немецкая—всеми силами старалась отстоять тот, который был в ее руках, благодаря покровительственному тарифу. Это обстоятельство, в связи с оборотом, принятым международной торговлей после падения континентальной системы, имело огромное влияние на настроение умов в Германии, когда, убедившись в невозможности остаться при старых порядках, немецкие правительства взялись, наконец, за реформы. Первый почин в деле преобразования принадлежал, как известно, прусскому королю Фридриху-Вильгельму III.

III.

В сентябре 1807 года Гарденберг представил королю записку о преобразовании государства. Он исходил в ней из того положения, что мировые события и судьбы народов совершаются по известному плану и что задача правительств заключается в введении мирным путем преобразований, требуемых духом времени. Государства, общественный строй которых удовлетворяет требованиям духа времени, тем самым приобретают, по мнению Гарденберга, огромную силу и устойчивость. В раз'яснение и подтверждение своей мысли знаменитый государственный человек ссылался на пример Франции. Только что пережитая ею революция дала новый толчок ее развитию, разбудила дремавшие силы страны, вместе с отжившими учреждениями уничтожила старые предрассудки и дала французскому народу силы с успехом бороться против коалиционных армий европейской реакции. Всего ошибочнее и опаснее казалось Гарденбергу мнение, что революцию можно предотвратить упорным отстаиванием старых порядков и строгим преследованием всего нового. Рано или поздно государство должно будет подчиниться требованиям времени или придет в окончательный упадок. Поэтому Гарденберг желал «революции в хорошем смысле слова» или, иначе говоря, широких реформ сверху.

Ничего не могло быть разумнее и своевременнее этих требований. Записка Гарденберга представляла собою вполне верное отражение в ясном уме знаменитого канцлера тогдашних нужд и потребностей Пруссии. Старый, полуфеодальный строй Германии доказал полную свою несостоятельность, когда ему пришлось столкнуться с обновленною революционной грозою Францией. Военные расходы, уплата контрибуций, необходимость содержать громадную оккупационную французскую армию,—все это требовало огромного напряжения экономических сил страны, а между тем они пришли в полное истощение и, скованные феодальными путами, подавали очень плохую надежду в будущем. Главный источник доходов страны—земледелие—был в упадке, многие поля лежали необработанными, во многих имениях скот был совершенно уничтожен. Промышленность страдала, как мы видели, от конкуренции Франции; наконец, торговля, и прежде находившаяся в зачаточном состоянии, сильно терпела от континентальной системы, лишившей ее возможности сбывать в Англию хлеб—главный предмет вывоза тогдашней Пруссии.

Только немедленные и как можно более широкие реформы могли возродить и оживить упавшие экономические силы государства.

Но как взяться за эти реформы? По какому плану их совершить? Каких перестроек и поправок в государственном здании Пруссии требовал «дух времени», к которому апеллировали передовые люди Германии?

Пока вопрос оставался еще в области общих теоретических решений, всем мыслящим людям Германии казалось, что на него возможен только один ответ. Передовые страны Запада, Англия и Франция, являлись лучшими образцами для подражания. Они были могущественны и богаты, их промышленность и торговля находились в цветущем, по тогдашнему времени, состоянии. Над их общественною жизнью не тяготело бремя мелочной регламентации; частной инициативе граждан была предоставлена значительная свобода. Естественно было поэтому, что теоретики капитализма находили себе горячих адептов в Германии. «Богатство народов» Смита было переведено на немецкий язык еще в конце XVIII столетия, и молодое поколение германской интеллигенции пропитывалось теориями свободной торговли и государственного невмешательства. Люди, занявшие в штейно-гарденберговский период и по окончании наполеоновских войн важные места на государственной службе, все в большей или меньшей степени принадлежали к последователям шотландского экономиста. Сам прусский король был сторонником свободы торговли и говорил, что его «приводят в ужас» многотомные тарифы таможенных и акцизных сборов.

Практическая жизнь скоро, однако, положила предел немецкому «западничеству» или, по крайней мере, вынудила его на компромиссы, отступления и оговорки. И хотя в пятилетний период 1807—1812 г.г. ни одна отрасль государственной жизни и народной экономии не осталась без реформ «в духе времени», так горячо рекомендованных Гарденбергом, хотя мотивировка почти всех тогдашних правительственных эдиктов напоминала собою политико-экономические трактаты в духе Адама Смита, но именно по вопросу о свободной торговле и потребовала практическая жизнь весьма серьезных уступок. Мы видели уже, как солоно пришлось немецким фабрикантам «естественное следствие» французского завоевания, т.-е. ввоз в Пруссию французских товаров. Когда, вслед за об'явлением войны 1813 года, прусские промышленники избавились, наконец, от своих французских конкурентов, у них явились новые, еще более опасные противники. Падение континентальной системы открыло английским товарам доступ на европейские рынки.

Огромное количество этих товаров наводнило Пруссию. Дешевизна их, особенно хлопчатобумажных изделий, делала конкуренцию с ними невозможною для местных производителей при той невысокой пошлине, которою были обложены теперь товары дружественных и нейтральных государств. Под влиянием жалоб прусских фабрикантов правительство скоро увидело себя вынужденным отказаться от своих фритредерских симпатий и ограничить ввоз в Пруссию, по крайней мере, хлопчатобумажных изделий.

Не довольствуясь этою временной уступкой правительства, прусские промышленники стремились оградить себя более прочными законодательными постановлениями против иностранной конкуренции. И чем более становилось известным, что правительство хочет принять политику свободной торговли, тем сильнее обнаруживалась реакция против нее прусской промышленной буржуазии. В особенности берлинские и силезские фабриканты опасались низких пошлин на иностранные товары. Они требовали, напротив, очень высокого тарифа, частью совершенного запрещения ввоза иностранных товаров. В этом смысле они вели очень деятельную агитацию и подавали петиции правительству. Назначенная по этому поводу комиссия высказалась в их пользу. Она нашла, что положение и интересы прусской промышленности делали невозможным принятие политики свободной торговли. Принципы последней могли быть проведены в жизнь, по мнению комиссии, лишь постепенно и с большою осмотрительностью. На доводы противников свободного обмена, утверждавших, что государству невыгодно производить товары, которые оно может дешевле купить за границей, возражали, что это справедливо только при известных условиях. Если бы дело шло о возникновении новых отраслей промышленности, то по отношению к ним вышеприведенный довод имел бы полную силу. Но когда речь заходит о затраченных уже капиталах, о более или менее привившихся уже в стране промышленных предприятиях, то оставлять их беззащитными ввиду иностранной конкуренции значило бы подвергать интересы государства, предпринимателей и рабочих слишком тяжелому испытанию.

С своей стороны, торговый слой прусской буржуазии находил более сообразным с принципами «науки», «справедливости» и «государственных»,—а главное, разумеется, своих собственных,—интересов—предоставление торговле возможно более широкой свободы. Интересы и мнения этого слоя нашли энергичную поддержку как в меньшинстве комиссии, так и в государственном совете.

Закон 26-го мая 1818 года «о пошлинах на ввоз и потребление

иностранных товаров и о торговых сношениях между провинциями государства» явился равнодействующею указанных течений. «Этот закон,—говорит Мориц Мейер,—создал экономическое единство Пруссии... и поставил ее в совершенно новое положение к иностранцам, потому что хотя в основание торговых сношений с другими странами и был принят принцип свободной торговли, однако при этом было обращено серьезное внимание и на национальные интересы». Эти интересы, которые были, как мы видели, прежде всего интересами прусской промышленной буржуазии, и теперь охранялись ввозными пошлинами.

Мы остановились на этой странице из экономической истории Пруссии потому, что ее правительство было тогда более других склонно понимать требования «духа времени» и делать ему уступки. В общем экономические отношения остальной Германии представляли знакомую уже нам из примера Пруссии картину. Разница заключается лишь в том, что указанная нами противоположность интересов промышленного и торгового слоев буржуазии нашла свое выражение в экономическом антагонизме различных частей Германии. Так, например, когда обнаружилась необходимость принятия однообразной торговой политики на пространстве всей раздробленной Германии и началась агитация в пользу общегерманского таможенного союза, то промышленные части Германии, как и следовало ожидать, стояли за покровительственный тариф, между тем как северные, торговые, государства отстаивали свободу торговли и отказывались примкнуть к проектировавшемуся союзу.

Таковы были положение, нужды и потребности немецкой промышленности в эпоху возникновения самостоятельной экономической литературы в Германии. С одной стороны, жизнь настойчиво требовала реформ, в духе завоеваний французской революции, и отказа от старой меркантильной системы. Но интересы немецкой промышленности нуждались в то время в охране и в поддержке со стороны государства против конкуренции более передовых наций, которые, вооружившись лучшими способами производства, с удовольствием готовы были, по совету Тюрго, «забыть, что есть политические государства, отделенные одно от другого и различно организованные». Немецкая буржуазия выросла уже из помочей меркантильной системы, но отнюдь не прочь была опираться на руку покровительственного тарифа. Отсюда—осторожное отношение к рекомендованной Смитом и Рикардо экономической политике, отрицание абсолютного ее значения и повсеместной применимости. Сама жизнь указывала на необходимость пересмотра «британских

преданий» в экономической науке и перекройки ее теорий по росту тогдашней буржуазии.

Этот пересмотр «британских преданий» взял на себя Фридрих Лист, получивший за это почетные титулы «Лютера экономической науки», «величайшего экономиста Германии» и т. д., и т. д., чуть не до «отца отечества» включительно. Сочинения Ф. Листа, в которых, как в зеркале, отразились состояние и нужды современной ему германской промышленности, представляют собою первую попытку систематической критики классической политической экономии. Критика его оказалась, однако, весьма поверхностной и односторонней.

IV.

Все главные положения «*Национальной системы политической экономии*» тесно связаны с учением о торговой политике, служащим центром, вокруг которого группируются исследования «величайшего из немецких экономистов». По мнению Фр. Листа, промышленное развитие каждой страны проходит через несколько фазисов, из которых каждый требует особой торговой политики.

Сначала земледелие получает толчок благодаря ввозу заграничных мануфактурных товаров и вывозу земледельческих продуктов за границу. Потом, рядом с ввозом иностранных товаров, в стране появляются зачатки самостоятельной промышленной деятельности. Развиваясь далее, местная промышленность начинает доставлять продукты в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Страна перестает нуждаться в иностранных продуктах и тем самым избавляется от экономической зависимости по отношению к другим государствам. Наконец, четвертый, высший фазис промышленного развития каждой страны характеризуется вывозом мануфактурных изделий за границу и ввозом сырых продуктов извне.

Соответственно этому каждая страна должна, по мнению Листа, начинать с свободной торговли, чтобы путем обмена с богатыми промышленными нациями возбудить свою экономическую самодеятельность. Затем правительство должно мало-по-малу ввести покровительственный тариф, чтобы дать национальной промышленности возможность и время окрепнуть для борьбы на всемирном рынке. Как только система «промышленного воспитания нации» принесла эти желанные плоды, снова делается необходимым возврат к свободной торговле и принципам государственного невмешательства.

Английская школа, имевшая, как мы видели, немало последователей и в Германии, налегла, главным образом, на то обстоятельство, что покровительственный тариф ложится тяжелым бременем на интересы потребителей, принося пользу лишь ограниченному кругу промышленников. Чтобы устранить это главное возражение сторонников безусловно свободной торговли, Листу необходимо было указать на такие последствия покровительственной системы, которые могли бы вознаградить временные потери потребителей. Это был вопрос не только теоретической, но и практической важности, так как Германия того времени нуждалась еще, по мнению Листа, в охране своего внутреннего рынка от иностранной конкуренции.

Отстаивая свое учение, Лист упрекает смитовскую школу в том, что она занимается лишь индивидуумами и частными хозяйствами, забывая о нации, которая стоит между индивидуумом и человечеством и является представительницей самостоятельной хозяйственной жизни. Богатство этой коллективной хозяйственной единицы зависит, по мнению Листа, не столько от количества находящихся в ее распоряжении меновых ценностей, сколько от развития ее производительных сил. В прямой пропорциональности с этим развитием находится способность страны дать средства существования более или менее густому населению. Чем более высокой степени развития достигают производительные силы страны, тем более густое население способна она выдержать. Так увеличивается, например, эта способность в земледельческой стране при переходе части ее населения к промышленному труду. Анализ этого явления ведет Листа к вопросу об издержках на перевозку товаров и о возможном их сокращении.

В международной торговле издержки перевозки оплачиваются, по мнению Листа, той страною, которая вывозит свои сырые произведения и ввозит мануфактурные изделия из-за границы. Вывод отсюда тот же, что из всех других исследований Листа: Германия должна освободиться от экономической зависимости по отношению к более передовым странам; она должна перейти в более высокий фазис промышленного развития и обрабатывать свое сырье дома. А для этого опять-таки «нужно разрушить Карфаген», нужно избавить германских промышленников от иностранной конкуренции и создать им более широкий и свободный внутренний рынок, соединяя отдельные немецкие государства в один обще-германский таможенный союз.

Этот постоянный возврат к практическим нуждам и потребностям немецкой буржуазии и это подыскивание научных аргументов в пользу

известных законодательных мероприятий сделали то, что имя Листа, вопреки мнению его поклонников, имеет гораздо более значения как имя талантливого и образованного агитатора в пользу таможенного союза, чем как имя самостоятельного критика рикардо-смитовской школы.

В этом последнем отношении заслуга автора *«Национальной системы политической экономии»* ограничивается указанием на «относительное» значение открытых предшествовавшими экономистами законов народного хозяйства.

Французские и английские экономисты ведались лишь с «абсолютными», вечными истинами. Они отыскивали законы того «естественного порядка вещей», который представлялся им гармоническим сочетанием свободы и справедливости, личной выгоды и общественной пользы. Законы этого идеального порядка вещей были, по их мнению, применимы ко всем человеческим обществам, на всех стадиях их развития. Только невежество и вытекающее из него неумелое законодательство мешают людям осуществить этот для всех одинаково выгодный общественный строй. «Все люди и все области человеческие,—писал глава физиократов Кенэ,—подчинены этим высшим законам (законам Естественного Порядка), установленным верховным существом; эти законы неизменны и неотвратимы и лучшие из всех возможных законов. Поэтому они одни могут составить основу самого совершенного правительства и главное руководящее правило для положительных законов» [1]).

С своей стороны, Тюрго замечает, что «тот, кто не забудет, что существуют политические государства, отделенные одно от другого и различно организованные, никогда не будет в состоянии хорошо обсудить какой бы то ни было вопрос политической экономии» [2]).

В противоположность этому, Лист энергически настаивает на хозяйственных особенностях различных государств и ограничивает сферу действия «неизменных и неотвратимых законов» своих предшественников известными фазисами развития народного хозяйства. Принципы экономической политики, закон народонаселения, самое понятие о богатстве страны теряют у него «абсолютное» значение и становятся весьма «относительными».

Это признание необходимости изучения экономических явлений в их историческом развитии представляет, во всяком случае, значитель-

[1]) Quesnay, „Le droit", p. 53, édition Guillaumin, Paris 1846.

[2]) Цитировано у В. Скаржинского, „Ad. Smith als Moralphilosoph, Schöpfer der Nationalökonomie", S. 256.

ный шаг вперед в истории политической экономии. И если новый метод не дал, в руках «историко-реалистической» немецкой школы, тех результатов, которых можно было от него ожидать, то причина этого лежит в положении, занятом этой школой по отношению к важнейшим общественным вопросам ее времени. Неудобства этого положения для об'ективного исследования явлений не лишили исторического метода его важного и плодотворного значения. Но, не забегая вперед, посмотрим, какой вклад внесла в науку новая «историко-реалистическая» школа и насколько она подвинула вперед разработку и критику классической экономии.

V.

Почва, породившая «величайшего экономиста Германии», была настолько подготовлена к «реформации», что голос Листа не мог остаться одиноким. У него нашлись последователи, нашлись товарищи по науке, одновременно с ним пришедшие к тем же выводам. Нашлись ученые, как Вильгельм Рошер, утверждавшие даже, что в учениях Листа нет ничего оригинального и что все сказанное им говорилось уже ранее в немецких университетах [1]). Вокруг знамени «экономической реформации» группируется целая фаланга патентованных экономистов, и к концу пятидесятых годов «историко-реалистическая» школа становится прочною ногою в немецких университетах. Она имеет свои журналы, создает целую литературу. Сущность ее положений в этот период ее развития может быть резюмирована следующим образом.

«Историко-реалистическая» школа рассматривает народное хозяйство, как одну из сторон народной жизни, тесно связанную с общим историческим развитием данного народа и специальными условиями его существования. Эти специальные условия определяют собою направление хозяйственной деятельности и распределение экономических сил нации. К их числу относится, прежде всего, территория данного государства. Она составляет данное самой природой основание, определяющее как род, так и успешность хозяйственной деятельности нации.

Влияние климата, распределение вод, свойства почвы, величина данной территории, густота ее населения—все эти моменты обусловливают собою весьма важные различия в экономическом положении народов,—различия, которые сглаживаются иногда весьма значительно, но никогда не могут быть уничтожены окончательно.

---

[1]) См. „Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus", Dühring'a, стр. 368—369.

В теснейшей связи с естественными условиями данной местности стоит природа людей, ее населяющих, свойства «национального человека». Само собою понятно, что экономические успехи народа определяются его духовными и физическими свойствами. Расовые особенности, величина мускульной силы, умственные способности, нравы, обычаи и привычки оказывают огромное влияние на экономические отношения.

Все это изменяется с течением времени, влияние которого испытывают даже физические свойства страны. Крупные национально-политические движения сопровождаются, обыкновенно, успехами в области экономической жизни. Затем следуют периоды реакции, ослабления пульса экономической и политической жизни. Короче сказать, экономическая жизнь народов отражает в себе колебательные движения человеческой культуры. Представители «историко-реалистической» школы разделяют отчасти только то мнение, что, под влиянием постоянно усиливающихся международных сношений, условия экономической деятельности культурных народов становятся все более и более сходными. Экономисты этой школы не признают возможности полного уничтожения национальных различий в экономической жизни народов. Некоторые из заметных ее представителей держатся даже того убеждения, что указанные различия, с течением времени, увеличиваются в своей интенсивности. Так, например, Книс думает, что возрастание национальных особенностей в экономике народов необходимо соответствует культурному прогрессу.

Все указанные особенности, к которым нужно прибавить еще различия в политическом строе народов, в их религии, в организации церкви и т. п., должны быть приняты во внимание, по учению «историко-реалистической» школы, при исследовании экономических явлений. Экономическая наука должна отказаться от дедуктивного метода старой школы и устроить свое здание не на отвлеченных положениях о свойстве человеческой природы, но на опыте и наблюдении. Она должна сделаться наукой индуктивной и черпать свой материал в данных статистики и истории.

Пока исследования экономистов «историко-реалистического» направления оставались чисто методологическими, они обещали оказать большие услуги науке о народном хозяйстве. Отказ от завещанного XVIII столетием дедуктивного метода и стремление поставить науку на твердую почву положительного знания предвещали, казалось, огромный успех исследованиям новой школы. Признание же взаимной зависи-

мости различных категорий общественных явлений, в связи с изучением экономических отношений в историческом процессе их развития, должно было пролить новый свет на прочие отрасли социальной науки—историю права, политику, учение о нравственности. В этом отношении неважно было, как именно была понята взаимная связь различных сторон общественной жизни тем или другим представителем нового направления или даже всей школой в данный период ее развития. Трудная задача классификации и определения взаимной зависимости не тех или других единичных фактов, но целых категорий общественных явлений не могла быть решена скоро и безошибочно. В вышеприведенных общих положениях «историко-реалистической» школы читатель мог уже заметить много неточностей, промахов и недомыслия. Так, например, можно было бы сказать, что «свойства национального человека», которые, по мнению названной школы, определяют собою характер и спешность экономической деятельности данного народа, сами находятся в теснейшей зависимости от существующих в среде этого народа экономических отношений. В доказательство можно было бы сослаться на тот общеизвестный факт, что с изменением материальных условий жизни изменяются как физические «свойства» человека, его здоровье, сила, средняя продолжительность жизни, так и нравы, воззрения и привычки индивидуумов, обществ или общественных классов. Внутри одного и того же народа «свойства национального человека» неодинаковы на различных ступенях общественной иерархии. «Свойства» свободного, полноправного гражданина, патриция, средневекового дворянина, наконец, современного буржуа непохожи на «свойства» раба, плебея, крепостного крестьянина или бездомного пролетария. Разделение же общества на классы обусловливается причинами чисто-экономического свойства. Затем, можно было бы припомнить, что крупные национально-политические движения не только «*сопровождаются*» успехами в области экономической жизни. Гораздо важнее этого для философа истории то обстоятельство, что ни одно сколько-нибудь заметное национально-политическое движение не являлось без предварительных изменений в экономических отношениях данного народа,—изменений, направлением которых определялись характер и направление политической жизни. Примером может служить история третьего сословия. Политические движения средневековых городских общин, французская революция—все эти весьма крупные национально-политические движения были возможны только потому, что им *предшествовал* экономический переворот, поставивший буржуазию в новое и более благоприятное по-

ложение по отношению к прочим общественным силам средневековой Европы.

Наконец, читатель мог бы сказать, что в историческом процессе борьбы за существование целых обществ или различных общественных классов имеют шансы явиться и выжить только такие правовые понятия и институты, которые являются наиболее выгодными для целого общества или сильнейшей, руководящей его части. А так как никакой правовой институт не мог быть выгодным для господствующего или стремящегося к господству класса, если он препятствовал обеспечению и возрастанию материального его благосостояния, то нужно признать, что ключ к пониманию правовой истории общества лежит в экономической его истории, а не наоборот. В простейшей и самой общей ее форме, мысль эта выражена еще у Аристотеля, который замечает, что «люди устраивают свой образ жизни сообразно своим потребностям и способу их удовлетворения». Можно было бы найти и еще целый ряд возражений, которые, как и вышеприведенные, показали бы, что «историко-реалистическая» школа весьма односторонне и поверхностно исполнила взятую на себя задачу определения взаимной зависимости различных сторон общественной жизни. Но, повторяем, важен был принцип, принятый названною школой, ошибки же ее были делом весьма поправимым. Стоя на правильном пути исторического исследования, молодое поколение экономистов новой школы легко могло бы исправить ошибки своих предшественников.

Неудавшееся Рошеру, Гильдебранду или Кнису могло бы быть исполнено Адольфом Вагнером, Лавелэ или фон-Шелем, если бы сами общественные отношения западно-европейских обществ не помешали «историко-реалистической» школе сохранить то спокойное и беспристрастное отношение к предмету исследований, которое, как мы видели, характеризовало Рикардо и его последователей. А они именно помешали ей в этом, приняв совершенно новое направление.

Это новое направление в истории западно-европейских общественных отношений, роковое для «историко-реалистической» школы и буржуазной экономии вообще, выражается двумя словами: *рабочий вопрос*.

VI.

Эпоха, предшествующая возникновению «историко-реалистической» школы в Германии, может быть названа, с точки зрения экономической истории общества, эпохой споров между защитниками свободной

торговли и сторонниками покровительственного тарифа. Эти разногласия вызваны были к жизни,—как справедливо полагает Книс,—«разделением внутри третьего сословия, сделавшегося господствующим со времени революции, противоположностью интересов промышленного и торгового слоев, выразившеюся в девизах борющихся партий: покровительственном тарифе с одной стороны, свободной торговле—с другой».

Но это разделение интересов внутри названного сословия не помешало усилению его господства и влияния ни в самой Германии, ни в других более передовых странах Западной Европы. Буржуазия находилась тогда в восходящей части кривой своего движения по всемирно-исторической сцене. В Германии в то время не было еще и зачатков рабочего движения, в других странах оно ограничивалось незначительными вспышками и частными проявлениями неудовольствия рабочих той или другой местности, того или другого патрона.

Но мало-по-малу эти частные вспышки неудовольствия стали принимать более общий характер. Во Франции разражается восстание лионских ткачей, в Англии начинается движение чартистов, и в «сумасшедшем» 1848 году, когда буржуазия только что готовилась отдохнуть на лаврах своей окончательной победы над реакционными партиями, рабочий вопрос отравляет ее торжество и настоятельно требует своего разрешения. Он становится злобою дня в республиканской Франции, его влияние сказывается на всех сторонах ее политической и духовной жизни. Из наступательного положения, которого держалась буржуазия по отношению к высшим сословиям, ей приходится стать в оборонительное—по отношению к пролетариату. Кровавое июньское столкновение не могло, разумеется, разрешить противоречия интересов этих двух классов. Оно повело лишь к усилению существовавшего между ними антагонизма.

Торжество буржуазии куплено было,—как писал Маркс в июле того же года,—«исчезновением всех иллюзий февральской революции, разложением старой республиканской партии, разделением французской нации на две враждебные друг другу нации: нацию имущих и нацию работников».

Но дело не кончилось антагонизмом общественных классов. Подвигаясь вперед с возрастающей быстротою, развитие капитализма обнаруживало все новые и новые темные стороны этого способа производства. Промышленные и финансовые кризисы принимали все более широкие размеры, и каждый новый кризис оставлял далеко за собою все предшествующие по громадности причиненных им убытков. От этого

бича страдало не одно только четвертое сословие, но и сама буржуазия, к бедствиям которой западно-европейские парламенты, составленные из ее представителей, относились уже с гораздо бо́льшим вниманием. Каждый раз, когда разражался кризис и г.г. финансистами и предпринимателями овладевала паника, еще более ухудшавшая и без того расстроенное положение дел, в парламентах поднималась тревога. Произносились речи, издавались декреты, государство старалось восстановить кредит, оживить упавшую торговлю. Но так как, говоря словами того же Маркса, нет законодательного собрания, нет короля, который мог бы крикнуть «стой» всемирному промышленному кризису, то буржуазные государственные деятели оказывали очень немного помощи буржуа-предпринимателям.

«Временное стеснение», — как назвал сэр Роберт Пиль кризис 1847 года,—стало периодическим. И эта периодически возвращающаяся болезнь промышленных обществ приводила к удивительным противоречиям. Товары переполняли магазины и склады и продавались за ничто, между тем как большинство населения, рабочие, оставшиеся без занятий именно потому, что рынки были переполнены, терпели невероятную нужду и угрожали общественному спокойствию. Так оправдывались слова Фурье,—«в цивилизации бедность рождается из самого изобилия». С другой стороны, эта «рождающаяся из самого изобилия» бедность рабочих классов вредно отзывалась на состоянии рынков. «Не уменьшайте благосостояния низших классов,—советовал Кенэ в своих «Правилах» [1]),—потому что они не будут иметь возможности содействовать потреблению». Но каждый капиталист, стремясь увеличить свою прибыль, тем самым необходимо должен был понижать заработную плату, т.-е. уменьшать покупательную силу рабочих и ограничивать «потребление» внутри страны.

Все это, вместе взятое, создавало такое положение дел, над которым задумывались люди самых различных направлений, самого противоположного образа мыслей. В 1850 г. бывший прусский министр земледелия Карл Родбертус-Ягецов следующим образом охарактеризовал его в своих «Письмах к Кирхману»: «Пауперизм и торговые кризисы—таковы, стало быть, жертвы, которыми заплатило общество за свою свободу. Новые правовые учреждения освободили его от прежних цепей, оно вступило в обладание всеми своими производительными силами;

[1]) Quesnay, Maximes générales du gouvernement économique d'un Royaume Agricole, p. 99, maxime XX.

механика и химия отдали в его распоряжение силы природы, кредит подает надежду на устранение других препятствий; словом, материальные условия, необходимые для того, чтобы свободное общество сделать также и счастливым, находятся на-лицо,—а между тем, смотрите, новое бедствие заняло место старого бесправия. Рабочие классы, которые прежде приносились в жертву юридической привилегии, отданы во власть привилегии фактической, и эта фактическая привилегия обращается, по-временам, против самих привилегированных. Вместе с ростом национального богатства растет обеднение рабочих классов; чтобы воспрепятствовать удлинению рабочего дня, является надобность в специальных законах; наконец, численный состав рабочего класса увеличивается в пропорции большей, чем численность всех остальных классов общества».

Так смотрел на современные ему отношения человек, который говорил, что его теории составляют лишь последовательный вывод из «введенного в науку Смитом и еще глубже обоснованного Рикардо учения о ценности». Как же отразились они на развитии «историко-реалистической» школы?

После 1848 года в экономической литературе всей западной Европы замечается двойственное течение, вызванное обрисованным выше историческим развитием общества. Представители одного направления продолжали восхвалять преимущества теперь уже господствовавшего «естественного порядка» и отрицать противоположность интересов предпринимателей и рабочих. Экономические побасенки Бастиа могут считаться типическим литературным выражением этого «гармонического» направления. Экономисты другого оттенка, желавшие «быть более чем софистами и сикофантами господствующих классов, старались примирить политическую экономию капитала с недавно еще бывшими в пренебрежении требованиями пролетариата» [1]). К этому направлению принадлежал известный русским читателям Дж.-Ст. Милль. Ученые этого лагеря признавали, что не все идет к лучшему в капиталистическом обществе; они понимали, что обеднение рабочих классов грозит серьезными замешательствами западно-европейским государствам, и старались найти меры, которыми можно было бы предупредить дальнейшее развитие пауперизма. В этих попытках им пришлось отказаться от многих из положений их предшественников.

---

1) Das Kapital, von K. Marx, S. 816.

В числе выброшенных за борт заповедей старой школы было знаменитое правило «laissez faire, laissez passer». Государственное вмешательство признавалось не только невредным, но даже необходимым для правильного и спокойного развития общества.

«Историко-реалистическая» школа, с самого своего возникновения отрицательно относившаяся к учениям школы свободной торговли, не могла, разумеется, примкнуть к первому из выше указанных направлений, не могла ожидать исцеления очевидных для всех общественных недугов от применения никогда не разделявшихся ею принципов государственного невмешательства. Тем более, что сами события заставили западно-европейские правительства выйти из нейтрального положения по вопросу об отношениях работодателей к рабочим. Пришлось ввести законы, регулирующие эти отношения, ограничить женский и детский труд и даже продолжительность рабочего дня взрослых работников. «Историко-реалистическая» школа находила в этом полное оправдание своего учения об «относительности» догматов классической экономии. К этому присоединилось еще и то обстоятельство, что бессилие софизмов «гармонического направления» слишком уже бросалось в глаза, и негодность «научных» положений Бастиа, совершенная безосновательность его розовых взглядов были окончательно разоблачены его противниками.

Оставался другой способ соглашения общественных противоречий, Эклектизм Джона-Стюарта Милля как нельзя более совпадал с принятым «историко-реалистической» школой направлением. Молодые отпрыски этой школы, названные впоследствии «катедер-социалистами», не только не восставали против реформаторских тенденций английского философа, но многие пошли гораздо далее его по этому пути.

Английский ученый все-таки был духовным сыном экономистов-классиков, учеником Смита, Мальтуса и Рикардо. Он не мог и не хотел отказаться от основных научных положений своих предшественников. Теории ценности, ренты, распределения и заработной платы Рикардо, учение о народонаселении Мальтуса—служили фундаментом экономических воззрений Милля, исходным пунктом всех его исследований. «Историко-реалистическая» школа, напротив, была давно уже свободна от «британских преданий». Ее не связывали ни установившиеся приемы и догматы классической экономии, ни авторитет того или другого из ее представителей. В своем реформаторском рвении молодое поколение экономистов «историко-реалистического» направления решилось

подвергнуть критике все положения «манчестерцев», начать сызнова постройку всего здания экономической науки.

Насколько удалось им это смелое предприятие, читатель увидит в следующих главах.

VII.

«Новая политическая экономия,—говорит Эмиль де Лавелэ,—иначе чем старая понимает основания, метод, задачу и выводы науки. Катедер-социалисты исходят из совершенно иной точки отправления, чем ортодоксальные экономисты» [1]). Прежде всего, разумеется, это различие сказывается по вопросу о роли и значении государства в экономической жизни народа. «Экономисты новой школы не питают по отношению к государству того ужаса, который заставлял их предшественников называть государство то язвою, то необходимым злом. Для них, напротив, государство — представитель национального единства — является органом высшего права, орудием справедливости. Эманация живых сил и духовных стремлений страны, государство обязано благоприятствовать ее развитию во всех направлениях. Как это показывает история, оно есть могущественнейший фактор цивилизации и прогресса» [2]).

С своей стороны, немецкий последователь историко-реалистической школы, д-р Мориц Мейер, находит, что «государство, как стоящая выше частных интересов сила, обязано активно вмешиваться в борьбу интересов повсюду, где она угрожает благу общества» [3]).

«Как воплощение чувства общественности, государство должно пополнять вытекающие из эгоизма недостатки и несовершенства экономической жизни» [4]).

Вопрос о значении государства в экономической и вообще культурной деятельности нации до такой степени важен для оценки существующих в обществе потребностей и стремлений, что мы позволим себе остановить внимание читателя на том решении этого вопроса, которое заключается в вышеприведенных выписках. «Государство является органом высшего права, орудием справедливости»... «воплощением чувства общественности». Все это не только очень хорошо сказано, но и знакомо, вероятно, читателю из сочинений писателей, не имевших ничего общего с историко-реалистической школою. Впрочем, не все. Мно-

---

[1]) Le socialisme contemporain par Em. de Laveleye, p. 2.

[2]) Ibid., p. 8.

[3]) Die neuere Nationalökonomie in ihren Hauptrichtungen, S. 168.

[4]) Ibid., S. 170.

гое из того, что было ясно под пером этих писателей, стало темным и сомнительным в редакции «новых» экономистов. Известно, что «история показывает» часто именно то, что людям хочется в ней увидеть. Нельзя поэтому ограничиваться бессодержательными ссылками на историю вообще, нужно было несколько подробнее выяснить и доказать вышеприведенные мысли, составляющие, по мнению самого Лавелэ, существенный пункт разногласия «старой» и «новой» школ. Нужно было внимательнее рассмотреть вопрос о том, при каких обстоятельствах и в каких случаях государство является и являлось «фактором цивилизации и прогресса». Нам кажется, что такое служение делу прогресса со стороны государства было далеко не непрерывным. Нельзя же, например, признать, что римское государство являлось «могущественнейшим фактором цивилизации и прогресса» в то время, когда оно обрушивалось преследованиями на первых христиан. Не мешало бы также несколько вразумительнее выразиться о «высшем праве» и «справедливости», «органом и орудием» которого является государство. Едва ли современный европеец признает, что римское, построенное на рабстве государство служило «орудием справедливости». Вообще, по вопросу о «высшем праве» и «справедливости» нужно остановиться на чем-нибудь одном. Или разбираемые нами авторы должны признать, что вплоть до современного, основанного на наемном труде буржуазного государства все предшествовавшие формы государственной организации, как покоившиеся на рабстве и крепостничестве, были вопиющим нарушением «справедливости» и отрицанием «высшего права». В таком случае они должны признать, что «история показывает» совершенно противоположное тому, что видит в ней Лавелэ. Или они должны согласиться, что «высшее право» и «справедливость», как понятия вполне относительные, имеют для современного европейца совершенно другое содержание, чем имели они, например, для Аристотеля или Платона, то-есть что можно говорить лишь о свойственном той или другой эпохе понятии о «высшем праве» и т. д., а не о «праве» и «справедливости» вообще, без всякого отношения к месту и времени. Историко-реалистической школе, так восстающей против «абсолютных» положений и законов старой школы, едва ли позволительно было бы не признавать «относительности» самых понятий о «праве» и «справедливости». А раз признана эта относительность, немудрено припомнить и то обстоятельство, которое «история показывает» нам с такой наглядностью, что новые нравственные учения, новые понятия о «высшем праве» и «справедливости» не сразу прокладывали себе пути в сознание всего обще-

ства и не сразу же государство становилось их «органом» и «орудием». Христианство, напр., добилось этого путем долгой и тяжелой борьбы с язычеством. Как обострялась по-временам эта борьба, можно видеть хотя бы из знаменитых «факелов Нерона».

В конце концов, новые учения действительно делали государство своим «органом» и «орудием», но это было тогда, когда известная часть общества видела в них выражение удобнейшего для себя общественного строя и находила в себе достаточно силы и энергии для их защиты. Отсюда следует, что государство не всегда являлось «орудием» современной ему идеи «высшего права», но лишь при известных условиях. Поэтому и в настоящее время можно ожидать этого от западноевропейских государств только условно, а вовсе не во всех возможных комбинациях общественных сил.

Это-то и забывают или, по крайней мере, недостаточно оттеняют экономисты «новой школы». Они делают при этом ошибку, подобную ими же указанной ошибке рикардо-смитовской школы. Еще Лист упрекал английскую школу в том, что она не видела никаких промежуточных звеньев между индивидуумом и человечеством, между частным хозяйством и хозяйством всего культурного мира, которое представлялось ей не более, как суммою индивидуальных экономических предприятий. Лист и историко-реалистическая школа утверждали, что между индивидуумом и человечеством стоит *государство*, как самостоятельный и живой экономический организм. Этому коллективному целому они приписывали различные свойства, признавали и признают за ним различные обязанности. Но нам кажется, что они до тех пор не выйдут из области бессодержательных фраз о «цивилизации и прогрессе», «праве и справедливости», пока не поведут своего анализа еще далее и не увидят, что коллективное целое—государство—далеко не представляется однородным. Напротив, в каждое данное время оно составляется из нескольких слоев, из нескольких сословий или классов, интересы которых стоят в большем или меньшем взаимном противоречии. Другими словами, между индивидуумом и государством стоит класс, положением которого определяется, в значительной степени, и положение индивидуума, его отношение к государству и отношение государства к нему. Если за подтверждением нашей мысли мы обратимся к тому, что «показывает история», то увидим, что только новейшее, так называемое *правовое* государство является юридически бессословным. Во всех же предшествовавших формах государственной организации разделение индивидуумов на касты, классы или сословия находило свое выражение

в весьма определенных и недвусмысленных юридических формах. Но юридическая бессословность правового государства не мешает фактическому его разделению на классы имущих и неимущих, предпринимателей и рабочих, буржуа и пролетариев. Экономическая зависимость одного из этих классов от другого отражается и в политической жизни западно-европейских государств. Писатель, который воззел в теорию примиряющую и водворяющую справедливость миссию государства, Лоренц фон-Штейн, признает, что экономическая зависимость одних от других ведет к тому, что высшие классы стремятся захватить в свои руки все пружины государственного управления, создает и в политической жизни «порядок зависимости неимущих от имущих». Этот порядок зависимости передается, по мнению Штейна, от родителей к детям; переход же из одного класса в другой все более затрудняется, по мере того, как экономически-самостоятельная деятельность, с развитием крупной промышленности, требует все большего и большего запаса средств.

Ввиду этого явившегося с первых же шагов истории факта подразделения общества на классы, стоящие в различных отношениях взаимной зависимости, неудивительно, что понятия о «высшем праве» и «справедливости» бывают по временам различны на различных ступенях общественной лестницы.

Каждая составная часть общества стремится устроиться по-своему, каждый класс отстаивает или стремится завоевать наивыгоднейшие для него условия существования. И нужно сознаться, что «орган высшего права»—государство—находилось бы в большом затруднении, какой из рекомендуемых ему видов «справедливости» должно осуществить оно в данное время, если бы только оно действительно существовало как нечто стоящее вне экономической иерархии классов и совершенно независимое от их интересов и стремлений. Но в том-то и дело, что в каждый данный момент исторического развития организация государства определялась отношением сил составных его частей. Если бы взаимное отношение этих сил оставалось неизменным, то и воплотившиеся в формах государственной организации идеи «права» и «справедливости» также не изменялись бы в своем содержании. Но история никогда не стоит на одном месте. Медленно и незаметно, но неуклонно и «неукоснительно» совершаются изменения в фактических отношениях сил различных общественных классов, пока, наконец, эти изменения не достигнут известной степени интенсивности. Но раз необходимая степень этих изменений достигнута—и только когда она достигнута—государственная

организация в свою очередь подвергается переустройству, становится воплощением новых идей и принципов. История третьего сословия может служить наглядным доказательством всего вышесказанного. Эта же история может убедить читателя, что буржуазия совершила бы самоубийство, если бы в период своей юности, в то время, когда еще только стремилась быть «чем-нибудь», она пришла к тем же взглядам, которые проповедует ныне Лавелэ с голоса историко-реалистической школы. Она и доныне осталась бы «ничем», если бы, проникнувшись убеждением, что государство есть «орган высшего права», в бездействии ожидала осуществления своих идеалов от феодального государства. Но такая ошибка возможна только в теории, в голове того или другого «ученого» или хотя бы целой когорты «ученых» известного направления. Уроки же практической жизни слишком дорого оплачиваются человечеством, чтобы оно могло забыть известное изречение—«в борьбе обретешь ты право свое». Третье сословие никогда не забывало этой истины, и только благодаря неутомимой, многовековой борьбе могло оно сбросить иго феодализма. Как бы по иронии судьбы, именно *историко*-реалистическая школа и забыла поучительную историю этой борьбы. Мы говорили уже выше и еще вернемся к вопросу о причинах, обусловивших недостаточно критическое отношение историко-реалистической школы к предметам ее исследований Теперь же, отметивши основную ошибку этой школы, состоящую в игнорировании повсюду отражающегося в политике расчленения общества на классы, мы перейдем к оценке других упреков, направляемых «новой политической экономией» по адресу ненавистного ей «манчестерства».

VIII.

В основании всех учений школы Смита-Рикардо лежало, как известно, то принятое еще физиократами положение, что в «естественном порядке», который они рекомендовали взамен феодально-меркантильного, каждый индивидуум, преследуя цель личного своего обогащения, способствует в то же время возрастанию благосостояния всей нации и каждого из ее членов. В «естественном порядке» солидарность должна была родиться из самого эгоизма, и такого рода солидарность естественно казалась самой прочной и ненарушимой. Не более полустолетия нужно было, чтобы поставить вне всякого сомнения ту истину, что в капиталистическом обществе не только обогащение одного индивидуума, но даже колоссальное возрастание богатства целого общественного класса уживается с обеднением большинства населения. С тридцатых годов нынеш-

него столетия вышеприведенное положение смитовской школы подвергалось таким ожесточенным нападкам, что историко-реалистической школе не нужно было особенного мужества, чтобы атаковать этот разрушенный бастион воздвигнутой старою школою крепости. И она действительно не замедлила напасть с этой стороны на «манчестерцев», но и здесь осталась верна своей обычной тактике, свойства которой имеют очень мало общего с строгим и последовательным научным анализом.

«Без сомнения,—говорит Лавелэ от имени «новой политической экономии»,—человек преследует свои интересы. Но не один, а несколько двигателей влияют на его душу и регулируют его действия. Рядом с эгоизмом существует еще чувство общественности, Gemeinsinn, выражающееся в образовании семьи, общины, государства. Человек не походит на животное, которое знает лишь удовлетворение своих нужд; он—существо нравственное, умеющее повиноваться долгу и под влиянием религиозного или философского убеждения жертвующее часто удовлетворением своих потребностей, благосостоянием, самою жизнью—родине, человечеству, истине, Богу. Ошибочно поэтому основывать целый ряд истин на том афоризме, что человек действует лишь под влиянием одного двигателя—личного интереса» (стр. 5).

Как и о всех почти положениях новой школы, по поводу этих слов Лавелэ приходится сказать, что с ними можно согласиться, но только с оговорками. Притом оговорок этих требуется так много, что заключающаяся в приведенных его словах доля истины теряет всякое значение в массе запутанных и противоречивых положений.

Люди, впервые ополчившиеся на смитовскую школу, были вполне правы, утверждая, что эгоизм не только не приносит тех золотых гор, которые насулили за него экономисты, но, напротив, порождает целый ряд бедствий, угрожающих общественному спокойствию. Но, указывая на эти бедствия, первые критики «естественного порядка» не думали ограничиться указанием на то, что в человеке, кроме эгоизма, существуют еще альтруистические побуждения. Они понимали, что если бы при данных общественных отношениях альтруизм мог служить достаточным противовесом человеческому эгоизму, то он предупредил бы ими же указанную общественную неурядицу, совершенно независимо от того, признает или отрицает его влияние известная часть писателей. Не могло же им притти в голову, что альтруизм не вмешивается в междучеловеческие отношения и не смягчает их темных сторон лишь потому, что экономисты оказывали до сих пор исключительное внимание его антагонизму—эгоизму. Они утверждали, напротив, что альтруи-

стические побуждения человеческой души не находят себе места в системе существующих экономических отношений и не найдут его, пока будут существовать эти отношения. В силу этого убеждения они требовали изменений в современном им экономическом строе общества и предлагали целый ряд проектов новых общественных отношений. Положим, в большинстве случаев проекты эти были наивны и неосуществимы, но исходная точка рассуждений их авторов—необходимость радикального изменения условий, в которые поставлена экономическая деятельность человека; эта точка зрения была и остается безупречной, так как построенная на конкуренции система частных хозяйств, действительно, ведет к самой ожесточенной борьбе за существование, вызывает и воспитывает в человеке самые эгоистические инстинкты.

Не так рассуждают экономисты этической школы. Они надеются, повидимому, что ряд помещенных в их трактатах похвальных отзывов об альтруизме разбудит дремавшее до сих пор в душе современного европейца чувство общественности, и это чувство уврачует все социальные недуги. Правда, оставаясь в сфере общих рассуждений, они еще признают, что довольствоваться одною проповедью невозможно. «Нужно,—говорит Лавелэ,—подавлять эгоизм, а не давать ему свободного поприща: в этом заключается прежде всего задача морали, затем государства—органа справедливости». Но и государство не всемогуще и не может из ничего сделать что-либо. «Подавить эгоизм» оно может только рядом целесообразных мероприятий. Какие же меры рекомендуют «государству—органу справедливости» бельгийский профессор и вся вообще историко-реалистическая школа? Трудно дать сколько-нибудь определенный ответ на этот неизбежный вопрос. Наш «этический» экономист, с такой важностью утверждавший, что «новая политическая экономия» умеет отличать «осуществимые реформы» от утопий, слишком, повидимому, увлекся преследованием этих последних «шаг за шагом» и позабыл указать хоть на одну из «осуществимых», по его мнению, реформ. В его весьма почтенной по об'ему книге есть целая глава, посвященная роскоши, по отношению к которой он является непримиримым и громит ее во всех ее проявлениях. Но в этой роли мелко-буржуазного проповедника он выступает «миссионером морали», а не реформатором. «Христианство право,—восклицает он:—богатство налагает на человека известные обязанности, richesse oblige. Те, которым достается чистый доход страны, должны употреблять свой избыток не на утонченне своих материальных наслаждений или возбуждение нездоровых инстинктов тщеславия и гордости, но на дела общественной

пользы, как это уже сделали многие американские граждане и европейские монархи». И едва читатель успевает притти в себя, едва успевает он отереть слезу изумления, как профессор-проповедник перескакивает от Иоанна Златоуста к Вольтеру и начинает возражать самому себе. «Как сказал еще Вольтер, не речи проповедников, не рассуждения экономистов заставят исчезнуть роскошь,—заявляет он,—а медленный и постоянный прогресс учреждений и законов». Остается только пожалеть, что эти слова Вольтера так поздно пришли на память нашему автору. Вспомни он их ранее, он не написал бы 59 страниц «рассуждений» о роскоши и, вероятно, с большею подробностью указал бы «изменения в законах и учреждениях», способные, по его мнению, уничтожить ненавистное ему явление. Но этого не случилось, и читателю приходится довольствоваться тирадами вроде следующих: «Не забудем, что все античные демократии погибли в междоусобиях. Та же опасность является перед нами и проявляется иногда в ужасных катастрофах... Ни один писатель не понял лучше Аристотеля ужасную проблему, вызываемую учреждением демократического режима. В своей замечательной книге, «Политике», он в одно и то же время указывает и опасность и лекарство. Опасность происходит от неравенства, лекарство состоит в распространении собственности. Когда каждый отец семейства сделается собственником маленького поля, дома, акции, облигации, ренты, нечего будет более бояться социальной революции. Нужно, следовательно, сообщать трудящимся классам с детства и в школе привычку к сбережению; сделать насколько возможно легким приобретение собственности; отменить те законы, которые приводят к ее концентрации в немногих руках, и, наоборот, установить такие, которые сделали бы ее доступной самому большому числу людей. Что касается до богатых классов, то они обязаны содействовать этому освободительному движению. Прилежание, любовь к полям, простота жизни, высокая нравственная и умственная культура—такие примеры нужно показывать народу» (стр. 480—481).

Помимо сомнительной параллели между древним, рабовладельческим, и современным, буржуазным, обществом, в этой тираде заслуживает внимания неопределенность выражений, в которых Лавелэ рекомендует свои «осуществимые реформы». Какие законы «способствуют концентрации собственности в немногих руках», какие «делают ее доступной самому большому числу людей»,—об этом «новый экономист» не говорит ни слова, а между тем

Das ist des Pudels Kern.

Судя по репутации Лавелэ, приобретенной им книгою о «Первобытной собственности», читатель мог бы, пожалуй, предположить, что наш автор имеет в виду общинное землевладение и производительные ассоциации, земледельческие и промышленные. Но такое предположение было бы ошибочным. Лавелэ вообще совершенно безнадежно смотрит на поземельную общину. «Менее чем через полстолетия,—говорит он,—когда железные дороги и новейшая промышленность разовьют богатство южных славян, прежнее равенство уступит место антагонизму между трудом и капиталом, как в наших западных странах... Тенденции настоящего времени оказываются смертельными для деревенских общин». Что касается производительных ассоциаций, то пользу их и осуществимость Лавелэ признает тоже с весьма большими оговорками. «Государственные ссуды—гибель рабочих товариществ... это факт констатированный: деньги, ссуженные государством, приносят несчастье». Это положение могло бы привести в восторг любого из «манчестерцев». Оказывается, что во многих, по крайней мере, практических случаях «новая» школа вовсе не так уже радикально расходится со «старой» и не менее последней «испытывает ужас» перед государственным вмешательством. Но чем же об'ясняется приведенный выше «констатированный факт»? «Тот, кто не сумеет скопить капитала сбережением, окажется еще менее способным сохранить его, употребляя его в дело. Именно благодаря стараниям накопить необходимый для их предприятия капитал члены товарищества приобретут коммерческую опытность, нужную для обеспечения их успеха» (стр. 138—139).

Таким образом, мы снова приходим к «сбережению», которое одно, повидимому, и в состоянии совершить обещанные нам чудеса, в виде «дома, акций, облигаций», принадлежащих «каждому отцу семейства». Как известно, Бастиа, «компрометировавший, по мнению Лавелэ, защиту общественного порядка», не говорил ничего, что могло бы итти вразрез с этой безобидной программой «нового экономиста».

Если, обсуждая вопрос о сбережении, как о панацее общественных зол, читатель вспомнит о законе заработной платы Тюрго-Рикардо, то этим он докажет только свое незнакомство с учениями историко-реалистической школы, по мнению которой закон этот—не более, как грубая ошибка «манчестерцев». Бóльшая часть современных экономистов,—жалуется Лавелэ,—считает влияния, регулирующие заработную плату, естественными законами, действие которых неотразимо, как действие законов физических явлений... Но это совершенно ошибочная точка зрения. Конечно, законы, регулирующие заработную плату,

являются «естественным» следствием данной общественной организации, существующих нравов и привычек, составляющих результат истории. Но факты и учреждения, следствием которых являются эти законы, суть факты, проистекающие из свободной воли человека. Создавшие их люди могут и изменить их, как они уже не раз делали в течение столетий, и тогда «естественные» следствия будут другие... Мы подчинены эгоистическим законам, но мы сами создаем законы общественные».

Оставим пока в стороне вопрос о том, каким образом «реализм» новой школы привел ее к отрицанию законосообразности общественных явлений и к установлению зависимости замечаемых в общественной организации изменений лишь «от свободной воли человека». Укажем, также лишь мимоходом, на то, что наш экономист-реалист смешал юриспруденцию с философией истории, писанные законы общества с законами, управляющими историческим развитием этого общества. Людям, воображающим, что им удалось указать хоть некоторые законы не из тех, которые «мы *создаем* сами», а из числа тех, под влиянием которых мы *создаемся* сами, этим людям после замечательного открытия Лавелэ оставалось бы только воскликнуть словами Фауста:

Da steh'ich nun, der arme Thor!
Und bin so klug, als wie zuvor.

К счастью, мы можем утешить их, напомнивши им, что есть, по крайней мере, один «констатированный факт», не зависящий от «свободной воли человека», а именно: «деньги, ссуженные государством, приносят несчастье»... рабочим товариществам, конечно, а не крупным акционерным компаниям. И, довольствуясь этим «фактом», посмотрим, при каких обстоятельствах могло бы измениться, по мнению Лавелэ, действие «железного и жестокого закона» заработной платы.

Бельгийский профессор охотно признает, что уровень заработной платы не может надолго *опуститься* ниже минимума, необходимого для удовлетворения самых насущных потребностей рабочего. «С этой стороны железный закон составляет несомненную действительность» (стр. 118). Что же касается до другой стороны этого закона, по которой уровень рабочей платы не может *возвыситься* надолго над указанным минимумом, то Лавелэ оспаривает ее самым энергическим образом. «Человек—существо свободное,—философствует он,—которое поступает не всегда одинаково и поведение которого изменяется его верованиями и надеждами, господствующими идеями и окружающими его учреждениями. Возвышение благосостояния рабочего причинило бы понижение

заработной платы лишь в том случае, если бы он воспользовался этим возвышением исключительно для увеличения количества своих детей. Но это следствие до такой степени далеко от того, чтобы быть необходимым, что большая часть замеченных фактов скорее заставляет ожидать противоположных результатов. Бедность уносит много детей, но она же вызывает и большее количество рождений. Напротив, благосостояние, вызывая предусмотрительность, уменьшает плодовитость браков и самое их число» (стр. 116). За доказательствами наш автор, разумеется, в карман не лезет. Население Ирландии бедствует и в то же время размножается чрезвычайно быстро. Во Франции, Швейцарии и Норвегии, где «собственность находится в большом числе рук и благосостояние распределено более равномерно», население возрастает всего медленнее. Отсюда он делает двоякого рода вывод. Во-первых, если бы рабочие имели маленькие участки земли, то, вопреки мнению Милля, утверждавшего, что это повело бы лишь к уменьшению платы за труд, благосостояние рабочих могло бы подняться надолго, так как оно повело бы за собою лишь уменьшение числа рождений и ослабление конкуренции «рук» вследствие уменьшения их предложения. Во-вторых, если бы предприниматели строили для своих рабочих дома, которые они затем отдавали бы по дешевой цене в наем этим же рабочим, то это не дало бы возможности предпринимателям понизить заработную плату, потому что предложение рук не возросло бы вследствие этого. Но и этим не довольствуется последователь «новой политической экономии». «Пусть делают еще лучше,—увлекается он,—пусть строят большие отели, где рабочие нашли бы помещение, пищу и честные развлечения за плату, меньше трети или даже четверти их ежедневного заработка. Благодаря этому они... могли бы сберечь, маленький капитал, усвоили бы лучшие привычки и, таким образом, не спешили бы бросаться навстречу бедствиям слишком ранней женитьбы. Приближаясь к буржуазии, они усвоили бы инстинкты порядка и осторожности» (стр. 12).

Итак, «железный закон» оказывается, по исследованиям экономистов «новой» школы, вовсе не «жестоким», как называли его Родбертус и Лассаль. Его скорее следовало бы назвать «золотым» законом, так как он, во всяком случае, гарантирует рабочему удовлетворение минимума его потребностей и в то же время нисколько не препятствует какому угодно возвышению заработной платы над этим минимумом. Такова уж предустановленная гармония, которую, напомним мы Лавелэ, усмотрел впервые все тот же, без вины обиженный им, Бастиа.

Мориц Мейер смотрит на дело именно с этой точки зрения, при

чем, со свойственною немцам основательностью, идет даже далее. «Непонятно,—удивляется он,—что же жестокого в том, что рабочий постоянно имеет лишь столько, сколько ему, сообразно его привычкам, требуется. Много ли вообще людей, доходы которых превосходили бы их обычные потребности? Можно даже сказать, что в высших классах менее значительное уменьшение благосостояния причиняет сравнительно бо́льшие страдания, чем в среде живущих в лишениях рабочих. Если же доход и потребности почти соответствуют друг другу, то в этом еще нет никакой «железной жестокости» [1]).

Совершенно справедливо! А когда, по совету Лавелэ, фабриканты понастроят для рабочих отели, в которых стоимость «помещения, пищи и честных развлечений» будет равняться «трети или даже четверти (последнее-то уж, пожалуй, чересчур щедро!) их ежедневного заработка», то «доход» пролетария будет, по меньшей мере, вдвое превосходить его потребности, и рабочий класс будет «относительно» вдвое богаче всех других классов общества. Вследствие этого для него так же будет вдвое легче и сбережение, покупка «дома, акции, облигации, маленького поля» и т. п., и т. п. Все это ясно, как божий день. «Никогда ни один геометр не чертил на песке более очевидного доказательства», как говорит Эразм Роттердамский в своей «Похвале глупости».

Одна только мысль может омрачить радужное настроение, овладевающее всяким «истинным другом человечества» ввиду открытий «новых» экономистов. Известно, что «сухой и жестокий, как силлогизм», Карл Маркс также занимался вопросом о заработной плате и о законе народонаселения, и этот «сухой» человек пришел к несколько другим выводам по этому поводу. «Накопление капитала,—говорит он [2]),—которое первоначально является количественным его увеличением, всегда сопровождается качественным изменением его состава, непрерывным возрастанием постоянной его части на счет переменной... При возрастающем накоплении отношение постоянного капитала к переменному из 1 : 1, как оно было, положим, сначала, переходит к 2 : 1, 3 : 1, 4 : 1, 5 : 1, 7 : 1 и т. д., так что, при возрастании капитала, вместо половины общей его суммы, на рабочую плату расходуется $^1/_3$, $^1/_4$, $^1/_5$, $^1/_6$, $^1/_8$ и т. д.; напротив, на средства производства затрачивается, соответственно этому, $^2/_3$, $^3/_4$, $^4/_5$, $^5/_6$, $^7/_8$ и т. д. Так как спрос на труд определяется не общим размером капитала, а переменной его частью, то он

[1]) Die neuere Nationalökonomie, S. 91.

[2]) Das Kapital, zweite Auflage. S 653.

прогрессивно падает вместе с ростом общей суммы капитала, вместо того, чтобы возрастать в одинаковой с ней прогрессии». «Это, вместе с ростом капитала возрастающее уменьшение переменной его части, — уменьшение, совершающееся быстрее роста самого капитала, представляется, с другой стороны, наоборот, более быстрым возрастанием рабочего населения, сравнительно с переменным капиталом... Капиталистическое накопление порождает, и притом прямо пропорционально своей энергии и об'ему, относительное, то есть для средних размеров производства ненужное, а потому и излишнее рабочее население или перенаселение» [1]).

Это «относительно излишнее» рабочее население является самым опасным конкурентом занятых уже в производстве рабочих и понижает заработную плату до последних пределов возможности. Но и это не все. Благодаря успехам крупной машинной промышленности, труд фабричного работника настолько упрощается, что женщины и дети с успехом конкурируют с мужчинами, и относительное перенаселение является, таким образом, еще скорее, достигает еще большей интенсивности. «Относительно излишний» рабочий, разумеется, не в состоянии требовать от фабриканта «отеля», где «за плату, меньшую трети или даже четверти его ежедневного заработка», он мог бы иметь «помещение, пищу и честные развлечения». У него просто-на-просто нет ни заработка, ни «пищи», ни «развлечений». Закон относительного перенаселения «приковывает работника к капиталу прочнее, чем цепи Вулкана приковывали Прометея к скале». Он вызывает соответствующее накопление капитала—накопление нищеты» [2]).

И этой-то «нищете» реалистическая политическая экономия,—которая хочет наблюдать действительность и отказывается строить свои выводы на «нескольких абстрактных положениях», этому-то классу, все бо́льшая часть которого становится «излишней», «новые экономисты», проповедники «морали» и «альтруизма», советуют сбережение, как единственное средство выхода из того ужасного положения, в котором над ним, как Дамоклов меч, постоянно висят безработица и все связанные с нею ужасы бесприютности, голодания и беспомощного скитальчества!

«Приблизившись к буржуазии, вы приобретете инстинкты порядка и осторожности, перестанете размножаться с такою гибельною для вас

---

[1]) Ibid., S. 654.
[2]) Ibid., S. 671.

быстротою, и заработная плата не будет падать вследствие вашей взаимной конкуренции». Но весь ход развития капитализма идет как раз обратным путем: не рабочие «приближаются к буржуазии», а наоборот—ряды самой буржуазии постоянно редеют, и все большее количество когда-то самостоятельных производителей переходит в действующую или «резервную» армию пролетариата. Каким же чудом могут рабочие привести в исполнение благоразумные советы Лавелэ? Как достигнут они обетованной страны, где у них разовьются инстинкты «порядка и осторожности», где они могут, говоря словами поэта:

...auf Erden schon
Das Himmelreich errichten!

Да и в том ли вообще дело, что «благосостояние, вызывая предусмотрительность, уменьшает плодовитость браков и самое их число»? Может ли уменьшение цифры рождений ослабить конкуренцию рабочих, понижающую их заработную плату до крайнего минимума?

Оставим Маркса, книга которого кажется «новым» экономистам «поражающим примером злоупотребления дедуктивным методом», и возьмем сочинение писателя, охотно цитируемого самим Лавелэ, хотя и непонятого этим последним.

«Не говоря уже о том, что новорожденные выйдут на рынок конкурировать со взрослыми только спустя долгое время после их появления на свет, количество рождений не дает верного масштаба ни для возрастания народонаселения, ни для его здоровья,—говорит Фр. Лангэ [1]).—В настоящее время во всей науке о народонаселении может считаться основным то положение, что более быстрое размножение народа или известной его части вызывается не увеличением его плодовитости, но уменьшением смертности. Так, например, несомненно, что в большей части европейских государств евреи размножаются быстрее, чем христианское население. Но несомненно и то, что это происходит не потому, что в еврейских браках родится большее количество детей, но скорее потому, что смертность менее в среде евреев, что большее число новорожденных достигает зрелого возраста, и что вообще средняя продолжительность жизни у евреев более. В свою очередь, эта меньшая смертность является следствием того, что евреям удалось, без тяжкого физического труда, создать себе более удобное жизненное положение, в котором и уход за детьми поставлен в более благоприятные условия».

[1]) Die Arbeiterfrage, dritte Auflage, Winterthur 1875, S. 31—37.

Выходит, что если бы рабочие, под влиянием улучшившегося, по щучьему велению, заработка, «приблизились к буржуазии» и приобрели инстинкты умеренности и аккуратности, то от этого увеличилась бы средняя продолжительность их жизни, большее число их детей достигло бы зрелого возраста, и население, а вместе с ним и конкуренция «рук» на рабочем рынке возрастали бы пропорционально улучшению жизненной обстановки рабочего. Конкуренция, в свою очередь, нейтрализовала бы причины, вызвавшие повышение рабочей платы, и последняя снова упала бы до уровня самых насущных потребностей трудящихся. Чтобы все это произошло, вовсе не нужно, чтобы «рабочие воспользовались увеличением заработка исключительно для увеличения количества своих детей». Нужно только, чтобы они не доводили рекомендуемой им «новой школой» умеренности и аккуратности до бесчеловечного и невероятного скряжничества. Нужно, чтобы они не отказывали себе и своим детям в более, чем прежде, питательной пище, чтобы они не поскупились позвать доктора, в случае болезни кого-нибудь из их домашних, чтобы они одевались сами и одевали своих детей более сообразно требованиям климата и т. п., и т. п. И они сделают это, вопреки всем причитаниям «эстетических» экономистов, насколько позволит им возвышение их заработка. Но в таком случае население будет возрастать, хотя бы даже количество рождений и уменьшилось, если бы рабочие и «не спешили бросаться навстречу слишком ранней женитьбе». Увеличение средней продолжительности жизни с избытком возместит уменьшение числа рождений. С своей стороны, и капиталисты не откажутся извлечь выгоду из увеличившегося предложения рабочих рук. Несмотря на присущий человеку Gemeinsinn, предприниматели очень хорошо понимают, что прибыль их обратно пропорциональна величине заработной платы и, не будучи себе врагами, стараются и будут стараться, пока останутся на свете предприниматели в нынешнем смысле этого слова, понизить заработок пролетария, насколько это допускается условиями рабочего рынка. Железный закон оказывается, значит, «несомненной действительностью» не с одной только приятной своей стороны, с таким глубокомыслием и проницательностью оцененной д-ром Морицем Мейером. Следовательно, и все построенные на отрицании этого закона рецепты бельгийского профессора падают, как карточные домики, оказываются именно тою «утопией», которую почтенный экономист обещался преследовать «шаг за шагом». Этим мы избавляемся от необходимости оценивать внутренний смысл этих рецептов, экономическое значение предложений, вроде того, чтобы «каждый отец семейства

сделался собственником маленького поля, дома, акции, облигации» и т. п. Ввиду невозможности для рабочих сделаться такими собственниками, мы можем оставить в стороне вопрос о том, в каком положении стоит в настоящее время мелкая поземельная собственность в промышленно развитых странах Западной Европы, какая участь постигает мелких капиталистов ввиду все более обнаруживающейся концентрации капиталов и т. д., и т. д. Остановившись слишком уже долгое время на «реалистических» теориях Лавелэ, мы не оказали до сих пор должного внимания немецкому представителю «новой политической экономии», д-ру Морицу Мейеру, о взгляде которого на закон заработной платы мы считаем нелишним сказать несколько слов.

Но так как почтенный доктор целиком списал свои размышления о заработной плате со страниц книги Луйо Брентано «Das Arbeitsverhältnissgemäss dem heutigen Recht», при чем обнаружил большую сдержанность по отношению к вносным знакам, то мы с вами, читатель, предпочтем «оригинал списку» и обратимся к самому Луйо Брентано.

В противность Лавелэ Брентано находит, что отрицать существование железного закона заработной платы «нелепо», так как он признается всеми «серьезными экономистами». Но, как мы видели уже из рассуждений его последователя Мейера, он не находит в этом законе ничего «жестокого». Он думает, напротив, что экономическую основу рабочего вопроса нужно искать не в том, что рабочая плата колеблется около насущных потребностей рабочего, подобно тому, как цена других товаров колеблется около издержек их производства, не в том, что труд... является в виде товара. Она лежит, напротив, в том, что труд не во всех отношениях сходен с другими товарами, что рабочий не стоит в положении продавца других товаров [1]).

Исходя из этого, в свою очередь заимствованного им у Торнтона положения, Луйо Брентано предлагает ряд мер, которые могли бы, по его мнению, оказать рабочим ту великую услугу, что они поставили бы их в положение «продавцов других товаров». Одним из самых действительных средств достижения этого завидного положения он считает организацию рабочих союзов, опираясь на которые рабочий мог бы договариваться с капиталистом на более выгодных для себя условиях [2]). Затем он проектирует устройство особых палат для соглашения рабочих с предпринимателями в случаях споров о повышении или понижении за-

[1]) Das Arbeitsverhältniss etc., S. 182.
[2]) Ibid S. 221—231.

работной платы. Решениям этих палат, основанным на данном состоянии рынка, он предлагает присвоить обязательную силу и т. д.

Из всего этого читатель может видеть, что, советуя рабочим всеми зависящими от них средствами стремиться к повышению их заработка, этот последователь историко-реалистической школы не находит нужным и возможным устранение продажи человеческого труда на рынке; по его мнению, не в этом лежит «основа рабочего вопроса». В этом отношении он сходится с большинством экономистов новой школы, которые, стремясь тем или другим способом смягчить антагонизм «важнейших факторов производства», труда и капитала, в то же время стараются сохранить во всей ее целости капиталистическую систему производства. Они, говоря словами Маркса, хотят «буржуазии без пролетариата» или, по крайней мере, пролетариата без пауперизма, что невозможно уже в силу приведенного выше закона относительного перенаселения. Вот почему все подобного рода проекты страдают неразрешимым внутренним противоречием.

IX.

Выше мы указывали на то, что воззрения Лавелэ на значение государственной помощи рабочим вовсе уже не так сильно расходятся со взглядами «манчестерцев», как этого можно было бы ожидать, судя по ожесточенным нападкам его на «старую школу». Ввиду этого могло бы показаться непонятным: в чем же собственно заключаются разногласия «старой» и «новой» школ? Но дело не замедлит раз'ясниться, если мы припомним, что «старая школа» не ограничивалась рассуждениями о самопомощи и выгодах сбережения. Экономисты-классики разрабатывали учение о ценности, о ренте, распределении вообще и т. п. В этих вопросах историко-реалистическая школа расходится с ними уже гораздо серьезнее. Здесь, по мнению, например, Лавелэ, ошибочна сама исходная точка классической экономии, которую составляла, как известно, теория ценности. «Основное заблуждение Маркса,—говорит он по поводу «Капитала»,—заключается в его понятии о ценности, измеряемой, по его мнению, трудом. Без сомнения, он сделал гораздо более вероятной теорию Смита и Рикардо, говоря, что стоимость предмета определяется количеством труда, «общественно-необходимого» для его производства. Но даже таким образом дополненное, это учение ложно. Мы настаиваем на этом пункте, так как он имеет существенную важность».

В этом случае Лавелэ высказывает взгляд, разделяемый всеми «серьезными экономистами» реалистической школы. Все они в большей или меньшей степени расходятся с учением о ценности Рикардо. Так, например, Гельд удивляется, каким образом «такой умный человек, как Родбертус», мог принимать теорию Рикардо. У него является даже подозрение, что «действительным намерением Родбертуса было подогреть недовольство рабочих и, заставивши их разорвать с либеральной буржуазией, воспользоваться этим в интересах крупных землевладельцев» [1]).

Германа Реслера также немало огорчает теория ценности Рикардо-Маркса. «Несчастная идея, что труд есть источник ценности,—меланхолически замечает он,—делает невозможным возникновение правильного учения о ценности». Даже наиболее выдающийся из всех катедер-социалистов, Шеффлэ, не соглашается с принятым в классической экономии и дополненным Марксом взглядом на этот предмет. По его мнению, меновая ценность всякой вещи определяется не только необходимым для ее производства количеством труда, но и потребительною ее ценностью, которую имеет она в каждое данное время для покупщика (Gebrauchswertschätzung).

В чем же дело? Какая из этих двух сторон заблуждается в решении этого действительно важного вопроса? И неужели классическая экономия не выработала даже правильного понятия о меновой (стоимости) ценности, этого краеугольного камня всех рассуждений об экономических явлениях в обществе, богатство которого «является огромным скоплением товаров»?

Читателю известно, без сомнения, из каких посылок выводили свое учение о ценности экономисты-классики. Выслушаем теперь их противников.

«Вот факты,—говорит Лавелэ,—доказывающие, что меновая ценность не пропорциональна труду. В один день охоты я убиваю козу, вы убиваете зайца. И заяц, и коза будут продуктом одного и того же усилия, в течение одного и того же времени; но будут ли они иметь одинаковую меновую ценность? Нет: коза может служить мне пищей в течение пяти дней, заяц — в течение одного. Ценность (потребительная?) первой будет в пять раз более ценности второго. Вино Шато-Лафит стоит по 15 франков за бутылку, вино соседнего холма стоит франк. И, однако, первое не требует вдвое большего труда, чем вто-

[1]) См. Морица Мейера Die neuere Nationalökonomie etc., S. 78.

рое, и т. д., и т. д.; следовательно. меновая ценность непропорциональна труду».

Но чему же она в таком случае «пропорциональна»? «В действительности меновая ценность проистекает из полезности,—отвечает Лавелэ.—К полезности нужно прибавить, как условие, определяющее ценность, редкость вещи... Однако, если ближе всмотреться, можно увидеть, что редкость вещи есть одна из форм полезности» (?!).

Можно бы подумать, что наш реформатор экономической науки окончательно зарапортовался, утверждая, что «чем реже тот или другой предмет, тем полезнее обладание им,, но мы увидим ниже, о какой полезности он говорит, и хотя его рассуждения не выиграют ничего от этого раз'яснения, но тем не менее нужно признать, что пункт логического грехопадения нашего автора лежит несколько далее.

Утверждая, что меновая ценность вещи, как товара, не зависит от «полезности» ее, как предмета потребления, экономисты-классики ссылались обыкновенно на воздух и воду, огромная «полезность» которых не подлежит ни малейшему сомнению. Они говорили, что меновая ценность этих предметов, в том случае, когда для доставления их потребителю не нужно никакого труда, равняется нулю. Если же для доставления потребителю этих «полезных вещей» нужна известная затрата человеческого труда, как, напр., в случае необходимости устройства вентиляторов, водопроводов и т. п., то ценность их, по учению классической экономии, равняется именно этому количеству труда, и только ему одному. Такое же рассуждение применялось «старыми» экономистами ко всем предметам, количество которых могло быть увеличиваемо по произволу, с затратой, разумеется, бо́льших или меньших «усилий». «Полезность» данной вещи, потребительная ее ценность являлась, таким образом, необходимым предположением для того, чтобы предмет мог иметь какое-либо хозяйственное значение, чтобы он мог явиться на товарном рынке. Но количества, в которых обменивался бы этот предмет на другие предметы, определялись бы, по мнению «старых» экономистов, относительными количествами труда, овеществленными в этих предметах. Лавелэ находит все вышеприведенные примеры и основанные на них рассуждения в высшей степени ошибочными.

«Вот в чем заключается ошибка. Под водою в одном случае разумеют воду вообще, стихию, и в этом случае она имеет также огромную полезность, но она имеет также и величайшую ценность, потому что человек. заблудившийся в пустыне, отдал бы все за воду. Когда же говорят, что вода не имеет ценности, (то) разумеют извест-

ное количество воды, и в этом случае она обладает также очень малой полезностью. Что стоит ведро воды на берегу реки? Ничего, кроме труда, необходимого для того, чтобы почерпнуть его. На четвертом этаже оно будет стоить несколько сантимов, представляющих собою заработную плату водоноса. В Сахаре, для путешественника, который ни за какую цену не может получить его, оно будет стоить всех миллионов мира; ценность возрастает, таким образом, сообразно редкости и трудности воспроизведения. Следовательно, можно сказать, оставляя словам их обычный смысл, что предметы имеют тем более ценности, чем они полезнее, в том ли отношении, что они удовлетворяют существующей потребности, или в том, что они избавляют от необходимости пожертвовать деньгами или усилиями, которые пришлось бы затратить для их воспроизведения» (стр. 87—89).

Читатель не посетует на нас за длинные и, в сущности, весьма скучные выписки, которые нам пришлось сделать, чтобы показать, как «критикуют» классическую экономию многие представители «новой школы», каким оружием они пытаются разбить основные положения учения Смита-Рикардо. В этом отношении рассуждения Лавелэ, как весьма характерные, заслуживают полного внимания не по внутренней своей «ценности» или «полезности», а потому, что ими определяется все научное значение по меньшей мере трех четвертей «новых экономистов». Недаром же говорят, что учение о ценности может служить пробным камнем для определения достоинства данной экономической системы. Поэтому мы и позволим себе остановить внимание читателя на разборе вышеприведенных положений Лавелэ.

Конечно, он очень хорошо делает, восхваляя индуктивный метод и стремясь построить свое учение «на наблюдении действительности». Жаль только, что его старания не увенчиваются ни малейшим успехом. Его попытки перестроить «старую» теорию ценности не имеют ничего общего не только с «индуктивным методом», но и вообще с каким бы то ни было научным методом. Вся его «критика» основывается на двух-трех «фактах», взятых без всякой «критики» и без всякой оценки их, как экономических явлений. Затем на сцену выступает пустая и бессодержательная игра слов, основанная на самом вопиющем смешении понятий и самой удивительной неспособности их разграничения. Все эти «зайцы» и «козы», «Шато-Лафит» и «вино соседнего холма», «вода, как стихия», и вода «в известном количестве»,—все это привело бы в ужас самого Бастиа, который имел бы полное право заметить, что его сказочки, например, о «капитале и ренте» и остроумнее за-

думаны и вообще гораздо менее «компрометируют защиту порядка», чем «реалистические» измышления Лавелэ. Подумайте, в самом деле! «Я убиваю козу, вы убиваете зайца в один и тот же промежуток времени; ценность первой будет в пять раз более ценности второго, потому что коза может служить пищею в течение пяти дней, заяц—в течение одного». Но, во-первых, где же и когда видано, чтобы потребность капиталистического общества в пище удовлетворялась тем же способом, как удовлетворяют ее краснокожие индейцы, то-есть охотой? Что сталось бы со всею историко-реалистической школой, если бы профессор Лавелэ принужден был охотиться за козами, а почтенный Вильгельм Рошер, перед тем как итти на лекции, должен был бы «убивать зайцев», которые затем и «служили бы ему пищей» в течение одного дня каждый? Во-вторых, была ли бы какая-нибудь меновая ценность у убитых бельгийским профессором коз и подстреленных Рошером зайцев, если бы каждый из них питался продуктами своей охотничьей ловкости, как это предположено в приведенном примере, где «я» питаюсь убитою «мною» козой, а «вы»—убитым «вами» зайцем? Как определить меновую ценность предметов, которые не обмениваются между собою ни непосредственно, то есть один на другой, ни посредством какого-либо третьего товара?

Но если бы—как ни нелепы такие «робинзонады»—между «мною» и «вами» установилось правильное разделение нашего охотничьего труда и обмен его продуктов, то произошло бы одно из двух. Или «я» должен был бы платить «вам» за «зайца» «козой», если бы убить козу было всегда так же легко, как зайца, или «вы» прекратили бы охоту за «зайцами» и стали бы в свою очередь «убивать коз». Так как мы говорим о предметах, количество которых может быть увеличено по произволу, под условием лишь затраты определенного количества труда, то в «вашем» переходе от одного рода охоты к другому нет ничего выходящего за пределы нашего примера. Но «ваши» зайцы были «мне» необходимы, потому что иначе между нами не установилось бы предположенное разделение труда. Не получая их более от «вас», «я» должен был бы сам охотиться за ними, примирившись с мыслью тратить по одному дню труда и на «козу» и на «зайца». Что же «я» выиграл бы, отказавшись обменивать продукт «моего» труда на продукт равного количества «вашего» труда? Не только ровно ничего, но еще и потерял бы, потому что прежнее разделение труда увеличивало его производительность, а теперь, с прекращением этого разделения, и «заяц» и «коза» каждому из нас стоили бы уже не одного, а полутора или двух

дней охоты. Увидевши, к чему привело «меня» учение о ценности историко-реалистических экономистов, «я» принужден был бы вернуться к воззрениям Адама Смита, учившего, что «труд есть истинный масштаб меновой ценности всех предметов» [1]). «Я» припомнил бы тогда, что Лавелэ и сам говорил что-то в этом роде, хотя и не сделал надлежащего вывода из своих посылок. «Что стоит ведро воды на берегу реки? Ни чего, кроме труда, нужного, чтобы зачерпнуть его. На четвертом этаже оно будет стоить несколько сантимов, представляющих собою заработную плату водоноса». Разве это не вариация на вышеприведенное положение Смита? Вся разница лишь в том, что Смит, а тем более Рикардо, не отождествили бы меновой ценности предмета—в данном случае воды—с рыночной ценою рабочей силы, то есть с «заработной платой водоноса». Такое смешение двух совершенно различных экономических категорий допускается только вульгарными экономистами «старой школы», от родства с которыми напрасно открещиваются многие представители «новой политической экономии».

Но пойдем далее. На берегу реки ведро воды имеет меньшую ценность, чем на четвертом этаже, потому что во втором случае требуется более труда для доставки его потребителю. В Сахаре это ведро воды «будет стоить всех миллионов мира». «Оставляя словам их обычный смысл», Лавелэ приходит на этом основании к тому заключению, что предметы имеют тем более ценности, чем они полезнее». Для кого и для чего «полезнее»? Чем определяется у него понятие полезности?

Почему ведро воды «полезнее на четвертом этаже, чем на берегу реки, в Сахаре—«полезнее», чем на четвертом этаже? Ведь «вода вообще, как стихия», не приобрела новых качеств от того, что потребитель ее взобрался на мансарду или «заблудился» в пустыне. Потребительная стоимость ее, «полезность» ее для организма или для хозяйства, осталась, следовательно, неизменной. О каком же изменении «полезности» говорит наш «новый экономист»? «Ведро воды,—отвечает он,—полезнее на четвертом этаже, чем на берегу реки, в том отношении, что в первом случае воспроизведение его стоило бы дороже, чем во втором; обладание им избавляет нас поэтому «от необходимости пожертвовать деньгами или усилиями бо́льшими, чем оказались бы они во втором случае». Как же велика эта разница пожертвований деньгами или усилиями? Она равняется ни более, ни менее, как разности меновой ценности одного и того же ведра воды, но перенесенного на

[1]) Ad. Smith, ibid., кн. 1, гл. V, стр. 38, édition Guillaumin, Paris 1843.

различные расстояния. С возрастанием меновой ценности воды, доставляемой жильцам верхних этажей, возрастет и полезность для них тех ведер, которые уже находятся в их обладании. С понижением этой ценности упадет и «полезность» последних, потому что сделается меньше то «пожертвование деньгами или усилиями», от которого они избавляют своих обладателей. Оказывается, следовательно, что «полезность», о которой говорит Лавелэ, есть «полезность» совершенно особого рода, не имеющая ничего общего с потребительною ценностью предмета. Эта «полезность» определяется не потребностями человеческого организма, а потребностью мелкого буржуа быть уверенным в том, что ему не скоро еще придется расстаться с находящимися у него в кармане франками и сантимами. Эта «полезность» определяется, словом, по отношению к кошельку и равняется она меновой ценности предмета.

Мы пришли, таким образом, к следующему замечательному открытию. «Предметы имеют тем большую меновую стоимость, чем они полезнее», а полезны они тем более, чем большую меновую ценность они имеют. Вот что значит «оставлять словам их обычный смысл»! «Старая школа», с ее абстрактной теорией ценности, должна после этого считать себя окончательно похороненной. Злоумышленность Родбертуса, целиком принимавшего эту «абстрактную» теорию, также может считаться доказанной!

Но Лавелэ не довольствуется, как мы видели, этим блестящим рассуждением. Он дополняет его глубокомысленными соображениями о «воде, как стихии», имеющей «огромную ценность» (меновую?), и «воде в известном количестве», имеющей ценность очень малую, соображениями, подкрепленными тем «констатированным фактом», что «человек, заблудившийся в пустыне, отдал бы все за воду». Затем, он постоянно отождествляет «денежные пожертвования», которых требует покупка известного предмета, с усилиями, которые пришлось бы сделать, чтобы «воспроизвести» самому этот предмет. Как будто плата за пароходный билет из Лондона в Нью-Йорк равняется или может равняться тому «пожертвованию усилиями», которое пришлось бы сделать, чтобы вплавь достигнуть Америки или переплыть океан в маленькой лодке! Автор «Первобытной собственности» постоянно забывает, что речь идет о капиталистическом обществе, в котором существует разделение труда и товарное производство. Далее следует нелепое определение меновой ценности или, как любит выражаться Лавелэ, «полезности» предмета (для кошелька его владельца) тем «количеством за-

трат и усилий», которых *не нужно* делать, благодаря обладанию этим предметом. Если взять все эти образчики «историко-реалистической» мудрости и полюбоваться их букетом во всем его грандиозном целом, то перед нами снова вырастает Фридрих Бастиа, на этот раз в самом лубочным издании. Одного взгляда на этот букет будет достаточно, чтобы ответить на поставленный вопрос: удалось ли «новой школе» заново перестроить воздвигнутое экономистами-классиками здание науки?

Что помешало экономистам «нового направления» выполнить взятую ими задачу? Каким образом, становясь в критическое отношение к «манчестерству», действительно совершенно уже отжившему, многие, по крайней мере, представители «новой школы» только и сделали, что отказывались от всех серьезных приобретений классической экономии и дружно присоединились к хору вульгарных экономистов? Ответ на эти вопросы заключается в указанной выше борьбе классов в западно-европейском обществе. Эта борьба, заставившая европейские парламенты отказаться от политики невмешательства и издать ряд фабричных законов, окрасила собою весь ход как политической жизни, так и умственного развития Запада. В политике она заставила буржуазию отказаться от золотых грез ее юности о «свободе», равенстве и братстве» и привела ее в об'ятья военной диктатуры и исключительных законов, как это было во Франции и как это происходит ныне в Германии. В области экономической науки она лишила ученых представителей третьего сословия необходимых для научных исследований спокойствия и беспристрастия.

Ввиду угрожающих движений пролетариата, «дело шло уже не о том, верна ли та или другая теорема, а о том, вредна или полезна, удобна или неудобна она для капитала» [1]). То, что, вопреки завещаниям экономистов-классиков, вошло уже в житейскую практику, благодаря неотложным требованиям жизни, волей или неволей пришлось занести, под той или другой рубрикой, в свод «новой науки».

Так было с фабричным законодательством и переходом некоторых отраслей народного хозяйства в ведение государства. И во имя этой научной санкции совершившемуся уже факту была об'явлена война застарелым «манчестерцам», которые в экономических отношениях конца XIX столетия хотели видеть то же, что видели их великие предшественники три четверти века тому назад. При этом нужно заметить,

---

[1]) Karl Marx, ibid, S. 816.

что борьба с «манчестерством» требовала со стороны экономистов «нового направления» скорее приятной военной прогулки, чем серьезной и трудной кампании. Критика «манчестерства» представляла собою вполне законченное целое на страницах сочинений Фурье, Сэн-Симона, Родбертуса и, главным образом, Маркса. Оставалось только черпать ее оттуда, разумеется, в благоразумных пропорциях и в не слишком сильных дозах. А между тем, благодаря этой борьбе чужим и умышленно притупленным оружием, экономисты «историко-реалистической» школы приобретали симпатии всех «истинных друзей человечества», говоря проще—всех тех, которые, исходя из самых различных побуждений, требовали государственного вмешательства в слишком уже обострившуюся распрю между трудом и капиталом. Главное же, во-время предпринятые учено-литературные диверсии давали возможность скрыть неловкость положения, в которое ставили г.г. экономистов беззаботная откровенность Смита и ученое прямодушие Рикардо. Мы уже знаем, что в трудах экономистов-классиков были серьезные исследования о ценности, распределении, заработной плате и т. п.

Неразвитое состояние между-классовой борьбы позволяло авторам этих исследований оставаться на высоте бесстрастного отношения к предмету. Но когда вместе с развитием капиталистического производства вышли наружу и свойственные капитализму противоречия, научные положения классической буржуазной экономии превратились в обвинительные пункты против буржуазного способа производства. Мы видели уже, как формулировал эти пункты продолжатель Смита и Рикардо, Карл Родбертус-Ягецов. Буржуазная наука обращалась, таким образом, против самой буржуазии. Экономистам историко-реалистической школы оставалось выбирать одно из двух: остаться верными науке и тем самым отказаться от буржуазии или, наоборот, разрушить здание классической экономии, чтобы под развалинами его похоронить противников третьего сословия. «Ученые» à la Мориц Мейер и Лавелэ предпочли второй исход. Но мы видели уже, что разрушение грандиозных построек первых основателей науки оказалось не по плечу этим посредственностям. Несколькими обрушившимися камнями они лишь придавили самих себя, и придавили так сильно, что едва ли им уже удастся выбраться на дорогу серьезного научного исследования.

Так отомстила наука своим неверным жрецам и служителям.

Экономическая теория Карла Родбертуса-Ягецова [1]).

Судьба Родбертуса, как писателя, представляет собою довольно поучительное и, на первый взгляд, непонятное явление. Ученый, обладавший огромною и разностороннею эрудицией, оригинальный и глубокомысленный экономический писатель, Родбертус не удостоился, однако, до самого последнего времени не только надлежащей оценки со стороны огромного большинства своих товарищей по науке, но, можно сказать, совершенно игнорировался ими. «Конечно,—говорит берлинский профессор Ад. Вагнер,—каждому экономисту в Германии известно имя Родбертуса и название главных его сочинений, о содержании которых каждый экономист также имеет хоть приблизительное понятие»). Но дело в том, что Родбертус не принадлежит к числу писателей, по отношению к которым можно было бы довольствоваться «приблизительным понятием о содержании их сочинений». С самых первых шагов своих в экономической литературе Родбертус является не популяризатором учений господствующей школы, даже не комментатором того или другого нового писателя. Он был оригинальным мыслителем, пролагавшим новые пути в области науки,—одним из первых серьезных критиков классической экономии. Чтобы понять роль и значение его теорий в истории политической экономии, необходимо было ознакомиться с ними из первых источников, т.-е. из его сочинений. В особенности следовало сделать это немецким экономистам, главное достоинство которых заключается, как известно, в добросовестной и полной «Bücherkenntniss». Однако они довольствовались «приблизительным» понятием об учениях Родбертуса, да и этим, более чем поверхностным, знанием делились с публикой весьма неохотно. Д-р Гумпловиц, в своем «Rechtsstaat und Sozialismus», не без основания быть

---

[1]) „Отечественные записки“ 1882, V, VI, и 1883 г., IX и X. За подписью Г Валентинов.

[2]) См. статью Ад. Вагнера в „Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft“, 1878 года, erstes u. zweites Heft: „Einiges von und über Rodbertus-Jagetzow“.

может, упрекает немецких ученых в том, что «многие из них умышленно обходили молчанием этого выдающегося экономиста».

Так продолжалось долго, очень долго, едва ли не до начала семидесятых годов, когда отношение к Родбертусу, по крайней мере, части немецких экономистов радикально изменилось. С ним вошли в сношения и старались привлечь его к своему «социально-политическому» союзу так называемые катедер-социалисты; о нем заговорили, как о «самом оригинальном представителе экономического социализма», как о писателе, «стоящем выше Лассаля, Маркса и Энгельса». Так отзывается о нем, например, уже цитированный нами Ад. Вагнер. Разумеется, похвальные отзывы о писателе, подобном Родбертусу, не заключали бы в себе ничего удивительного, если бы дело не осложнялось несколькими довольно характерными обстоятельствами.

Во-первых, странно встречать горячих поклонников Родбертуса в среде молодого поколения той самой школы, «отцы» которой более всего заслужили упрек в «умышленном игнорировании» его учений. Ад. Вагнер и его сотоварищи по эйзенахскому союзу превозносят того самого экономиста, на которого Рошер и Карл Книс почти не обращали внимания. Но это было бы, как говорится, пол-беды, если бы в научном миросозерцании катедер-социалистов теориям Родбертуса действительно отводилось сколько-нибудь видное место. На деле же оказывается, что отличительною чертою подобных Ад. Вагнеру поклонников «немецкого Рикардо» является полное их несогласие с учениями последнего. Сочиняемые ими панегирики Родбертусу нисколько не мешают им исповедывать теории, не имеющие ничего общего с его учением. Это отлично сознавал и сам Родбертус, решительно отказавшийся пристать к эйзенахскому союзу катедер-социалистов. «Я убежден,—писал он тому же Ад. Вагнеру,—что из Эйзенаха ничего не выйдет: ромашкой нельзя даже облегчить, не только излечить социальный вопрос»... Не смущаясь таким строгим приговором «оригинальнейшего представителя экономического социализма», члены эйзенахского союза продолжали и продолжают выдавать себя за горячих его поклонников, особенно в тех случаях, когда заходит речь о сравнительной оценке Родбертуса—с одной стороны и Карла Маркса—с другой.

С тем же рвением превозносят Родбертуса на счет Маркса и так называемые «социальные консерваторы» (sozial-conservativen), вроде Рудольфа Мейера, довольно известного в Германии автора книги о «борьбе четвертого сословия за свое освобождение».

Незнакомому с делом могло бы показаться, что теории Родбертуса

представляют собою последнее «трезвенное слово» буржуазно-юнкерской экономии,—слово, облеченное в ярко демократический наряд и потому оцененное по достоинству лишь в наше время заигрывания с народом даже самых закоснелых консерваторов. Однако такое предположение было бы совершенно ошибочно, так как причину странной перемены в отношении к Родбертусу консервативных и буржуазных писателей нужно искать не во внутреннем достоинстве его теорий. Она лежит в истории борьбы различных классов европейского общества, имевшей такое огромное влияние на развитие экономических учений. Различные перипетии этой борьбы отразились на литературной судьбе Родбертуса и обусловливали то или другое отношение к нему его ученых современников из среды «охранителей». Дело в том, что Родбертус с полным основанием может быть причислен к той блестящей, хотя и немногочисленной фаланге экономистов, которая украшается именами Маркса, Энгельса и Лассаля. Почти одновременно с двумя первыми из названных писателей выступил он на поприще экономической литературы и так же, как они, посвятил свои силы изучению вопроса о положении и роли труда в современном обществе. Правда, «практические предложения» его далеко не были так радикальны, как стремления Маркса и Энгельса. Но теоретические основы этих «предложений» сильно противоречили учениям господствовавших школ и весьма близко подходили к учениям крайних партий. Лет двадцать тому назад одного этого было достаточно, чтобы вызвать негодование и высокомерное презрение патентованных экономистов. Родбертуса «замалчивали» цотда, как опасного и легкомысленного новатора.

Не так обстоит дело теперь. Уже со второй половины сороковых годов сделавшееся заметным новое направление в экономической науке окончательно сложилось ныне в стройную систему, самым полным выражением которой служит «Капитал». Автор его оказался вооруженным таким громадным количеством данных, обнаружил такую колоссальную ученость, что волей-неволей приходилось с ним считаться. Но Маркс, как известно, не останавливался на «критике политической экономии». Последовательный до конца, он взялся за практическую деятельность и обнаружил при этом такие неприятные для буржуазии наклонности, что Родбертус, несмотря на всю свою ученую ересь, явился просто агнцем в сравнении с этим беспокойным человеком. Кроме того, и среда, к которой обращались Маркс и его последователи, к концу шестидесятых годов стала гораздо более восприимчивой к их проповеди, чем была она до февральской революции. Движение западно-

европейского рабочего класса принимало все более и более грозный характер. Не дождавшись от буржуазии облегчения своего положения, пролетарии пришли к тому убеждению, что «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих». Понятно, что «самопомощь», к которой стремились теперь рабочие, не имела ничего общего с «самопомощью», рекомендованной им, например, Шульце-Деличем. Тогда-то вспомнили буржуазные экономисты, что где-то в Померании проживает, в своем имении, ученый, держащийся таких же, повидимому, как и Маркс, научных воззрений, но отличающийся гораздо более смирным нравом. Особенно привлекательным казалось для почтенных ученых то обстоятельство, что в политике Родбертус не только не разделял воззрений Маркса или Лассаля, но и прямо об'являл себя консерватором. Понятно, что в том затруднительном положении, в которое поставил экономистов автор «Капитала», Родбертус представлял для них настоящую находку. Он являлся противоядием, весьма полезным для рабочих, зараженных «лжеучениями» Маркса. Окончательного излечения теории Родбертуса, конечно, принести им не могли, потому что в сравнении с «любезно-верными» бисмарковскому режиму катедер-социалистами Родбертус все-таки, говоря его собственными словами, являлся «черною еретическою душою». Но упомянутый выше консерватизм Родбертуса, считавшего вредной всякую политическую самодеятельность рабочего класса, делал его гораздо менее опасным для буржуазии, чем Маркса и его последователей. Кроме того, Родбертус, как это видно из переписки его с Лассалем, полагал, что окончательное осуществление его теорий возможно не ранее... пятисот лет. Дело откладывалось, следовательно, в такой долгий ящик, что ученая «ересь» нашего автора утрачивала немалую долю своего практического значения. Оставались лишь ближайшие требования Родбертуса, представлявшие собою самую слабую часть его воззрений и тем охотнее выдвигавшиеся на первый план буржуазными экономистами, чем меньше нужно было остроумия для обнаружения их несостоятельности.

Таким образом, Родбертус являлся меньшим из двух почти неизбежных в настоящее время на Западе зол. И несомненно, что именно этому стечению обстоятельств обязан он тем вниманием, которое стали оказывать ему теперь катедер-социалисты. Тому, кто назвал бы наше об'яснение невероятным, мы напомним прием, оказанный книге Кэри со стороны немецких «манчестерцев». Автору ее прощалось пристрастие его к покровительственному тарифу,—пристрастие, составляющее, как известно, смертный грех в глазах «манчестерцев». Его провозгласили

великим экономистом единственно во внимание к заслугам его по измышлению нового закона заработной платы, отличающегося весьма успокоительными свойствами.

Вообще, западно-европейские буржуазные экономисты находятся теперь далеко не в таком положении, чтобы их могла интересовать та или другая теория an und für sich. Решающее значение имеют в их глазах практические стремления авторов этих теорий и прежде всего, разумеется, вопрос о политической самодеятельности рабочих классов. Писатель, выступающий против организации рабочих в особую политическую партию, наверно приобретает симпатии буржуазных экономистов, какими бы теоретическими соображениями он при этом ни руководствовался.

Но если восторженные отзывы Ад. Вагнера о Родбертусе вызываются побуждениями, имеющими очень мало общего с наукой, то это не уменьшает заслуг самого Родбертуса и не мешает ему занимать одно из самых видных мест среди экономических писателей XIX века. Ставить его «выше Маркса и Энгельса», конечно, невозможно. Учение его не может быть поставлено даже рядом с учением этих последних. Неверно также и то, что Родбертус, будто бы, *ранее* Маркса и Энгельса высказал те положения, которые легли потом в основу «Капитала». Первое сочинение Родбертуса, «Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände», появилось в 1842 году. Менее чем через два года после этого начали выходить в Париже «Deutsch-Französische Jahrbücher», издававшиеся Арнольдом Руге и Карлом Марксом. Печатавшиеся в этом издании статьи Маркса и Энгельса вовсе не были повторением мыслей, высказанных в 1842 году Родбертусом. В них выражались, напротив, самостоятельные воззрения их авторов, во многих случаях несогласные с учением Родбертуса. Мы не говорим уже о книге Энгельса «Lage der arbeitenden Klassen in England «(1845), о «Misère de la philosophie» (1847) Маркса и других сочинениях, в которых экономическая теория означенных авторов является уже в довольно законченном виде. Факты не позволяют, следовательно, утверждать, что автор «Капитала» заимствовал основные свои положения у Родбертуса. Они показывают, что Родбертус, Маркс и Энгельс одновременно выступили на литературное поприще, и что первый из названных писателей с одной стороны, Энгельс и Маркс—с другой, уже с начала сороковых годов держались самостоятельных, имевших, правда, много общего, но во многом и расходившихся теорий.

Но, оставляя в стороне излишние притязания, к которым был скло-

нен иногда и сам Родбертус [1]), за ним все-таки, повторяем, нужно признать огромные заслуги в экономической науке. Сочинения его должны возбуждать тем больший интерес всякого беспристрастного человека, чем более склонности к злоупотреблению его именем обнаруживают люди той или другой партии. Учение его сохранило весь свой интерес до настоящего времени, так как многие положения, общие ему с Марксом и Энгельсом, и поныне еще вызывают ожесточенные нападки буржуазных экономистов. Еще большее значение имеют его сочинения для тех, кто желал бы ознакомиться с историей экономических учений во второй половине XIX столетия. Сравнительная оценка теорий Родбертуса с одной стороны и учений «историко-реалистической школы»— с другой как нельзя более ясно показывает, кто внес действительно новый вклад в науку и кто ограничился пережевыванием, перекраиванием и даже порчей оставшегося от экономистов-классиков наследства.

Ввиду этого нельзя не порадоваться появлению перевода на русский язык историко-экономических исследований Родбертуса. С своей стороны, мы считаем нелишним представить читателям изложение экономической доктрины этого замечательного писателя.

I.

Прежде чем перейти к экономическому учению Родбертуса, мы позволим себе остановить внимание читателя на его жизни и практической деятельности. На это потребуется тем менее времени, что, во-первых, сколько-нибудь полной его биографии до сих пор не существует, а во-вторых, бóльшая часть жизни Родбертуса протекла в мирной тиши ученого кабинета, вдали от политических тревог и волнений. Естественно поэтому, что биография Родбертуса и не могла бы возбуждать в читателе того живого интереса, который вызывается одной какой-нибудь «страницей из жизни Лассаля».

Карл Родбертус-Ягецов родился в 1805 году в Померании, учился сначала во Фридланде, потом в Геттингене и в 1827 году, окончивши университетский курс, поступил на службу. Но уже в начале тридцатых годов он вышел в отставку и всецело посвятил себя научным занятиям,

---

1) «Вы увидите,—говорит он в одном из своих писем к Вагнеру,—что уже с 1842 года я неизменно держусь одних и тех же воззрений и что другие, как, например, Маркс, натолкнулись на многое из того, что уже раньше было напечатано мною».

обращая главное внимание на политическую экономию и родственные ей отрасли общественной науки. Первым плодом этих занятий было упомянутое уже сочинение Родбертуса «Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände». В этом исследовании миросозерцание его, как экономиста, является уже в совершенно законченном виде. В последующих своих сочинениях Родбертус лишь дополнял и развивал те положения, которые легли в основу его первого труда. В том виде, в каком книга эта вышла в свет, она представляет собою лишь первый выпуск («erstes Heft») сочинения, посвященного вопросу о «несовершенствах современных общественно-экономических отношений» и о способах устранения этих «несовершенств». «Я старался,—говорит он в предисловии,—доказать в этом первом выпуске некоторые абстрактные положения, стоящие в противоречии с ходячими воззрениями, но представляющие собою необходимую теоретическую основу для моих практических предложений». Революционная буря 1848 года помешала, однако, продолжению этого труда нашего автора и выдвинула его на политическую арену. Оригинальный, смелый и последовательный мыслитель, он оказался, однако, плохим практическим деятелем и не только не приобрел сильного влияния на политическую жизнь своей родины, но даже не выработал себе, повидимому, сколько-нибудь определенной программы. В период самой горячей борьбы партий, когда каждая из них стремилась повернуть ход событий, Родбертус находился в каком-то нерешительном состоянии, не защищал старого, но и не боролся за торжество нового. Мы сказали уже выше, что Родбертус называл себя консерватором; но, строго говоря, определение это не совсем точно. Воззрения его, как практического деятеля, представляли собою оригинальную амальгаму экономического радикализма и политического консерватизма. «Мы переживаем теперь такую фазу исторического развития, в которой радикализм и консерватизм... нисколько не противоречат друг другу»,—писал он в 1851 году, когда опыт только что пережитого Европой революционного движения оставался еще совершенно свежим в его памяти. Исходя из этого убеждения, он всегда смотрел на решения социального вопроса, как на важнейшую задачу осмысленного консерватизма. «Если под консерватизмом понимать охранение совершенно уже истлевшего либерального или антилиберального тряпья, то нет ничего антиконсервативнее социального вопроса,—писал он в начале семидесятых годов.—Но если под консерватизмом разуметь усиление монархической государственной власти, мирные реформы, примирение общественных классов под эгидой и на основании лучезарного «suum cuique»,

то нет ничего более консервативного, чем социальный вопрос». Такой взгляд на способы решения социального вопроса всегда отталкивал Родбертуса от крайних демократических партий. Но так как в 48 году реакционеры не додумались еще до бисмарковского заигрывания с рабочими классами, то и с их стороны он не мог встретить хотя бы притворно радушный прием [1]).

Когда учредительное собрание в Берлине отклонило предложенный правительством проект конституции и когда, вследствие этого, министр-президент Кампгаузен принужден был подать в отставку, Родбертус попал было даже в министры. Но в этом звании он оставался всего две недели, убедившись вероятно, что «suum cuique» руководящих сфер не совсем соответствовало его понятиям о справедливости. В следующем году он снова был выбран депутатом в трирском округе и в Берлине одновременно. На этот раз он примкнул к оппозиции, что и дало, вероятно, повод некоторым историкам, как, например, Лоренцу, поставить его рядом с Якоби и другими «демократическими вожаками». Впрочем, Родбертус не долго пробыл и в рядах оппозиции. Отказавшись от политической деятельности, он поселился в своем померанском имении «Ягецов» и стал делить свое время лишь между сельским хозяйством и научными занятиями. В 1850 году он уже начал издание своего нового сочинения, «Социальных писем к Кирхману» (Sociale Briefe an von-Kirchmann). Поводом к появлению этих писем послужили экономические статьи фон-Кирхмана в «Demokratischen Blättern» 1849 года. Проникнутый симпатиями к низшим классам общества, хорошо знакомый с экономической литературой, фон-Кирхман производил тем более сильное впечатление на своих читателей, что статьи его отличались живым и легким изложением. Но хотя он сумел стать в критическое отношение ко многим догматам современной ему экономической науки, однако в воззрениях его не было последовательности и строгой систематичности, необходимых для того, чтобы пролить новый свет на «несовершенства» общественно-экономического строя. По примеру многих и многих писателей, миросозерцание которых сложилось под влиянием борьбы различных привилегированных слоев общества за свое исключительное преобладание, фон-Кирхман нападал на «монополию» в некоторых из ее проявлений, беря под свою защиту другие виды той же самой «монополии». Так, например, он становился в очень резкое отношение

---

[1]) «В 1848 году,—говорит он сам в одном из писем своих к Рудольфу Мейеру,—меня считали то за реакционера, то за красного», einen Blutrothen.

к поземельным собственникам и «капиталистам», т.-е. людям, доход которых образуется из процентов с отданного взаймы денежного капитала. По его мнению, эти способы получения дохода, без всякого труда, были главной причиной большей части общественных бедствий настоящего времени. Фон-Кирхман совершенно упускал из виду, что прибыль предпринимателя представляет собою такой же неоплаченный труд работника, как и поземельная рента или процент на денежный капитал. Ответом на эти статьи фон-Кирхмана и явились *«Социальные письма»* Родбертуса, в которых последний противопоставил взглядам Кирхмана и других писателей свою собственную теорию ренты и промышленных кризисов. «Sociale Briefe an von-Kirchmann», вышедшие в 1850—51 годах, содержат уже более полное и подробное изложение экономического учения Родбертуса, чем первый труд его «Zur Erkenntniss etc». Вместе с тем, они являются последним сочинением нашего автора, посвященным общим вопросам народного хозяйства. Правда, немецкая литература обогатилась с тех пор еще не одним трудом, вышедшим из-под пера Родбертуса. Но это были специальные сочинения, посвященные частным практическим вопросам и лишь мимоходом затрагивавшие основные теоремы экономической науки. К этой категории относятся исследования Родбертуса о поземельном кредите, из которых главное, «Zur Erklärung und Abhülfe der heutigen Kreditnoth des Grundbesitzes», вышло в 1869 году в Иене. К тому же периоду литературной деятельности нашего автора относятся две небольшие брошюры его по рабочему вопросу. Когда Лассаль начал свою агитацию в среде немецких рабочих, комитет «Рабочего союза» обратился к автору *«Социальных писем»* с просьбой вступить в возникающую организацию или, по крайней мере, помочь ей советами и указаниями. Лассаль с самым горячим сочувствием относился к мысли привлечь на сторону «Союза» Родбертуса, «Письма» которого он, по его собственным словам, прочел еще в 1853 г. «с величайшим вниманием». Родбертус уступил письменным настояниям Лассаля и переслал ему для напечатания свое *«Открытое письмо комитету немецкого рабочего союза»*, которое и появилось в 1863 году в Лейпциге. Но желанного Лассалем полного соглашения между ним и Родбертусом все-таки не произошло. Последний не принял активного участия в начинавшемся рабочем движении и, несмотря на неоднократные просьбы Лассаля, не появился даже ни на одном рабочем собрании. Родбертуса смущала выработанная Лассалем программа союза, в которой требование всеобщего избирательного права занимало первое место. Лассаль доказывал его, как известно,

с целью образования особой политической партии рабочих, что, как мы уже сказали выше, казалось Родбертусу не только излишним, но даже и вредным. Это и был важнейший пункт разногласия, о который разбились все стремления этих замечательных людей к взаимному сближению.

С большим сочувствием отнесся Родбертус к «социально-консервативному» изданию «Berliner Revue», издававшемуся Рудольфом Мейером. Родбертус не отказался сотрудничать в нем и написал для него несколько статей. Самою интересною из них является статья «О нормальном рабочем дне», вышедшая в 1871 году отдельной брошюрой. Родбертус излагает в ней подробнее, чем в каком-либо другом своем сочинении, «практические предложения» свои, для которых главные труды его являлись лишь «необходимой теоретической основой». Он доказывает в ней необходимость таких законодательных постановлений, которые позволили бы рабочим «воспользоваться увеличением производительности национального труда», не нарушая в то же время «прав поземельных собственников и капиталистов». Для оценки экономической доктрины нашего автора брошюра эта имеет очень важное значение. Нам придется поэтому еще неоднократно возвращаться к ней в нашем дальнейшем изложении. Теперь же мы скажем несколько слов о другого рода работах Родбертуса, тесно связанных с экономическим его исследованием.

Как увидит читатель из следующих глав нашей статьи, одною из характернейших особенностей учения Родбертуса было убеждение его в том, что существующие ныне формы общественно-экономических отношений нельзя рассматривать, как постоянные и неизменные, возникшие с первых же шагов экономической деятельности человека и безусловно для нее необходимые. Свойственный капиталистическому обществу способ производства, обмена и распределения представлялся ему не более как «*исторической категорией*», созданной экономической необходимостью и носящей в самой себе задатки дальнейшего своего развития и преобразования. Естественно было поэтому, что исследования Родбертуса не ограничивались экономической жизнью современного общества. Ему необходимо было обратиться к изучению истории, чтобы открыть в ней законы, под влиянием которых совершаются образование и смена общественно-экономических формаций. И он не только хорошо ознакомился с экономической историей цивилизованных народов, но и внес несколько ценных вкладов в литературу этого предмета. С 1864 г. он стал помещать свои исследования по политической эконо-

мии классической древности в «Jahrbücher für Nationale-Oekonomie und Statistik», издававшихся Бруно Гильдебрандом. Первым из этих историко-экономических трудов Родбертуса был переведенный ныне на русский язык опыт об «адскрипциях, инквилинах и колонах». За ним последовали статьи «об истории римского трибута со времен Августа», «о стоимости денег в древнем мире» и т. д. И хотя работы этого рода далеко не составляют главной ученой заслуги Родбертуса, но историки оказались более внимательными к трудам не принадлежащего к их цеху писателя, чем экономисты. Исторические исследования Родбертуса еще при жизни его обратили на себя серьезное внимание специалистов. По словам Ад. Вагнера, исследования эти «высоко ценятся историками-специалистами». Хотя некоторые его заключения,—например, по вопросу о возникновении колоната,—до сих пор еще подвергаются оспариванию, но даже те, которые пришли по этому вопросу к другим выводам, относятся к трудам его с величайшим уважением. Даже такой выдающийся знаток римских древностей, как Л. Фридлендер, сознается, что ему в его исследованиях о римском народонаселении «оказывали существенную услугу подробные письменные указания Родбертуса». Ад. Вагнер совершенно верно прибавляет, что Родбертус имел «почти перед всеми без исключения историками и филологами огромное преимущество, заключавшееся в основательном знакомстве с политической экономией и сельско-хозяйственной техникой». Благодаря своим обширным экономическим познаниям он умел поставить изучаемое им историческое явление на реальную почву развития общественного хозяйства. Таким образом, он сразу выходил из заколдованного круга туманных гипотез о «народном духе» и влиянии этого «духа» на политическую и правовую историю общества. Для примера сошлемся на вопрос о причинах перехода рабства в ту форму зависимости, которая известна под именем крепостничества. Известно, что вопрос этот давно уже привлекал к себе внимание историков, при чем одни приписывали названный переход влиянию христианства, другие апеллировали к особым свойствам «германского духа». Первым противоречили несомненные исторические факты [1]), вторые ничем не могли подтвердить свою мысль. Родбертус взглянул на дело с точки зрения экономической, и оно,—по крайней мере, по отношению к римским хозяйственным условиям,— представилось в совершенно ясном свете. В своем исследовании об «адскрипциях, инквилинах и ко-

[1]) Ср. Histoire de l'esclavage ancien et moderne par A. Tourmagne, главу III пятой книги Le christianisme a-t-il détruit l'esclavage?, а также F. Laurent, „La féodalité et l'eglise" главу—„Affranchissement des serfs".

лонах» он показал, что для «интенсивного, отличного от римского способа обработки полей необходима была непосредственная выгода самого возделывателя, а отсюда—участие владельца и, вследствие этого, только мелкое хозяйство. При наших теперешних общественных условиях это повело бы к образованию свободного класса арендаторов мелких участков с платою аренды деньгами. «Но одних вольноотпущенников было недостаточно для образования такого класса, да к тому же существовали уже кроме того рабы, которые приставлены были к лавкам и мелочным лавочкам на условиях, аналогичных с полевыми институрами. Что же касается денежной аренды, то, повидимому, и начато было с нее, но по тем же причинам, которые лежали в общих условиях древнего натурального хозяйства, и вследствие обесценения денег, от нее должны были отказаться. Словом, мелкое хозяйство и мелкая аренда, вынужденные обстоятельствами, видоизменились под влиянием существовавших условий так, что в арендаторы брались, главнейшим образом рабы, и аренда уплачивалась при этом натурой». Затем, под влиянием государственных потребностей, «законодательство прикрепило колонов к земле», и рабы-арендаторы превратились в крепостных, плативших «вместо прежней произвольной аренды только канон» [1]).

Это исследование Родбертуса показывает, что и решение более общего вопроса о причинах исчезновения рабства и замены его крепостною зависимостью в средневековой Европе может быть найдено лишь в хозяйственных условиях того времени. И в этом смысле «Исследования в области национальной экономии классической древности» имеют большое философско-историческое значение.

Но если до сих пор редки экономисты, рассматривающие хозяйственный строй современной Европы как преходящую «историческую категорию», то нужно сознаться, что еще реже встречаются историки, отводящие экономическому «фактору» надлежащее место в своих обобщениях. Неудивительно поэтому, что интерес, возбужденный историческими исследованиями Родбертуса в среде специалистов, ограничивался пределами того или другого из разработанных им вопросов. Его оригинальные философско-исторические взгляды,—по свидетельству того же Ад. Вагнера,—«обратили на себя гораздо менее внимания», а еще того менее встретили они согласия и одобрения.

Сотрудничество Родбертуса в гильдебрандовских «Jahrbücher»

---

[1]) См. «Исследования в области национальной экономии классической древности». Выпуск первый, стр. 15, 34—35.

продолжалось до 1874 года, к которому относится последнее напечатанное историческое его исследование «Bedenken gegen den von den Topographen Rom's angenommenen Tract der Aurelianischen Mauer». История не отвлекла его, однако, от главного предмета его занятий—общих вопросов политической экономии. В 1875 году вышло новое издание двух последних «*Писем*» его к Кирхману. В предисловии к этому изданию Родбертус говорит, что он «намеревался прибавить к этим двум письмам новый отдел, который рассматривал бы логическую сущность главных национально-экономических понятий в различных исторических, одна другую сменяющих формах их развития».

В этом отделе он имел в виду «провести резкую черту различия между логическими и историческими категориями во всех частях экономической науки, главным же образом в учении о капитале». Но ему не удалось исполнить это намерение. Продолжительная болезнь, к которой присоединилась еще потеря глаза, помешала ему докончить этот написанный уже начерно отдел ко времени печатания второго издания его «Социальных писем к Кирхману», а через пять месяцев по выходе в свет этого издания Родбертуса уже не стало. Он скончался в своем имении Ягецове 6-го декабря 1875 года от воспаления легких. Один из друзей покойного, биограф и издатель фон-Тюнена, Шумахер-Цархлин взял на себя приведение в порядок и издание оставшегося после него «литературного наследства». А оно оказалось очень ценным. В бумагах Родбертуса было найдено введение к «Социальным письмам», написанное для предполагавшегося его первого «Письма», не вошедшего в издание 1875 года. Почти совершенно оконченным и готовым к печати оказалось новое, четвертое «Письмо», представляющее собою, очевидно, тот «новый отдел», который Родбертус считал необходимым для законченного изложения своих воззрений. Этому отделу был посвящен последний остаток сил семидесятилетнего ученого. Не далее как за две недели до своей смерти Родбертус писал Ад. Вагнеру, что его «приезд в Берлин замедляется все более и более», так как он «непременно хочет окончить» свое продолжение «Социальных писем к Кирхману». Это сочинение появилось в печати под именем «Капитала» после того, как написаны были эти статьи. Оно не дает, однако, ничего нового для характеристики экономических взглядов Родбертуса. Из других рукописей заслуживает особенного интереса незаконченное еще исследование от распределении национального дохода в Англии. Это исследование должно было служить иллюстрацией к учению Родбертуса о распределении дохода между различными классами современного общества.

Весьма интересным дополнением к литературным трудам Родбертуса может служить переписка со многими из его современников. По замечанию Ад. Вагнера, «Родбертус был одним из тех немногих, которые пишут теперь длинные ученые письма». Он охотно вступал в переписку со всеми, обращавшими на себя его внимание оригинальностью своих воззрений или готовностью содействовать осуществлению его «практических предложений». Мы говорили уже выше, что в самый горячий период агитации Лассаля Родбертус состоял с ним в переписке, касавшейся как практической злобы дня, так и общих вопросов экономии и права. Письма Лассаля к Родбертусу, найденные в бумагах последнего, вышли потом отдельным изданием. Нельзя не пожалеть, что до сих пор не найдены письма Родбертуса к Лассалю, и, таким образом, знакомство наше с перепискою этих двух замечательных людей остается односторонним. Но зато уже несколько лет тому назад обнародованы письма Родбертуса к Ад. Вагнеру и архитектору Петерсу в Шверине [1]). В профессоре Вагнере он надеялся, повидимому, встретить экономиста, способного усвоить более широкое миросозерцание, чем то, на котором остановились молодые отпрыски «историко-реалистической школы»—катедер-социалисты. Впоследствии он убедился, повидимому, в неосновательности своих ожиданий, как об этом можно судить, по крайней мере, по письму его к тому же Ад. Вагнеру, от 20-го июня 1872 года. Мы приведем отрывок из этого письма, так как сам Ад. Вагнер справедливо замечает, что «оно характеризует принципиальное отношение Родбертуса к социальному вопросу». Речь идет в этом письме о задуманном в 1872 году плане об'единения экономистов «антиманчестерского» направления. «Я не могу выразить вам,—писал по этому поводу Родбертус,—до какой степени счастливою кажется мне мысль об об'единении людей науки против этого псевдо-научного направления (т.-е. «манчестерства»)... Но, признаюсь вам, я не думаю, чтобы ваше об'единение могло и должно было итти дальше единодушного протеста против манчестерства. В социальном вопросе вы не согласитесь и не можете согласиться между собою. В лучшем случае вы должны будете выработать, чтобы не разойтись, род мозаичной программы (eine Art Mosaikprogramm), в которую каждый положит свой камень. Но я думаю, что это имело бы свои большие неудобства и скорее усыпило бы, чем

[1]) Статья эта была уже окончена, когда появилась в печати переписка Родбертуса с Рудольфом Мейером, в виде двух небольших томиков, содержащих в себе также некоторые статьи Родбертуса из «Berliner Revue». Нам придется коснуться этого издания при оценке «практических предложений» автора.

возбудило внимание общества». Поэтому Родбертус просит при выработке программы «обойтись без его участия». Он прибавляет, что участие повело бы ко взаимным неудовольствиям. «При вашем благосклонном мнении обо мне вы совершенно упустили из виду, каким злостным еретиком, какою черною национально-экономическою душою являюсь я в нашей науке... Поэтому многие приняли бы меня за «Бебеля высшего сорта», и вы сами были бы, в конце концов, не рады, что связались со мною по поводу социального вопроса». И действительно, членам эйзенахского союза вообще, а профессору Ад. Вагнеру в особенности, Родбертус был далеко не товарищ. При всем своем «радикальном консерватизме», он никогда не стал бы провозглашать бисмарковский способ решения рабочего вопроса квинт-эссенцией социально-реформаторской мудрости, как это делал Ад. Вагнер во время последних выборов в рейхстаг.

Что касается архитектора Петерса, то он заинтересовал Родбертуса составлением «Вспомогательных таблиц» для определения «нормального рабочего дня». Таблицы эти имели огромное значение для «практических предложений» автора «Социальных писем к Кирхману». и нам придется еще коснуться их, равно как и возникшей по поводу их переписки, когда мы будем говорить о предложенных Родбертусом способах решения социального вопроса.

Переходя теперь к изложению его экономической теории, мы напомним читателю, что нашему автору не удалось издать ни одного сочинения, которое могло бы назваться полным и систематическим изложением его учения. Нам придется, поэтому, пользоваться как различными литературными произведениями, так и ученою перепискою Родбертуса. При этом мы можем не стесняться, в нашем изложении, соображениями о времени выхода того или другого из его сочинений. Он сам говорил, что во все продолжение своей учено-литературной деятельности он неизменно держался одних и тех же политико-экономических воззрений.

II.

По основным положениям своей доктрины, Родбертус был учеником и последователем Смита и Рикардо. Во втором «*Письме к Кирхману*» он сам говорит, что теория его «есть лишь последовательный вывод из того—введенного в науку Смитом и еще глубже обоснованного школой Рикардо—положения, по которому все *предметы потребления, с экономической точки зрения, должны рассматриваться лишь как про-*

дукты труда, которые ничего кроме труда не стоят». Но к тому времени, когда наш автор выступил на литературное поприще, это основное положение классической экономии далеко не могло назваться общепризнанным в науке. С легкой руки Ж.-Б. Сэя возникло и развивалось новое учение о стоимости, которое на место вполне определенного понятия о труде старалось поставить лишенное всякого реального содержания понятие о «производительных услугах»; труд, затраченный в производстве, смешивало с заработной платой и т. д., и т. д. Мало-по-малу в заложенное Смитом и Рикардо здание экономической науки нанесена была такая масса всякого хлама, что невозможно было продолжать постройку этого здания без предварительной радикальной его очистки. Кроме того и само учение школы Смита-Рикардо, в чистом его виде, нуждалось в пересмотре и сообразных с обстоятельствами времени поправках. Нужно было отделить сущность учения экономистов-классиков от их второстепенных, более или менее случайных, более или менее ошибочных положений. Нужно было сопоставить их взгляды на вероятный исход общественного развития с тем состоянием, в котором находилась Западная Европа в конце первой половины XIX столетия. Чувствовалась потребность подвести итоги всему тому, что выиграло и потеряло общество с тех пор, как, освободившись от феодальных пут, оно пошло по пути капиталистического развития. Экономическая наука пришла в «критический период» своего развития. Люди беспристрастные находили, что не все идет к лучшему в царстве «свободной конкуренции», что невыносимое положение рабочих классов грозит целым рядом революционных движений и требует безотлагательного принятия самых серьезных мер. А периодические промышленные кризисы, гибельно отражавшиеся на благосостоянии всех классов общества, заставляли задуматься даже тех, которые из-за благоденствия буржуазии не заметили бы бедствий пролетариата. «Недостатки экономических отношений нашего времени,—писал Родбертус,—признаются теперь всеми: аристократией и народом, людьми, стремящимися вернуть прошлое, защитниками настоящего и провозвестниками будущего, теми, которые воображают, что наука о народном хозяйстве достигла уже высшей точки своего развития, равно как и теми, которые едва признают ее за науку». Но когда заходила речь о способах устранения этих недостатков, то различие интересов, положений и направлений вступало в свои права и подсказывало весьма различные, часто диаметрально противоположные мнения. Между реакционерами, которые, по словам Родбертуса, «искали спасения в возврате к средневековым отношениям», и

теми крайними партиями, которые «хотели одним скачком перенестись в общественный строй, не имеющий никаких точек соединения с настоящим», располагалось множество оттенков более умеренного образа мыслей. Наш автор был одним из первых экономистов, пришедших к тому убеждению, что причина этих «несовершенств» лежит в эксплоатации человека человеком, и решившихся искать способов к ее устранению или, по крайней мере, ограничению. Чуждый того подогретого оптимизма, который уже в то время считался одним из несомненнейших признаков благонамеренности, Родбертус не скрывал от своих читателей ни размеров зла, ни исторического его значения. Резкими и смелыми штрихами нарисовал он безотрадную картину современных общественных отношений. «Пауперизм и торговые кризисы,—писал он в первом «Письме к Кирхману»,—таковы, стало быть, жертвы, которыми заплатило общество за свою свободу. Новые правовые учреждения освободили его от прежних цепей; оно вступило в обладание всеми своими производительными силами; механика и химия отдали в его распоряжение силы природы; кредит подает надежду на устранение других препятствий,—словом, материальные условия, необходимые для того, чтобы свободное общество сделать также и счастливым, находятся на-лицо,—а между тем, смотрите, новое бедствие заняло место старого бесправия. Рабочие классы, которые приносились прежде в жертву юридической привилегии, отданы во власть привилегии фактической, и эта последняя обращается по-временам против самих привилегированных. Пять шестых нации, благодаря ничтожности своего дохода, не только были лишены до сих пор всех благодеяний цивилизации, но претерпевали иногда самые страшные бедствия нищеты, которая угрожает им беспрерывно. А между тем они—творцы всего общественного богатства. Их работа начинается с восходом и кончается только с закатом солнца, часто продолжается и ночью, но никакие усилия с их стороны не могут изменить их положения. Не возвышая своего заработка, они теряют последние остатки времени, которым могли бы воспользоваться для своего образования... Вместе с ростом национального богатства растет обеднение рабочих классов; чтобы воспрепятствовать удлинению рабочего дня, является надобность в специальных законах; наконец, численный состав рабочего класса увеличивается в пропорции большей, чем численность остальных классов общества». Как человек, сумевший возвыситься над классовыми предрассудками буржуазных экономистов, Родбертус увидел, что главною задачей политической экономии должно быть отныне изыскание средств для облегчения бедственного положения

пролетариата. Он понял, что рабочие классы, как «творцы общественного богатства», имеют неоспоримое право на более широкое пользование этим богатством. «Я согласен,—продолжает он, обрисовавши бедственное положение «пяти шестых нации»,—что до настоящего времени цивилизация нуждалась в таком огромном количестве бедствий для своего пьедестала. Но целый ряд удивительнейших изобретений, увеличивших производительность человеческого труда более чем во сто раз, дал возможность устранить эту печальную необходимость. Благодаря названным изобретениям национальное богатство увеличивается в возрастающей прогрессии... Я спрашиваю: может ли существовать более справедливое требование, чем требование того, чтобы творцы этого старого и нового богатства получили хоть какую-нибудь пользу от его увеличения; чтобы увеличился их доход, или сократилась продолжительность их работы, или, наконец, чтобы все большее число их переходило в ряды тех счастливцев, которые пожинают плоды их труда? Но общественное хозяйство приносило до сих пор прямо противоположные результаты».

Констатировавши таким образом, что распределение продуктов в буржуазном обществе противоречит «самым справедливым требованиям», Родбертус переходит к другому «недостатку» современного экономического строя—периодически возвращающимся торговым кризисам.

Если современный способ распределения гибельно отзывается на благосостоянии рабочих, то промышленые кризисы не щадят и капиталистов. «Они представляют собою бич, терзающий по-временам чересчур ожиревшее тело капитала». Но рабочим от этого, разумеется, не легче. «Болезнь охватывает весь общественый организм и в особенности поражает те классы общества, которые менее всего могут назваться ее виновниками. Тогда выступает на сцену нелепое явление: магазины оказываются переполненными товарами в то время, когда рабочие терпят самую страшную нужду. Тогда соединяются вещи, повидимому, совершенно несоединимые».

Торговые кризисы самым тесным образом связаны, по мнению Родбертуса, с пауперизмом, а этот последний является следствием того закона заработной платы, который, под именем «железного закона Лассаля», наделал столько шуму в немецкой экономической литературе. В действительности закон этот так же мало может назваться «законом Лассаля», как теория происхождения видов может назваться теорией Геккеля или теорией какого-нибудь другого из ее популяризаторов. Даже еще менее, потому что «железный закон» почти так же стар, как стара *наука* о народном хозяйстве. Закон этот признавался еще

Тюрго, Смитом и Рикардо, и Лассаль был совершенно прав, говоря, что он может, в подтверждение своих слов, сослаться на столько великих и славных имен, сколько их было в истории экономической науки. Как писатель, не отказавшийся от научного наследства экономистов-классиков, Родбертус принимал этот закон вместе со всеми вытекавшими из него выводами. Но само собою понятно, что в половине XIX столетия сама жизнь сделала такие выводы из этого закона, каких и не подозревали Тюрго, Смит и Рикардо. Родбертус не мог поэтому формулировать его с олимпийским спокойствием экономистов-классиков. Адам Смит ограничился по поводу этого закона тем замечанием, что «мало утешительного в судьбе человека, не имеющего других источников дохода кроме своего труда». Родбертус сделал его исходной точкой своих реформаторских планов.

«Главною целью моих исследований,—писал он в первом своем сочинении [1]),—будет увеличение доли рабочего класса в национальном продукте,—увеличение, избавленное от изменчивых влияний рынка и построенное на прочном основании. Я хочу доставить этому классу возможность извлекать пользу из возрастания производительности труда. Я хочу устранить господство того закона, который иначе может оказаться гибельным для наших общественных отношений,—закона, по которому заработная плата самыми условиями рынка всегда понижается до уровня насущнейших потребностей рабочего, как бы ни возвышалась при этом производительность труда. Этот уровень платы лишает рабочих возможности получить надлежащее образование и составляет самое вопиющее противоречие с их современным правовым положением, с тем формальным равенством их с прочими сословиями, которое провозглашено нашими важнейшими учреждениями». Обнаружение тесной связи между пауперизмом и торговыми кризисами Родбертус считает одною из главных заслуг своей экономической теории. Он неоднократно повторяет это во втором «Письме к Кирхману». Все разногласия между ним и Кирхманом автор «Письма» об'ясняет именно тем, что Кирхман, «подобно многим другим, сводит эти печальные явления не к одному и тому же основанию, *не к одному и тому же недостатку* в современной общественно-экономической организации» [2]). Неудивительно поэтому, что, обеспечивая рабочим большую долю в «национальном продукте», наш автор надеялся тем самым «устранить перио-

[1]) См. „Zur Erkenntniss unserer staatswirthsch. Zustände", S. 28—29 в примечании.
[2]) См. „Zur Beleuchtung der sozialen Frage", zweiter Brief, S. 1.

дические, страшные промышленные кризисы» [1]). Посмотрим же внимательнее, как доказывает Родбертус существование «железного закона» и связь его с пауперизмом и кризисами, этими «бичами», из которых последний терзает, без разбора, и исхудавшие плечи труда и «ожиревшее тело капитала».

«Если экономическая жизнь общества,—говорит наш автор,—в отношении распределения национального продукта предоставлена самой себе, то известные, связанные с развитием общества условия ведут к тому, *что при возрастающей производительности общественного труда заработная плата составляет все меньшую и меньшую часть национального продукта*» (курсив Родбертуса). Это относительное уменьшение заработной платы не всегда сопровождается уменьшением количества предметов потребления, поступающих в распоряжение рабочего. Другими словами, относительное уменьшение заработной платы не всегда сопровождается абсолютным ее уменьшением. Допустим, что в настоящее время каждый земледельческий рабочий производит своим трудом вдвое больше хлеба, чем производил он в прошлом столетии. Предположим также, что заработная плата его равняется пятидесяти четвертям хлеба, и что тому же равнялась она и в прошлом столетии. Тогда окажется, что, не потерпевши никакого количественного изменения, заработная плата все-таки стала представлять собою вдвое меньшую часть земледельческого продукта. Если прежде она составляла *половину* всего произведенного трудом работника хлеба, то теперь она будет равняться *четвертой части* его количества. Как *часть* продукта, она уменьшилась бы даже в том случае, если вместо пятидесяти четвертей хлеба она равнялась бы теперь шестидесяти или даже восьмидесяти четвертям. Только поднявшись до ста четвертей, стала бы она в прежнее отношение к общей сумме продукта, т.-е., как и в прошлом столетии, составляла бы ее половину. Но Родбертус не допускает возможности подобного возвышения заработной платы в современном обществе. Вся суть социального вопроса именно в том, по его мнению, и заключается, что возрастание производительности труда не сопровождается пропорциональным ему увеличением заработной платы.

«Я убежден,—говорит наш автор,—что плата за труд, рассматриваемая как часть продукта, *падает* по меньшей мере в той же, если еще не в большей пропорции, в какой увеличивается производительность труда» [2]).

[1]) „Zur Erkenntniss etc.“, S. 29.

[2]) „Zur Beleuchtung etc.“, S. 25.

«Вы должны согласиться,—продолжал он, обращаясь к Кирхману,—что ежели может быть доказано постоянное уменьшение заработной платы, как части продукта, то связь этого обстоятельства с пауперизмом и торговыми кризисами обнаружится сама собою».

В самом деле, благодаря относительному уменьшению заработной платы, положение рабочих классов нисколько не улучшается с возрастанием национального богатства. В то время как высшие классы общества достигают неслыханного прежде благосостояния, количество предметов потребления, достающихся рабочим в виде заработной платы, остается неизменным, да и это бывает, по мнению Родбертуса, лишь «в лучшем случае». Очень часто обогащение высших классов сопровождается *уменьшением* дохода рабочих. Такое распределение продуктов, естественно, влечет за собою появление пауперизма, именно в тот период экономического развития, когда улучшенные способы производства могли бы, казалось, обеспечить благосостояние всех классов общества. Нужно помнить, что понятие о богатстве или бедности данного лица или класса—понятие относительное. Родбертус полемизирует против Адама Смита, утверждавшего, что «человек богат или беден, смотря по тому, в какой мере может он обеспечить себе удовлетворение своих потребностей, наслаждения и удобства жизни». Он справедливо замечает, что, держась данного Смитом определения, мы пришли бы к весьма странным выводам. Мы должны были бы признать, «что зажиточный немец нашего времени богаче древних королей, или даже, что в древности совсем не было богатых. Однако богатые и бедные существовали и в самые древние времена. Поэтому под богатством (лица или класса) нужно понимать *относительную долю* (этого лица или класса) в общей массе продуктов, существующей на известной стадии культурного развития народа» [1]), независимо от того, какое количество удобств и наслаждений может доставить эта *доля* ее обладателю. Возрастающее обеднение рабочих классов может, следовательно, считаться доказанным, если будет доказано, что *относительная доля* рабочих в национальном продукте падает в той же пропорции, в какой увеличивается производительность их труда.

Перейдем к промышленным кризисам. Если заработная плата, как *часть* продукта, постоянно понижается, то покупательная сила рабочих классов, т.-е. четырех пятых или пяти шестых всего населения, не может оставаться в соответствии с развитием производительных сил общества.

[1]) „Zur Erkenntniss etc.“, SS. 8—9.

Она остается на прежнем уровне или даже уменьшается в то самое время, когда производство достигает все более и более высокой степени развития и рынки переполняются товарами. Это ведет к затруднению сбыта, застою в делах, а наконец, и к кризисам. «Пусть не возражают мне,—говорит Родбертус,—что отнятая у рабочих покупательная сила остается в руках высших классов и должна поэтому с прежнею интенсивностью действовать на рынке. Продукты теряют всякую стоимость там, где не существует в них надобности. Продукт, который мог бы иметь стоимость в глазах рабочих, оказывается совершенно излишним для других классов общества и остается непроданным. В национальном производстве должна произойти временная остановка, пока скопившиеся на рынке массы товаров не разойдутся мало-по-малу и пока направление производительной деятельности не приспособится к потребностям тех, в чьи руки перешла отнятая у рабочих покупательная сила» [1]).

Центром тяжести всей аргументации Родбертуса является, как видит читатель, учение его о заработной плате, как *части* национального дохода. Чтобы судить о верности его выводов, мы должны, разумеется, проверить основательность его посылок. Мы должны взвесить доказательства, приводимые им, во-первых, в пользу того положения, что производительность труда не только возрастала прежде, но возрастает и по настоящее время. Мы должны спросить себя, во-вторых, верно ли, что *количество предметов потребления*, поступающих в распоряжение рабочего класса, возрастало, по меньшей мере, не в той же пропорции, в какой увеличивалась производительность труда, а пожалуй и совсем осталось неизменным или даже упало?

Раз будут доказаны эти два положения, то учение Родбертуса о заработной плате явится вполне законным выводом из них. Мы должны будем признать, что рассматриваемая, как *часть* национального дохода, заработная плата, действительно, падает, в том или другом отношении к возрастающей производительности труда. Посмотрим же, на чем основывал наш автор свои «предварительные положения». И прежде всего постараемся отделить в них несомненное от гадательного, аксиомы от гипотез, данные, твердо установленные классической экономией, от того, что нуждалось еще в доказательствах, будучи впервые высказано Родбертусом. Припомним учение Рикардо о том же предмете. Ри-

[1]) См. брошюру „Der Normal-Arbeitstag", перепечатанную в „Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft" 1878 года, Erstes u. zweites Heft, S. 345.

кардо также признавал, что производительность труда не остается неизменной, но он допускал возможность ее возрастания далеко не во всех отраслях производства. Что касается фабричной обработки сырых произведений, то здесь постоянное увеличение производительности человеческого труда стоит, по его мнению, вне всякого оспаривания. Оно обусловливается «усовершенствованием машин, лучшим разделением и распределением труда и постоянно возрастающею ловкостью производителей». Не так смотрел Рикардо на земледелие. В основу его теории ренты легло убеждение в том, что производительность земледельческого труда в цивилизованных странах постоянно уменьшается, так как под влиянием возрастающего спроса в обработку поступают все менее и менее плодородные земли. Вследствие этого и цена земледельческих продуктов должна, по его учению, постоянно возрастать. А так как заработная плата должна быть достаточна «для доставления рабочим средств к существованию и к продолжению своего рода»; так как кроме того главным предметом потребления рабочих являются произведения почвы, то и содержание их должно с течением времени становиться дороже. Отсюда он делал тот вывод, что заработная плата, как *часть* продукта, стремится к повышению, прибыль же «имеет естественное стремление понижаться».

Это учение Рикардо не имело, однако, ничего общего с оптимизмом Кэри, полагавшего, что буржуазные общества сумеют под эгидой покровительственного тарифа соединить *возрастание* производительности земледельческого труда с увеличением заработной платы, как части продукта. Автор «*Начал политической экономии*» стоял, напротив, гораздо ближе к Родбертусу, хотя и пришел к совершенно другому выводу, чем этот последний. «Естественная цена труда возрастает, по мнению Рикардо, в соответствии с увеличением цены на пищу и на другие необходимые предметы; она падает в соответствии с понижением этой цены» [1]). Если бы, следовательно, ему было доказано, что производительность земледельческого труда возрастает, а не понижается, то он, совершенно в духе Родбертуса, сказал бы, что заработная плата, как часть продукта, «имеет стремление к понижению, а не к повышению». Но во время появления «Начал политической экономии» убеждение в том, что с возрастанием народонаселения производительность земледельческого труда постоянно уменьшается, было весьма распространенным. Многие из современных Родбертусу экономистов также принима-

[1]) Сочинения Рикардо, выпуск I, стр. 55.

ли это положение за бесспорную истину. Милль, например, считал его «важнейшим законом в науке о народном хозяйстве». На него же опирался, в своих рассуждениях, и фон-Кирхман, с которым вступил в полемику Родбертус. Высказывая противоположное мнение, наш автор расходился, следовательно, со школою Рикардо. Собственно говоря, его убеждение в том, что производительность труда возрастает также и в земледелии, было единственным пунктом, в котором его учение о заработной плате разошлось с учением экономистов-классиков. На этот спорный пункт ему, казалось бы, и нужно было направить все силы своей критики. Но мы сказали уже выше, что рядом со школой Смита-Рикардо развилась другая школа, имевшая своим родоначальником Ж. Б. Сэя и распавшаяся со временем на несколько различных направлений. Несмотря на свои разногласия, экономисты всех этих направлений сходились в том, что каким-то чутьем угадывали, сколько хлопот наделает буржуазии, впоследствии, учение Рикардо о меновой стоимости, о заработной плате, о распределении национального дохода и т. д. Поэтому они взапуски принялись дополнять и поправлять «односторонние» и «бессердечные» теории Рикардо. Одной из услуг, оказанных «учеными» этого пошиба «делу порядка», была, как замечает Маркс, бастиатовская «категория услуги». С своей стороны, и так называемая историко-реалистическая школа, эта немецкая разновидность «вульгарной экономии», немало способствовала искажению здравых политико-экономических понятий. Все это привело к тому, что при защите своих «предварительных положений» Родбертус должен был начать чуть ли не с азбуки хозяйственной науки. «Повидимому,—говорит он во втором «Письме к Кирхману»,— мне нужно немедленно приступить к доказательству моих двух предварительных положений, чтобы непосредственно затем показать, в какой связи стоят они с вопросом о пауперизме и кризисах. Однако дело далеко не так просто! При вашем знакомстве с современным положением теории, вы прекрасно знаете, какое множество невыясненных понятий, какое множество научных предрассудков стоит в противоречии с основным пунктом моих воззрений. Ведь теперь оспаривается даже то, что заработная плата, вообще, должна быть рассматриваема как часть продукта! А до какой степени расходятся ходячие воззрения на природу и происхождение прибыли с основными положениями моей теории! В каком противоречии с нею находится господствующее учение о происхождении и возрастании поземельной ренты! Без преувеличения можно сказать, что весь метод, которому следовала до сих пор наша наука, затрудняет понимание поло-

жения, лежащего в основе моего об'яснения экономических бедствий нашего времени» [1]).

Ошибочность и смутность господствующих в науке понятий обусловливается, по его мнению, прежде всего тем, что сама исходная точка рассуждений экономистов не соответствует характеру изучаемых ими явлений. Национальное хозяйство представляется им простым собранием частных хозяйств, не имеющих никакой органической связи между собою. Естественно поэтому, что индивидуум становится центром тяжести всех их рассуждений. Хозяйством и потребностями индивидуума, его капиталом и доходом ограничивается все поле зрения экономистов, и эта «атомистическая точка зрения» ведет их, по мнению Родбертуса, к целому ряду противоречий. «Вместо того чтобы исходить из признания того факта, что разделение труда связывает общество в одно неразрывное хозяйственное целое; вместо того чтобы об'яснять отдельные общественно-экономические понятия и явления с точки зрения этого целого; вместо того чтобы понятия о национальном (общественном) имуществе, национальном производстве, национальном капитале, национальном доходе и его разделении на поземельную ренту, прибыль и заработную плату—эти общественные понятия—поставить во главе своих исследований и с помощью их об'яснить положение и роль индивидуумов,—наука о народном хозяйстве поддалась влиянию индивидуалистических стремлений нашего времени. Она разорвала на клочки то, что, благодаря разделению труда, составляет одно социальное целое, что не может и существовать иначе, как целое; и от этих клочков, от экономической деятельности индивидуумов она старалась возвыситься до понятия о целом. Так, например, она положила в основу своих исследований понятие об имуществе отдельного лица, не подозревая даже, что имущество человека, связанного со своими ближними посредством разделения труда, существенно разнится от имущества индивидуума, ведущего изолированное хозяйство. Точно так же исходила она из понятия о ренте отдельного землевладельца, забывая, что понятие о поземельной ренте предполагает уже понятие о прибыли и заработной плате, и что обо всех этих понятиях мы можем говорит, имея в виду лишь современное общество и его доход, частями которого являются поземельная рента, прибыль и т. д.» [2]).

Если бы экономическая наука не держалась этого ошибочного ме-

---

[1]) „Zur Beleuchtung etc.", S. 25.

[2]) „Zur Beleuchtung etc.", S. 25—26.

тода. она имела бы теперь, по мнению Родбертуса, совершенно другой вид и, конечно, гораздо дальше ушла бы вперед в своем развитии.

Затронув вопрос о методе, Родбертус разошелся уже не только с «вульгарными экономистами», сомневаюшимися даже в том, что заработная плата представляет собою часть национального продукта. Он коснулся одного из слабых мест самой классической экономии.

Конечно, Рикардо в несравненно меньшей степени заслуживал упрека в излишнем «атомизме», чем какой-нибудь правоверный «Freihändler vulgaris». Автор «Начал политической экономии» отлично понимал, что, несмотря на экономическую «войну всех против всех», производительный механизм современного общества связан в «одно неразрывное целое», в котором каждый работает на всех и все на каждого. Он не сказал бы, как это и до сих пор говорят некоторые экономисты-классики, не исключая и Рикардо, были до такой степени детьми мейств», обменивающих между собою *излишек* своих продуктов. Выработанная же окончательно Рикардо теория распределения национального дохода легла потом в основу учения самого Родбертуса. Но экономисты-классики не исключая и Рикардо были до такой степени детьми своего времени, что не допускали даже и мысли о возможности существования экономических отношений, непохожих на буржуазные. Общественное хозяйство античных государств, организация производства и распределения в далеком будущем,даже жизнь первобытных,диких племен—представлялись им более или менее яркими копиями экономической жизни современной им Англии или Франции. Они допускали еше, что лэндлорды сущствовали не на всех ступенях общественного развития, но без капиталистов и пролетариев они не могли вообразить себе даже охотничьего племени. Они считали,—чтобы употребить выражение Родбертуса—«*делом природы* то, что было лишь *делом истории*». В своих сочинениях они часто приглашали читателя вообразить себе капиталиста-охотника, рыбака-рабочего и тому подобные, будто бы поясняющие дело примеры. Но само собою разумеется, что эта «Ur-Fischer-Methode», как называл ее Ланге, только затрудняла понимание господствующих в капиталистическом обществе отношений. Еще более затрудняла она—или, вернее, делала совершенно невозможным—понимание исторического значения капитализма, как одного из фазисов экономического развития человеческих обществ.

Как человек, задавшийся целью «провести резкую черту различия между логическими и историческими категориями во всех частях экономической науки», Родбертус не мог не заметить указанной ошибки

экономистов-классиков. Он понял, что хозяйственный строй всякого данного общества есть результат длинного процесса развития, и, как всякое «дело истории», изменчив не только в количественном, но и в качественном отношении. Он видел также, в каком направлении должны совершаться эти изменения. «Целый мир лежит между двумя понятиями: капитал сам по себе и капитал, составляющий частную собственность (Privatkapital)!—восклицает он в одном из писем своих к Вагнеру.—Чтобы выяснить себе существующее между ними различие, нужно припомнить античное общество, в котором люди (т.-е. рабы) также принадлежали к капиталу частных лиц; затем нужно представить себе следующий всемирно-исторический период, в котором только земля и капиталы являются об'ектами частной собственности и в котором средства существования работников еще принадлежат к капиталу частных предпринимателей; наконец, нужно выяснить себе будущий период, в котором об'ектами частной собственности будут лишь предметы потребления, почва же и продукт национального производства, пока он не сделался еще *доходом,* составят собственность всего государства» [1]). Только уяснивши себе различия в хозяйственной организации этих трех «следующих один за другим» периодов, можно, по мнению Родбертуса, увидеть совершенно ясно, что̀ такое капитал сам по себе (или капитал в логическом смысле этого слова) и что̀ такое капитал, составляющий частную собственность (или капитал в *историческом* смысле этого слова). Так как классическая экономия даже и не подозревала, что эти два понятия могут не совпадать между собою, то все ее исследования ограничивались только одним из названных всемирно-исторических периодов, именно современным, буржуазным периодом. Естественно было поэтому, что на многие явления этого периода она смотрела не так, как взглянул на них Родбертус, утверждавший, что он «слышит уже приближение новой эры». Считая «делом природы» то, что было лишь «делом истории», экономисты-классики не могли воспользоваться сравнительным методом, с помощью которого Родбертус надеялся выяснить характеристические особенности каждого из «всемирно-исторических периодов». Поэтому, когда наш автор пришел к вопросу о том, в каком же порядке должны быть расположены различные части экономической науки, он не мог признать удовлетворительным план, принятый его предшественниками. Современная политическая экономия казалась ему «простым учением о природе обмена». Это

[1]) „Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft", S. 219—220.

учение нужно было, по его мнению, отнести к *первой части* науки, выясняющей законы «производства, распределения и потребления продуктов» в современном обществе. За нею логически следовала бы *вторая часть*, «указывающая те опасности, которыми может угрожать обществу дальнейшее развитие его экономических отношений при сохранении нынешних правовых учреждений». Наконец, предметом *третьей* и последней *части* экономической науки должен был явиться вопрос о мерах, с помощью которых общество могло бы избежать этих опасностей.

Всякий знакомый с сочинениями буржуазных экономистов знает, как мало задумывались они о мерах, могущих отвратить тревожившие Родбертуса «опасности». Они полагают, что меры эти должны находиться в ведении «исполнительной власти», которая, с своей стороны, не могла предложить ничего, кроме осадного положения и военной диктатуры. Правда, катедер-социалисты немало толкуют теперь об «обязанностях государства» по отношению к рабочему классу, но мы знаем уже, что наш автор называл предлагаемые ими меры «ромашкой, которая не может не только исцелить, но даже и облегчить социальный вопрос». Излишне прибавлять поэтому, что ни «вторая», ни «третья» части науки, в том смысле, как понимал их Родбертус, не находили себе места в сочинениях его предшественников. Самое «учение о природе обмена» понимали они далеко не так, как понимал их автор «*Социальных писем к Кирхману*». Мы видели уже, с какою горячностью нападал он на «атомистическую точку зрения» буржуазных экономистов. По его мнению, экономическая наука «должна была бы исходить из понятий о национальном труде и национальном имуществе, понимая под национальным или общественным трудом кооперацию всех единичных сил, связанных путем разделения труда в одно неразрывное целое; под национальным имуществом—сумму всех единичных имуществ данной нации, также связанных в одно неразрывное целое благодаря потреблению плодов национального труда». Затем она должна была бы перейти к оценке влияния, оказываемого разделением труда на организацию национального производства. Она должна была показать, как при производстве любого продукта общественный труд подразделяется на добывание сырья, фабричную его обработку и наконец перевозку, и как, в свою очередь, эти большие отрасли национального производства дробятся на отдельные предприятия. Соответственно разделению общественного труда на добывание сырья и его обработку нужно было бы установить различие той части национального имущества, которая за-

ключается в национальной почве, от той, которая представляет собою национальный капитал, т.-е. продукт, предназначенный для дальнейшего производства и распределенный между различными предприятиями. Далее необходимо было бы сопоставить понятие о национальном капитале с понятием о национальном продукте, как о результате национального производства, полученном в течение определенного времени. Уяснивши себе понятие о национальном продукте, нужно было бы показать, как одна часть его идет на восстановление потребленного в производстве капитала, другая же—служит для удовлетворения непосредственных потребностей всего общества и отдельных его членов и в этом виде представляет собою национальный доход. От понятия об этом последнем оставался бы затем один только шаг до понятия о национальном богатстве, величина которого определяется степенью производительности общественного труда. «После этого анализа общих политико-экономических понятий и их взаимной связи нужно было бы,—прибавляет Родбертус,—показать, в какой зависимости стоят организация и ход национальнаго производства, равно как и распределение его продуктов, от существуюших в обществе правовых учреждений».

Еще в первом своем сочинении наш автор совершенно верно заметил, что «правовая идея и экономическая необходимость издавна шли рука об руку» [1]). Он поступил бы поэтому последовательнее, если бы постарался обнаружить связь между современными правовыми учреждениями, с одной стороны, и вызвавшею их к жизни экономическою необходимостью—с другой. От такого выяснения много выиграл бы им же самим поднятый вопрос о мерах, способных устранить «недостатки современной общественно-экономической организации». Тогда было бы видно, какие учреждения уже отжили свой век и какие, напротив, продолжают соответствовать общественным потребностям. Критерием явилась бы, в этом случае, та самая экономическая необходимость, «рука об руку» с которой «издавна шло» и всегда будет итти развитие правовой идеи.

Родбертус избрал, к сожалению, обратный путь. Он решился искать в правовых учреждениях об'яснения общественно-экономических явлений и тем не только отнял у себя возможность найти это об'яснение, но и лишил себя единственного разумного критерия для оценки самих «правовых учреждений». Вместо *об'яснения* ему пришлось ограничиться простым *описанием* экономической жизни общества

---

[1]) „Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände", 75, в примечании.

на различных стадиях ее развития. Впрочем вредное влияние закравшейся в рассуждения Родбертуса непоследовательности отразилось более всего на его «практических предложениях». Сделанное же им *описание* общественно-экономических явлений, которое, повторяем, он принимал за *об'яснение* этих явлений, имеет и само по себе большой интерес и потому заслуживает полного внимания читателя. Интерес этот обусловливается тем, что, верный своему взгляду на «исторические категории», Родбертус сопоставил, в своем описании, хозяйственный строй современного общества с тою организацией производства и распределения, которая должна, по его мнению, иметь место в «будущем всемирно-историческом периоде».

Для оценки влияния, оказываемого правовыми учреждениями на экономическую жизнь общества, нужно,—говорит наш автор,—прежде всего иметь в виду важнейший правовой институт нашего времени—частную собственность на землю и капиталы. В самом деле, национальное производство и распределение его продуктов приняли бы совершенно иной вид, если бы земля и капиталы составляли собственность не частных лиц, а всего общества. Тогда не было бы, конечно, частной собственности на орудия труда, но что касается до распределения продуктов, то оно не должно было бы непременно происходить на коммунистических основаниях. Предметы потребления продолжали бы составлять частную собственность благодаря тому, что продукты общественного труда распределялись бы между отдельными лицами, сообразно с участием этих лиц в национальном производстве. При таком порядке вещей доход каждого члена общества зависел бы лишь от количества затраченного им труда, и собственность не только не была бы уничтожена, но, напротив, была бы «окончательно приведена к ее первоначальному и истинному принципу» [1]). Устроенное на таких основаниях общество не об'явило бы, по примеру Прудона, что «собственность есть кража», оно—и только оно—предохранило бы, наоборот, собственность от «кражи» [2]).

Против вышеизложенных оснований распределения продуктов обыкновенно возражают, что производительность труда различных работников никогда не бывает одинакова: один работник может в два часа сделать больше, чем другой в четыре,—утверждают экономисты. Кроме того, иногда говорят, что невозможно сравнить труд работни-

---

1) „Zur Beleuchtung etc.“, S. 23.

2) Ibid., S. 150.

ков, занятых в различных отраслях производств. Луи Рейбо в своих «Etudes sur les réformateurs» удивляется, каким образом такой умный человек, как Оуэн, мог притти к «нелепой мысли» сравнивать труд сапожника с совершенно будто бы несходным с ним трудом булочника или ткача. «Но если противники этой системы,—говорит Родбертус,—не имеют против нее других аргументов, кроме того, что производительные способности работников неодинаковы, то возражения их стоят очень немного» [1]).

Труд данного работника всегда может сравниваться и соизмеряться с трудом других работников, занятых в различных отраслях производства. Для этого нужно при установлении «нормального рабочего дня» определить то среднее количество продукта, которое производят, обыкновенно, работники данной отрасли труда. Рабочий, сделавший менее этого среднего количества, получил бы менее, чем за целый рабочий день и, наоборот, сделавший более получил бы, сообразно с этим, право на большее вознаграждение. Считалось бы, что один трудился, например, в продолжение $^7/_8$, между тем как другой в течение $^5/_6$ нормального рабочего дня.

Кроме того, нужно было бы принять в соображение степени интенсивности и утомительности труда в различных отраслях производства. Если, положим, труд углекопа утомительнее труда ткача, то пришлось бы постановить, что рабочий день углекопа должен быть на несколько часов короче. Несмотря на свою большую продолжительность, рабочий день ткача должен был бы считаться равноценным рабочему дню углекопа, так как работа последнего требует большего напряжения сил. Проработавши установленное для каждого из них время, углекоп и ткач имели бы право на получение одинакового количества продуктов из общественных магазинов. Родбертус не отрицает, что определение средней производительности и интенсивности труда в каждой отрасли производства было бы делом далеко не легким. Но он считает вполне устранимыми все могущие встретиться на этом пути практические затруднения. Вообще, он не сомневается в возможности осуществить такого рода организацию производства и распределения, в которой доход каждого отдельного лица соответствовал бы участию этого лица в общественном труде. Важнее всех технических затруднений был бы вопрос о нравственной подготовленности народа для таких общественных отношений. Все дело зависит, по мнению Родбертуса, от того, «доста-

---

[1]) См. „Zeitschrift für die ges. Staatswissensch.“, S. 337.

точно ли развит народ, чтобы по свободному побуждению принимать участие в национальном труде или, что то же, в национальном прогрессе, не видя перед собою того бича бедности, которым современная частная собственность на землю и капиталы выгоняет его на работу» [1].

Наш автор справедливо полагает, что экономисты много выиграли бы в понимании хозяйственной жизни современного общества, если бы они постарались ясно представить себе все те изменения в организации производства и распределения, которые явились бы следствием «приведения собственности к ее первоначальному принципу». Но предшественники Родбертуса, в огромном большинстве случаев, не только не интересовались «первоначальным принципом собственности», но и вообще полагали, что рассуждать о подобных «принципах»—дело юриста, а не политико-экономa. Как мы сказали уже выше, экономисты считали буржуазный строй последним или, вернее, единственно возможным шагом в развитии человечества и не могли даже представить себе никаких серьезных изменений в экономических отношениях современной Европы. Родбертус, принадлежавший к числу немногих экономистов, «слышавших приближение новой эры», должен был сам взяться за решение всех тех вопросов, которые относятся к экономии «будущего всемирно-исторического периода». Ему пришлось приняться за обработку почти совершенно невозделанного экономистами поля, т.-е. за изображение экономической деятельности того гипотетического общества, которое взяло бы в свое непосредственное заведывание все средства производства.

В таком обществе все экономические явления приняли бы характер, совершенно отличный от современного. Организация производства изменилась бы, прежде всего, в том отношении, что для заведывания производительною деятельностью и для приведения ее в соответствие с общественными потребностями необходимо было бы существование особого учреждения. Задачу этого учреждения, говорит наш автор, составляло бы целесообразное употребление в дело национального имущества. В современном же обществе, в котором национальное имущество дробится между частными лицами, место такого рода учреждения занимает интерес собственников и предпринимателей. Он побуждает их производить лишь продукты, находящие себе сбыт на рынке, т.-е. удовлетворяющие потребности всего общества или известной его части.

Обращение орудий и об'ектов труда в коллективную собственность

---

[1]) „Zur Beleuchtung", S. 28.

придало бы также новый вид тому переходу продуктов из одной отрасли производства в другую и тому передвижению их с места на место, которые обусловливаются разделением общественного труда. Читателю известно, что самая обыкновенная вещь домашнего обихода, прежде чем быть готовой для употребления, претерпевает целый ряд разнообразнейших метаморфоз. Она появляется на свет в виде сырого материала и путешествует в таком виде в тот или другой промышленный центр, чтобы подвергнуться фабричной обработке. Здесь она переходит из одной отрасли производства в другую, пока не получит окончательной отделки и не отправится, наконец, на место сбыта. В современном обществе этим метаморфозам продуктов соответствует переход их через руки целого ряда предпринимателей, оптовых и мелочных торговцев, а следовательно, и целый ряд продаж и покупок. «От начала до конца,—говорит Родбертус,—от производства сырья до окончательной выделки предметов потребления обмен продуктов представляет собою в настоящее время длинную цепь передач и отчуждений собственности, совершаемых при посредстве денег».

Не так происходило бы дело в нашем гипотетическом обществе с его центральным учреждением, заведующим всем ходом производства. В таком обществе каждый продукт представлял бы собою национальную собственность вплоть до окончательной своей отделки. И тогда достаточно было бы предписания названного центрального учреждения, чтобы передавать его из одной отрасли производства в другую и доставить, наконец, потребителю. То же центральное учреждение должно было бы озаботиться тем, чтобы из общей суммы национального продукта отделить часть, необходимую для восстановления затраченного в производстве капитала. Только после вычета этой части национальный *продукт* стал бы национальным *доходом* и служил бы для удовлетворения потребностей как общества, так и отдельных его членов. «В настоящее же время,—говорит Родбертус,—место этой предусмотрительности центрального учреждения занимает интерес владельцев капитала или предпринимателей. Их собственные выгоды побуждают их браться только за такие предприятия, которые, по замещении капитала, дают им известный излишек, называемый прибылью».

Если мы теперь от производства перейдем к распределению, то здесь наше гипотетическое общество представит еще более своеобразные особенности, соответственно предположенным нами изменениям в отношении людей к вещам. Раз был бы установлен тот правовой принцип, по которому доход каждого члена общества определяется уча-

стием его в производстве, то национальный продукт уже не поступал бы в раздел между землевладельцами, капиталистами и работниками, как это имеет место в настоящее время. Он составлял бы тогда достояние одних рабочих. Каждый член общества получал бы свидетельство, удостоверяющее, что он затратил известное количество труда. Пред'явивши это свидетельство в государственные магазины, он получил бы в обмен необходимые для него предметы потребления. И эти предметы потребления составляли бы такую же неот'емлемую собственность его, какою является заработная плата по отношению к современным рабочим. Но заработная плата определяется теперь не количеством затраченного работником труда: она испытывает на себе влияние рыночной конкуренции, понижающей ее до уровня насущнейших потребностей трудящихся. Вся же разность между заработной платой и стоимостью произведенного работником продукта остается в руках землевладельцев и капиталистов и, за вычетом части, необходимой для восстановления капитала, делится между ними на основании особых экономических законов.

Выяснивши влияние правовых учреждений на распределение продуктов, следовало бы, по мнению Родбертуса, обратить внимание на то, каким образом распределение влияет, в свою очередь, на направление общественного производства. Для этого опять нужно было бы держаться сравнительного метода: нужно было бы посмотреть, как происходит дело в настоящее время и как происходило бы оно в обществе, установившем коллективную собственность на землю и капиталы.

И в том и в другом случае направление производства не может не сообразоваться с потребностями лиц, участвующих в разделе национального продукта. Но в обществе, взявшем в свое непосредственное заведывание все средства производства, это последнее сообразовалось бы с потребностями только тех лиц, которые получили благодаря своему труду право на требование из общественных магазинов известного количества продуктов. В настоящее же время направление производства определяется потребностями не одних только трудящихся, но также капиталистов и землевладельцев.

Интерес предпринимателей заставляет их сообразоваться с покупательною силой всех трех классов современного общества. Таким образом, чем бо́льшая часть стоимости национального продукта поступит в распоряжение одного из этих классов, тем бо́льшая часть производительных сил страны будет занята приготовлением необходимых для него предметов потребления. Этим и об'ясняется, по мнению Род-

бертуса, то обстоятельство, что теперь часто «строят блестящие пассажи, в то время как рабочие не имеют здоровых жилищ... На рынок доставляется лишь то, за что можно получить деньги. Богатые фланеры могут оплачивать содержание роскошных пассажей, рабочие же, получающие ничтожную плату, не могут заплатить за постройку здоровых жилищ» [1]) и потому должны довольствоваться нездоровыми.

На основании всего высказанного нетрудно также убедиться в том, что так называемое *сбережение,* которое, как известно читателю, вменяется в заслугу современным капиталистам, есть особый способ увеличения национального капитала, обусловленный существованием частной собственности на землю, материалы и орудия труда. При других же обстоятельствах увеличение национального капитала могло бы, по мнению Родбертуса, достигаться путем кредита [2]).

Выяснивши, таким образом, значение общих экономических понятий, обнаруживши влияние правовых учреждений на движение производства и распределение продуктов, нужно было бы,—продолжает наш автор,—перейти к вопросу об изменении производительных сил общества. Изменение это может произойти двояким образом. Во-первых, благодаря распашке новых земель, расширению фабричной деятельности, увеличению народонаселения и т. д., национальный продукт может возрасти в том или другом количественном отношении. Сумма производимых в обществе предметов потребления может, например, удвоиться, но для приготовления каждого из этих предметов может требоваться не меньшая, чем прежде, затрата человеческого труда. Национальное производство расширится, но в способах его не окажется никакого улучшения. Земледельческая культура, фабричная техника и пути сообщения останутся, следовательно, на той же ступени развития, на которой находились и прежде. Такой случай Родбертус называет увеличением *суммы производительных сил.*

Но может случиться, что при таком же, как и прежде, количе-

---

1) „Zeitschrift für die ges. Staatswiss.", 345.

2) К „теоретикам сбережения" (Spartheoretikern) Родбертус обращается с следующими словами Гейне:

Ich kenne die Weise, ich kenne den Text,
Ich kenn'auch die Herrn Verfasser,
Ich weiss, sie trinken heimlich Wein
Und predigen öffentlich Wasser.

См. „Zur Erklärung und Abhülfe der heutigen Kreditnoth des Grundbesitzes", II, S. 294, в примечании.

стве рабочих сил, при той же площади обрабатываемых земель; словом, при той же *сумме* производительных сил, на выделку каждого предмета в отдельности потребуется меньше времени, чем нужно было прежде. Это может произойти вследствие улучшений в способах производства, изобретения новых машин и т. п. В результате каждого дня работы окажется большее, чем прежде, количество продуктов, и национальный доход возрастет, потому что возросла *производительность труда*.

Именно этот второй путь изменения производительных сил страны и ведет к увеличению *национального богатства*. Под национальным богатством понимают обыкновенно отношение национального имущества к общей цифре народонаселения. А это отношение будет, разумеется, тем благоприятнее для общества, чем большее количество продуктов произведет каждый работник в единицу времени, т.-е. чем *производительнее* будет *труд* этого работника. Но Родбертус не смешивает,—как это умышленно делали буржуазные экономисты,—понятия о национальном богатстве с понятием о благосостоянии большей части членов общества. По его мнению, между этими двумя понятиями существует огромная разница, и, чтобы лучше оттенить ее, он снова берет в пример гипотетическое общество, обратившее землю и капиталы в национальную собственность. В таком обществе доход каждого члена был бы, как мы знаем, прямо пропорционален участию его в общественном труде, и увеличение национального дохода действительно повело бы к улучшению положения всех трудящихся. В настоящее же время, при господстве того экономического закона, который понижает заработную плату до уровня насущнейших потребностей рабочего, возрастание производительности национального труда ведет, по мнению Родбертуса, к обогащению одних только капиталистов и землевладельцев.

После того, как изучено было бы влияние производительности труда на благосостояние различных классов общества, экономисты должны были бы перейти к вопросу о финансовом хозяйстве и о налогах и показать влияние этих последних на движение производства и распределение национального продукта. Это и составило бы предмет последнего отдела первой части экономической науки, «соответствующей современному учению о природе обмена».

«Если бы,—говорит Родбертус,—в науке держались этого метода, если бы переходили, таким образом, от целого к его частям, то избежали бы очень многих из существующих в ней теперь предрассудков.

Тогда была бы подготовлена почва для понимания тех обстоятельств, в которых я вижу причину кризисов и пауперизма. Тогда я мог бы, для обоснования своих положений, прямо перейти к доказательству того, что производительность труда возросла, между тем как заработная плата не увеличилась или даже упала. После этого мне оставалось бы только показать, что названные выше бедствия составляют необходимое следствие понижения заработной платы, как *части* национального продукта. Теперь же я вынужден к набросанному мною очерку лучшего метода прибавить соответствующую ему теорию, по крайней мере, распределения национального продукта» [1]).

Эта «из самой жизни заимствованная» теория распределения и представляет собою то, что может быть названо экономической теорией Родбертуса, в собственном смысле этого слова.

III.

Учение Родбертуса о причине кризисов и пауперизма так и осталось незаконченным. Ни в одном из своих появившихся в печати сочинений Родбертус не перешел еще к доказательству того «предварительного положения», что «заработная плата не увеличилась или даже упала», несмотря на колоссальное возрастание производительности труда. Правда, положение это составляло вполне логичный вывод из того закона заработной платы Тюрго-Рикардо, который, по справедливому замечанию Брентано, «признается всеми серьезными экономистами», а оспаривается, заметим мы мимоходом, только некоторыми представителями «историко-реалистической школы». Но в экономической науке, также как и в науках естественных, дедукция должна и может стоять в тесной связи с индукцией, и добытые путем вывода положения должны быть проверены на фактах. Разумеется, в социальной науке невозможен *опыт*, составляющий такой могучий рычаг в развитии некоторых отраслей естествознания, но история и статистика представляют собою обширное поле для *наблюдения*, играющего не менее важную роль в точных науках. Чтобы поставить вне всякого сомнения свое учение о заработной плате, Родбертус должен был проверить, на основании данных статистики и истории, вывод, сделанный им из закона Тюрго-Рикардо. Это тем более было необходимо, что

[1]) „Zur Beleuchtung der socialen Frage", S. 32.

Рикардо знал, как известно, только «цветочки» капитализма, «ягодки» же его начали поспевать в половине нашего века. Перед глазами современников Родбертуса развертывалась гораздо более яркая картина положения рабочих классов в капиталистическом обществе, и они должны были пополнить, так или иначе, теорию Рикардо. Родбертус хорошо сознавал эту необходимость, и, как видно из писем его к архитектору Петерсу, его учение о заработной плате опиралось не на одну только дедукцию. «Сила машин в современной Англии,—говорит он в одном из этих писем,—равняется, по крайней мере, силе 600 миллионов работников. В 1800 году она не превышала силы 50 миллионов рабочих. На основании истории распределения национального дохода Англии с 1800 года и разделения его на заработную плату, поземельную ренту и прибыль, мне удастся, как я надеюсь, доказать, что продукт труда 550 миллионов неутомимых день и ночь трудящихся деревянных и железных работников ни на иоту не увеличил собою общей суммы заработка живых работников, но целиком был поглощен поземельной рентой и прибылью». К сожалению, занятый борьбой против укоренившихся в науке «предрассудков», Родбертус не успел окончить своего опыта о распределении дохода в Англии, этой классической стране капитализма. С этого опыта только и началось бы, строго говоря, доказательство учения его о заработной плате, которому он считал нужным предпослать изложение правильной теории распределения [1]).

Что касается учения Родбертуса о распределении продуктов в современном обществе, то оно, действительно, явилось лишь «последовательным выводом» из основных положений школы Рикардо во всех своих частях, кроме теории поземельной ренты. Мы сказали уже выше, что из всех воззрений Рикардо только учение его о производительности земледельческого труда противоречило теории кризисов и пауперизма Родбертуса. Так понимал, повидимому, свое отношение к Рикардо и сам Родбертус. В письме к Ад. Вагнеру от 20-го июня 1872 года

---

[1]) Во втором издании выпущен следующий абзац:

„И пока не вышло в свет обещенное Ад. Вагнером издание посмертных сочинений Родбертуса, нельзя даже приблизительно сказать, насколько подвинулось у него вперед обоснование одной из важнейших посылок его теории кризисов и пауперизма. Поэтому в нашем дальнейшем изложении нам придется иметь дело лишь с учением нашего автора о распределении и с доказательствами, приводимыми им в пользу того положения, что производительность труда возрасла и продолжает возрастать также и в земледелии".

он говорит, что теория поземельной ренты Рикардо несогласима с его учением о пауперизме и кризисах только в одной (и даже несущественной) своей части,—в той именно части, где высказывается убеждение, что земледельческий труд становится все менее и менее производительным и пища становится поэтому все дороже. «Мое же учение,—продолжает он,—основывается на совершенно обратном положении: я утверждаю, что земледельческий труд становится все более и более производительным, и что цена пищи, измеряемая *трудом*, постоянно падает» [1]). Но в своих учениях Родбертус не ограничился, к сожалению, опровержением этой «несущественной части» учения Рикардо о ренте. Он отнес к числу научных «предрассудков» все это учение и решился противопоставить ему свою собственную теорию поземельной ренты, которая вообще составляет самую слабую сторону всего учения его о распределении. Этой теории он придавал огромное значение и, весьма невыгодным для себя образом, связывал с нею все остальные свои «теоретические положения» и все свои «практические» планы. Каковы именно были взгляды Родбертуса на природу и происхождение поземельной ренты, об этом нам придется говорить в следующих главах, теперь же мы должны познакомить читателя с основными «теоремами» его учения о распределении.

Первое, по важности, место занимает между ними «теорема», гласящая, что *«все предметы потребления—с экономической точки зрения—должны быть рассматриваемы как продукты труда, и только труда»*. Теорема эта «приобрела уже, по словам нашего автора, полное право гражданства в учениях английских экономистов, нашла своего защитника даже в лице Бастиа, хотя и получила в его «Экономических гармониях» совершенно неверное приложение, но—что всего важнее—она глубоко вкоренилась в народном сознании. несмотря на софизмы некоторых таящих заднюю мысль учений» [2]). Посмотрим же, как поясняет и доказывает ее Родбертус.

Если бы,—говорит он,—предметы потребления существовали в неограниченном количестве и притом, как воздух или солнечный свет, непосредственно могли бы служить для удовлетворения человеческих потребностей, то люди не имели бы никаких побуждений к труду и ведению хозяйства. Но в том-то и дело, что предметов, самой природой приспособленных к нуждам человека, очень немного. Большинство же

[1]) „Zeitschrift für die gesammte. Staatswissensch.", S. 234.
[2]) „Zur Beleuchtung der socialen Frage", S. 70—71.

существующих в природе предметов должно быть подвергнуто известной предварительной обработке, чтобы служить для удовлетворения человеческих потребностей. «Щедрость природы должна быть дополнена деятельностью человека. Само собою разумеется, что деятельность его может быть весьма неодинаковой по своему характеру и интенсивности. Между собиранием дикорастущих плодов и тою в высшей степени сложной работой, которая необходима для постройки паровой машины, лежит целая бездна. Но, несмотря на все разнообразие проявлений человеческой деятельности, *природа* ее всегда остается неизменной. «Во всех различных случаях она есть не что иное, как затрата сил и времени человека, с целью приобретения известного предмета. Во всех этих случаях она остается *трудом*» [1]).

Теперь понятно, какой смысл имеет *хозяйство*. Человеческие потребности очень разнообразны и многочисленны. Приобрести необходимые для их удовлетворения предметы человек может лишь ценою затраты своего времени и своих усилий. Как находящееся в его распоряжении время, так и способность его к труду, разумеется, не безграничны. Он должен поэтому стараться расходовать свой труд и свое время, равно как и приобретенные ценою их затраты продукты, с возможно большею осмотрительностью: он должен вести *хозяйство*. В область этого хозяйства будут, очевидно, входить лишь те предметы, приобретение которых стоило человеку известного труда, или, как выражается Родбертус, «причины, сделавшие необходимым ведение хозяйства, определяют и границы его области». Все предметы, обладателем которых человек становится без всяких усилий с своей стороны, будут *естественными благами,* не представляющими собою об'ектов его хозяйственной деятельности.

Вместе с этим «определением границ хозяйственной области» человека становится ясным и то положение, что *предметы потребления стоят труда, и только труда,*—другими словами, что «в истории возникновения предметов потребления нет помимо труда других элементов, которые можно было бы рассматривать с точки зрения *стоимости* этих предметов. Никто, конечно, не станет отрицать, что для производства известного продукта нужен еще материал, к которому мог бы быть приложен труд человека. Но этот материал дает ему природа. И нужно было бы,—замечает наш автор,—олицетворять природу, чтобы говорить о том, чего *стоит для нее* материал или так называемые силы

[1]) „Zur Erkenntniss unserer staatsw. Zustände", S. 5.

ее, утилизируемые человеком для облегчения своего труда. А если нельзя говорить о том, чего *стоит* первоначальный материал *природе*, то нельзя, стало быть, и вообще говорить о его стоимости. Он существует помимо труда человека, а кроме человека нет другого суб'екта, которому мог бы *стоить* чего-либо тот или другой предмет: природа безлична. Поэтому человек может быть очень благодарен природе за то, что силы ее облегчают ему труд производства необходимых для него продуктов; но в хозяйстве его эти продукты будут иметь значение лишь постольку, поскольку ему придется дополнять своим трудом дело природы. «Кто смотрит на предметы потребления иначе, тот рассматривает их с естественно-исторической точки зрения»,—замечает Родбертус [1]).

При этом нужно помнить, что экономическая наука имеет дело только с материальными продуктами и только с тем трудом, который имеет целью производство этих продуктов. С легкой руки Ж. Б. Сэя французские экономисты особенно склонны были умалять различие между всеми видами «производительной деятельности» человека. Они утверждали, что труд юристов, писателей и чиновников так же входит в область национально-экономических исследований, как труд машиниста или земледельца. Впрочем, на деле и они не оставались, по словам Родбертуса, верными этому взгляду. «Заявивши на первых страницах своих сочинений, что нематериальные продукты также подлежат ведению хозяйственной науки, они ни единым словом не упоминали об этих продуктах во всех остальных частях своих исследований» и рассуждали лишь о материальных предметах потребления. Если бы они захотели быть последовательными, то должны были бы «писать не о политической экономии, а о социальной науке в обширном смысле этого слова; тогда можно было бы говорить о теологии или юриспруденции рядом с технологией или сельским хозяйством». Но деятельность, направленная на добывание материальных продуктов, во всяком случае, настолько важна и обширна, что может и должна составить предмет особой науки, область которой была бы разграничена с областью других общественных наук. С точки же зрения этой науки производительным может назваться только тот труд, который непосредственно направлен на производство материальных предметов потребления. Судья, занимающийся охранением существующего в обществе правового порядка, косвенным образом способствует, конечно, производ-

[1]) „Zur Beleuchtung der socialen Frage", S. 69.

ству материальных продуктов. За эту деятельность он имеет, разумеется, полное право требовать известного вознаграждения. Но предметом непосредственных его занятий является право, а не фабричный или земледельческий труд. И если нельзя сказать, что рабочие принимают участие в деятельности судьи, обеспечивая ему материальные средства существования, то и, наоборот, нельзя утверждать, что судья участвует в производстве материальных предметов, занимаясь охранением правового порядка. «Необходимая взаимная связь различных общественных функций составляет,—говорит Родбертус,—гораздо более широкое понятие, чем понятие о разделении труда, направленного на добывание материальных предметов».

Но если все «хозяйственные блага» стоят труда, то под этим последним нужно понимать не только ту непосредственную работу, которая делает материал годным для потребления. С теми *орудиями* труда, которыми снабдила его природа, то-есть с органами своего тела, человек ушел бы очень недалеко, так как органы эти слишком слабы для успешной борьбы за сушествование. Поэтому с самых первых шагов своего культурного развития он вооружается искусственными орудиями, для приготовления которых он должен, разумеется, затратить известное количество сил и времени: они также *стоят ему труда*. Каждый приготовленный не голыми руками продукт будет стоить, следовательно, во-первых, труда, с помошью которого орудия производства были употреблены в дело, а во-вторых,—той работы или, вернее, известной части той работы, которая нужна была для выделки самих орудий производства. Если данное орудие могло служить для выделки одного только предмета, который мы назовем x, то стоимость его целиком перенесется на этот предмет. Если же с помошью нашего орудия можно произвести не один, а несколько,—например, хоть десять,—таких предметов, то на каждый из них в отдельности перенесется только одна десятая часть стоимости орудия. Таким образом стоимость каждого из них будет равняться, во-первых, десятой части стоимости орудия, к которой нужно прибавить, во-вторых, труд, затраченный на приведение орудия в действие во время производства. Если мы этот труд обозначим через m, а труд, необходимый для приготовления орудия, через n, то у нас получится следующая формула стоимости нашего предмета:

$$x = m + \frac{n}{10}.$$

До сих пор мы предполагали, что имеем дело с человеком, ведущим совершенно изолированное хозяйство. Для простоты примера было допущено, что трудящийся сам выделывает необходимые для него орудия и сам же подвергает существующий в природе материал всем последовательным видам обработки. Но известно, что таких Робинзонов в действительности не существует. Уже на самых низших ступенях развития человеческих обществ в их среде замечается известное разделение труда, делающее возможной кооперацию нескольких производителей. Затем появляется частная собственность, обнаруживаются имущественные неравенства, земля и орудия производства скопляются в руках высших сословий. Спрашивается, не вносит ли этот ход развития человеческих обществ каких-либо ограничений в то положение, что «все продукты стоят труда и только труда»? Если это положение верно для человека, ведущего изолированное хозяйство, то не возникают ли, с течением времени, какие-нибудь другие элементы, которые рядом с трудом входили бы составною частью в стоимость продуктов? Известно, что этот вопрос был поводом ожесточенных споров между различными школами экономистов. Каждая из них отвечала на него по-своему и каждая утверждала, что она развивает лишь учение Адама Смита об этом предмете. И нужно сознаться, что Смит выражался по этому поводу так сбивчиво и неопределенно, что действительно мог поддерживать своим авторитетом самые противоположные мнения.

По словам Родбертуса, вышеприведенная «истина не изменяется ни вследствие разделения труда, ни вследствие того, что людям удается, с течением времени, с меньшим количеством усилий производить большее количество продуктов» [1]).

Разделением труда обусловливается лишь то обстоятельство, что над производством каждого данного продукта трудится уже не одно, а несколько лиц. Продукт стоит, в таком случае, труда всех тех рабочих, через руки которых он проходил на различных стадиях его приготовления. Если к труду этих работников прибавить ту часть стоимости, которую утратили употреблявшиеся ими орудия, то мы получим полную стоимость данного продукта. А так как орудия производства, в свою очередь, «стоят труда и только труда», то мы должны признать, что теперь—как и в изолированном хозяйстве—в стоимость продуктов не входит никаких элементов, кроме человеческой работы.

[1]) „Zur Beleuchtung etc.“, S. 71.

Точно также не изменяется сущность дела и с возникновением частной собственности на землю и капиталы. Оно ведет лишь к тому, что производители не трудятся более для себя, но работают на землевладельцев и капиталистов. Поэтому и продукт труда принадлежит уже этим последним, между тем как рабочие получают, если они пользуются личной свободой, известное вознаграждение в виде заработной платы. Но продукты не перестанут быть результатом их труда и только их труда. Конечно, землевладельцы и капиталисты могут и сами принимать участие в труде их работников, и тогда продукты будут результатом, между прочим, и их труда. Но они выступят, в таком случае, уже в качестве работников, а не в качестве капиталистов и землевладельцев. Продукты будут результатом «их *труда*, а не *почвы* их или капиталов» [1]). Словом, все, что составляет доход собственников, поземельная рента и прибыль на капитал, представляет собою такой же продукт труда, как и заработная плата.

«Все передовые экономисты согласны между собою в этом отношении,—говорит Родбертус,—хотя они и держатся различных взглядов на правомерность существования ренты и прибыли». Даже Бастиа и Тьер признают, что рента и прибыль составляют продукт труда. Но, по мнению этих последних, каждый поземельный собственник представляет собою именно то лицо,—или наследника того лица,—которое впервые расчистило данный участок земли и сделало его годным для обработки. Точно также и в капиталистах видят они лиц, собственным трудом приготовивших те средства производства, которые употребляются ныне в дело рабочими. В этом пункте, — равно как и в вопросе о том, не являются ли рента и прибыль несколько преувеличенным вознаграждением за когда-то сделанную работу,—и лежит, по мнению Родбертуса, начало всех споров и несогласий между «передовыми экономистами».

Если разделение труда и переход его орудий и об'ектов в руки высших сословий не могли поколебать вышеприведенной «теоремы», то возрастание производительности труда еще менее способно принести с собою какие-нибудь новые элементы стоимости. Единственным результатом увеличения плодородности почвы или прогресса промышленной техники может быть лишь уменьшение затраты труда, необходимого для производства земледельческих или фабричных продуктов.

«Но никогда,—говорит Родбертус,—хлеб, выросший на более пло-

[1]) „Zur Beleuchtung", S. 71.

дородной почве, не будет продуктом чего-либо другого, кроме труда; никогда не может он быть назван—с экономической точки зрения—продуктом самой почвы или землевладельца, как такового». То же нужно помнить и относительно фабричных продуктов. С экономической точки зрения было бы невозможно сказать, что производимые ныне с меньшими, чем прежде, затратами труда фабрикаты являются отчасти продуктом действующей в машинах естественной силы или продуктом предпринимателя, как такового. И до и после введения машин фабричные изделия являются продуктами труда: в первом случае большего, во втором—меньшего его количества.

Связанное с употреблением машин возрастание количества продуктов, производимых работником в единицу времени, дает нам только понятие о роли и значении производительности труда в экономической истории общества, но ни на иоту не ограничивает правила, по которому «*все предметы потребления стоят труда и только труда*».

Если «в истории возникновения предметов потребления нет, кроме труда, других элементов, которые можно было бы рассматривать с точки зрения *стоимости* этих предметов», то мы имеем право предположить, что труд является единственной нормой, регулирующей обмен продуктов на рынке. Иначе сказать, мы имеем все основания согласиться с Рикардо, утверждавшим, что меновая стоимость предмета «или количество всякого другого предмета, на которое он обменивается, зависит от сравнительного количества труда, необходимого на его производство» [1]). Правда, так называемая рыночная цена предметов постоянно колеблется под влиянием изменений в спросе и предложении, но она стремится, по крайней мере, совпасть с «естественной ценою» предметов, которая определяется количеством труда, необходимого на их производство. Совершенно в духе Рикардо, Родбертус замечает, что это тяготение рыночной цены обусловливается конкуренцией предпринимателей. В самом деле, если бы в какой-нибудь отрасли производства предпринимателям удалось получить, в обмен за свои продукты, количество предметов, стоившее большего труда, чем стоили им собственные изделия, то это было бы равносильно увеличению их прибыли. Каждый, располагающий свободным капиталом, поспешил бы употребить его в «дело» именно в этой, более выгодной отрасли производства. Тогда предложение ее продуктов превысило бы спрос их на рынке; упала бы их рыночная цена, а вместе с нею и прибыль предпри-

---

[1]) Сочинения Давида Рикардо, выпуск I, стр. 1.

нимателей, и меновая стоимость предметов снова стала бы в зависимость единственно «от количества труда, необходимого на их производство». В том случае, когда рыночная цена предметов упала бы слишком низко, то-есть, если бы в обмен за них стали давать количество других предметов, стоившее меньшего труда, чем стоили они сами, произошло бы явление обратное вышеописанному. Производство этих продуктов сделалось бы, сравнительно, невыгодным, предприниматели стали бы переводить свои капиталы в другие более прибыльные отрасли промышленности, и рыночная цена этих продуктов, вследствие уменьшения предложения, снова поднялась бы до надлежащего уровня. Так, подобно маятнику, вечно колеблется рыночная цена продуктов то в ту, то в другую сторону, никогда, быть может, не совпадая, но всегда стремясь совпасть с точкой покоя, т.-е. с «естественной» их ценою.

Таково общее правило. Но известно, что на всякое правило есть исключения. «В частностях», т.-е. в каждом данном ремесле и на каждой данной ступени разделения труда, продукты не всегда могут обмениваться,—говорит Родбертус,—на точном основании заключающегося в них количества труда» [1]). Эти отклонения от нормы вызываются, по его мнению, двумя причинами:

1) тем, что прибыль капиталистов «имеет, по крайней мере, тенденцию сделаться равной во всех предприятиях»;

2) тем, что меновая стоимость продуктов данного рода определяется количеством труда, необходимого на их производство в тех именно предприятиях, которые вынуждены работать при наименее благоприятных условиях.

Остановимся сначала на первой из этих причин. Читателю известно, как определяется уровень прибыли промышленных предприятий: сумма так называемого чистого дохода делится на общую сумму предпринимательского фонда. Если фабрикант затратил на свое предприятие 100.000 рублей и получил 20.000 руб. чистого дохода, то прибыль будет равняться пятой части его капитала, или, иначе сказать, он получит 20% прибыли на свой капитал. Предположим теперь, что два предпринимателя «работают» в двух различных отраслях промышленности. Допустим также, что каждый из них «дает работу» одинаковому числу «рук» и что «руки» эти затрачивают в течение рабочего дня одинаковое количество труда в каждой из этих отраслей промышленности. Тогда один из элементов общей стоимости продуктов—

[1]) „Zur Erkenntniss etc.", S 130.

труд непосредственно занятых в производстве работников—будет также одинаков в обоих предприятиях. Если мы предположим, кроме того, что каждый из наших предпринимателей употребляет машины одинаковой стоимости и одинаковой прочности, то в обоих предприятиях на продукт перенесется одинаковая стоимость с орудий труда. Но в обществах, основанных на разделении труда, существует еще третий элемент меновой стоимости продуктов: стоимость материала, из которого они приготовляются. Мы говорили выше, что *первоначальный материал* дается человеку самой природой и потому не может быть рассматриваем с точки зрения стоимости. Поэтому мы просим читателя обратить внимание на то, что теперь речь идет уже не о *первоначальном* материале. Известно, что при разделении общественного труда один и тот же предмет является *продуктом* по отношению к одной отрасли производства и *материалом* по отношению к другой. Каменный уголь, например, может назваться *продуктом труда* рабочих, добывающих его в шахтах, и *материалом*—по отношению к рабочим газовых заводов; полотно есть продукт труда ткача, материал—для труда швеи и т. д., и т. д. Мы знаем также, что при современных общественных отношениях переход продуктов из одной отрасли производства в другую, т.-е. с одной ступени обработки на другую, более высокую, «представляет собою длинную цепь передач и отчуждений собственности, совершаемых при посредстве денег». Чем больше ступеней обработки прошел известный продукт, тем он дороже, потому что тем большее количество труда он, по выражению Родбертуса, «в себе заключает». Если взятые нами для примера два предпринимателя нуждаются в материале различной степени обработки, то и стоимость этого материала будет неодинакова: одному из них придется заплатить за него, положим, 50.000 руб., другому—100.000 или более. Разумеется, стоимость материала перенесется на продукт и составит, рядом с двумя указанными выше, третий элемент его меновой стоимости. Благодаря неодинаковым затратам на материал, *валовой доход* наших предпринимателей будет, следовательно, неодинаков. Первый выручит меньшую, второй большую сумму за свой продукт. Что же касается *чистого дохода*, то на него стоимость материала не может оказать влияния, если только продукты обмениваются сообразно «количествам труда, необходимого на их производство». В самом деле, ни материал, ни орудия труда не создают новой стоимости. Ее создает только живой человеческий труд. Стало быть, секрета *чистого дохода* мы должны искать в труде занятых производством продуктов рабочих. И действительно,

ларчик открывается именно с этой стороны. *Чистый доход* предпринимателей обязан своим существованием единственно тому, что рабочие получают, в виде заработной платы, стоимость значительно меньшую, чем та, которую они создают своим трудом и прибавляют, таким образом, к стоимости материала. Ниже мы еще вернемся к этому предмету, а теперь обратим внимание на «барыши» наших предпринимателей. Каждый из них «дает работу» одинаковому числу «рук». Каждый удерживает, при равной продолжительности и интенсивности работы и равной заработной плате в обоих предприятиях, одинаковую часть стоимости произведенных этими «руками» продуктов. Чистый доход их будет, следовательно, одинаков. Но один из них должен был сделать бо́льшие затраты на материал, чем другой. Поэтому равный в обоих предприятиях чистый доход не будет стоять в одинаковом отношении к общей сумме издержек каждого из наших предпринимателей. Он будет составлять, положим, четвертую часть издержек одного и только пятую часть издержек другого предпринимателя, которому пришлось употреблять в дело более дорогой материал. Первый получил 25% прибыли на затраченный им капитал, между тем как второму удается «заработать» только 20%. Но какой же предприниматель согласится затрачивать свой капитал в менее выгодной отрасли промышленности? Разумеется, никакой, если только не существует законодательных постановлений, стесняющих переход от одного занятия к другому. Поэтому Родбертус и полагает, что меновая стоимость продуктов не всегда «зависит от сравнительного количества труда, необходимого на их производство». Продукты тех отраслей производства, которые обрабатывают более дорогой материал, *всегда* должны, по его мнению, продаваться по цене, несколько превышающей эту норму. И это отклонение от общего правила должно быть достаточно для того, чтобы во всех отраслях промышленности отношение чистого дохода к общей сумме издержек предприятия было одинаково или, другими словами, чтобы уровень прибыли стоял на одной высоте.

Перейдем теперь ко второму из указанных Родбертусом ограничений общего закона меновой стоимости.

Увеличение спроса на продукты известного рода вынуждает, конечно, к расширению производства этих продуктов. При этом может случиться, что добавочное их количество потребует большей затраты труда, чем нужно было прежде для производства равного ему количества этих продуктов.

По мнению Родбертуса, стоимость всех находящихся на рынке

продуктов этого рода должна возрасти пропорционально увеличению трудности производства добавочного их количества. Так, например, Рикардо утверждал, что с развитием общества производство земледельческих продуктов может расширяться только на счет худших участков земли. Если бы он был прав, то меновая стоимость хлеба постоянно возрастала бы, в зависимости от большей трудности производства его на менее плодородных участках. Вследствие этого, хлеб, снятый с *лучших участков*, приобрел бы стоимость, несколько превышающую количество труда, затраченного на его производство. Другими словами, при обмене этого хлеба, например, на фабричные продукты, за него давали бы количество этих продуктов, стоившее большего труда, чем стоит он обладателю плодородного участка. Но если за продукт трех дней труда на *лучшем* участке дают продукт четырех дней фабричного труда, то один день фабричного труда создает стоимость, равную только трем четвертям дня работы на названном участке. Таким образом, «нарушение общего закона меновой стоимости по отношению к какому-нибудь продукту оказывает обратное действие на стоимость тех продуктов, на которые этот продукт обменивается».

Но этим исключениям не нужно придавать преувеличенного значения. «Они доказывают только, что общий закон меновой стоимости применим не во всех частных случаях, но не опровергают его верности в общем» [1]).

Частные отступления уравновешивают друг друга, и меновая стоимость предметов не перестает «зависеть от сравнительного количества труда, необходимого на их производство». Нельзя, например, утверждать,—как это, не без задней мысли, делали некоторые экономисты,—что меновая стоимость *всякого* продукта несколько превышает количество затраченного на его производство труда. Такого рода превышение возможно, по мнению Родбертуса, только в частных случаях. «Делаясь общим правилом,—говорит он,—оно тем самым потеряло бы всякое реальное значение». На кого падало бы это повышение меновой стоимости предметов? В обществе, основанном на разделении труда, потребители одних продуктов являются в то же время производителями других. В случае предположенного общего возвышения меновой стоимости предметов производители продавали бы свои продукты по той же возвышенной цене, по какой покупали бы продукты всех других отраслей производства. Положенное в один карман они вынимали бы из

[1]) „Zur Erkenntniss", S. 132.

другого, и само собою разумеется, что такого рода упражнения так же не увеличили бы стоимости всех продуктов, как не увеличивает разности прибавка одного и того же числа к уменьшаемому и вычитаемому.

Но все это до такой степени просто и ясно, скажет читатель, что едва ли стоило останавливаться на этом; еще более странно считать такое простое и очевидное для всех положение краеугольным камнем какой-то новой теории, которая должна будто бы исправить ошибки прежних экономистов. Все это, действительно, очень просто и очень ясно, ответим мы, с своей стороны. Но так уже исстари ведется, что все как нельзя более ясные научные истины подвергаются оспариванию, как только они становятся в противоречие с интересами сколько-нибудь влиятельных классов общества. Недаром же говорят, что математические аксиомы обязаны своею общепризнанностью единственно тому обстоятельству, что они не затрагивают ничьих интересов. А так как вопрос о меновой стоимости очень недвусмысленным образом касается интересов предпринимателей, то, разумеется, не могло быть недостатка в ученых, готовых оспаривать самые неоспоримые истины экономической науки. За примером, как говорится, ходить недалеко. Тот самый Германн, которого профессор Адольф Вагнер относит к числу самых выдающихся немецких экономистов [1]), утверждал, что обыкновенно продукты обмениваются на продукты большего количества труда, чем то, которое нужно было на их производство» (!). И такие «теории» стоимости не только не вызывали гомерического хохота, но выдавались за последнее слово экономической науки, и авторы их до сих пор, как читатель видит на примере Германна, пользуются почетом со стороны «благодарного потомства». Родбертус взял на себя труд напомнить экономистам учение Рикардо о меновой стоимости. Он понял, что, пока этот вопрос не будет выяснен окончательно, невозможно будет сколько-нибудь научное обоснование учения о распределении. Поэтому он и направил свои усилия прежде всего на доказательство того положения, что *«все предметы потребления стоят труда и только труда»*. Этою «теоремой» начинается первое, вышедшее еще в 1842 году, его сочинение—«Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände».И эта «теорема» одна уже показывает в нем истинного ученика и последователя Смита и Рикардо.

---

[1]) „См. Zeitschrift für die ges. Staatswissensch.“, S. 203.

IV.

Если «все предметы потребления стоят труда и только труда», то весь национальный доход обязан своим существованием труду работников. Как же об'яснить,—спрашивает Родбертус,—то обстоятельство, что в современном обществе часть национального дохода достается лицам, пальцем не пошевельнувшим для его производства? Известно, что есть много, даже целые классы лиц, не принимающих участия в производстве материальных продуктов. Судьи, врачи, писатели, учителя и т. д., и т. д. получают известное количество предметов потребления, произведенных без всякого с их стороны участия и составляющих, следовательно, продукт труда других членов общества. Правда, доход этих лиц является результатом того, что называется «производным распределением продуктов». Они получают его, в виде вознаграждения за свои услуги, от других лиц, принимающих участие в «первоначальном распределении продуктов». Но как происходит это последнее? Не видим ли мы, что лица, не принимавшие никакого участия в производстве и не оказавшие никаких услуг ни целому обществу, ни отдельным его членам, получают, тем не менее, часть национального дохода? Здесь пред'являет на нее свои права землевладелец, весь труд которого состоял в том, что он подписал контракт, заключенный им со своим арендатором. Там капиталист—не менее легким путем—получает проценты на деньги, положенные им в банк или отданные взаймы частным лицам. Предприниматель может поручить ведение всего своего дела управляющему, и, тем не менее, он будет получать доход, в виде прибыли на затраченный в производство капитал, даже в том случае, если капитал этот не составляет его собственности. Он может занять его у другого лица и получать прибыль, отдавая капиталисту часть ее, в виде процента. Конечно, лица эти могут заниматься весьма полезными для общества делами, могут облагодетельствовать своих сограждан тем или другим научным открытием или изобретением. Но доход свой они получают вовсе не в виде вознаграждения за эти возможные услуги. Они не потеряли бы своих прав на него даже в том случае, если бы стали вести совершенно праздный образ жизни.

Что же дает этим лицам право на их доход, который,—называется ли он поземельною рентою, прибылью или процентами на капитал, — всегда представляет собою продукт труда других членов общества? И что заставляет трудящихся членов общества передавать продукты их

работы своим праздным согражданам, не получая от них никакой полезной услуги? «Ответ на эти вопросы есть теория ренты вообще, т.-е. прибыли на капитал, и поземельной ренты» [1]),—говорит Родбертус.

Разумеется, предшественники Родбертуса в экономической науке, равно как и современные ему школы, также должны были столкнуться с этими вопросами и искать того или другого их решения. Но каждая из школ отвечала на них различным образом, и каждая ошибалась, по мнению нашего автора, в том или другом отношении. Английская школа осталась более всех других верною «тому великому положению Смита, что все предметы потребления являются результатом труда». Рикардо целиком принимает это положение и признает, что поземельная рента и прибыль представляют собою продукт труда, и притом труда не тех лиц, которые пользуются ими как доходом. Но, обстоятельно трактуя вопрос о поземельной ренте, он «слишком поверхностно касается принципа прибыли». Она существует, по его мнению, уж в самые ранние эпохи общественного развития. «Первоначально,—говорит он,—когда приступают к земледелию, почва приносит только заработную плату и прибыль». Он пытается об'яснить происхождение прибыли, называя ее «вознаграждением за сбережение капитала». Но, по справедливому замечанию Родбертуса, это может назваться лишь более или менее удачным сравнением, но никак не об'яснением. Некоторые же из последователей Рикардо смешали прибыль с процентом на отданный в заем капитал, между тем как, в сущности, это два совершенно различных понятия.

Процентом называется та часть прибыли, которую предприниматель отдает лицу, ссудившему ему необходимый для ведения дела денежный капитал. Но откуда же берется самая прибыль, откуда получает предприниматель возможность уплачивать проценты своему заимодавцу? Вопрос остается открытым, и если Рикардо давал на него весьма неясный ответ, то школа Сэя совершенно запутала дело. Она отрицала, что доход поземельных собственников и капиталистов представляет собою продукт труда. По ее мнению, доход этот обязан своим существованием «производительным услугам» заключающихся в почве и капитале естественных сил. Но, совершенно неожиданно для нее самой, школа Сэя дала своей теорией новое оружие в руки французских социалистов. «Если поземельная рента и прибыль являются результатом действия естественных сил,—говорили социалисты,—то справедливо ли

[1]) „Zur Beleuchtung", S. 75.

обращать эти силы в собственность частных лиц? Не разумнее ли было бы передать их в обладание всего общества?» Довод их был неотразим, и, чтобы поправить дело, принимавшее неприятный для экономистов оборот, Бастиа дал в своих «Гармониях» новые ответы на поставленные выше «проклятые вопросы». Он соглашается, что поземельная рента и прибыль составляют продукт труда, но старается уверить своих читателей, что каждый из этих видов дохода создается трудом именно тех лиц, которые его получают, или их предков. Ту же карту передергивает и Тьер в своей книге «О собственности». «Мой ответ на вышепоставленные вопросы, — говорит Родбертус, — заключает в себе новую, отличную от трех предшествующих теорию».

«Во все времена, с тех пор как появилось разделение труда, с ним было связано два явления, которыми об'ясняется возникновение поземельной ренты и прибыли на капитал, или ренты вообще»,—продолжает он, переходя к изложению этой теории. Первое из них было экономического характера и относилось к производству продуктов; второе стояло в связи с их распределением и носило поэтому правовой характер. Остановимся сначала на первом.

На самых низких ступенях общественного развития производительность труда так незначительна, что продуктов его едва хватает на поддержание жизни самих трудящихся. Тогда продукт, по необходимости, должен всецело принадлежать самим трудящимся. Ни один член общества не может жить в праздности или взяться за какое-нибудь занятие, не имеющее в виду удовлетворения самых первых, самых насущных потребностей человека. Так, например, каждый член охотничьего племени добывает своим трудом не более того, что необходимо для поддержания его собственного существования и, разумеется, его семьи. Поэтому в охотничьем племени немыслимо появление людей, не занимающихся материальным трудом. Такие люди умерли бы с голоду, и, при всем желании, общество не могло бы обеспечить им сколько-нибудь сносное существование. Но предположим, что производительность охотничьего труда вдруг возросла в два или три раза. Тогда каждый охотник мог бы добывать средства существования не только для себя одного, но и еще для одного или двух членов племени. Этим была бы создана *экономическая возможность* существования ренты, которая, по терминологии Родбертуса, есть не что иное, как «доход, получаемый кем-либо в качестве собственника без всякого труда с своей стороны». Увеличение производительности труда представляет собою необходимое условие возникновения ренты. Последняя *«возможна только тогда,*

когда занятые в производстве работники создают своим трудом более того, что нужно для поддержания их существования» [1]). Но охотничий труд никогда не может достигнуть такой степени производительности. Только переход к земледелию избавляет людей от необходимости тратить все свое время и все свои силы на удовлетворение насущнейших своих потребностей. Конечно, земледелие, в собственном смысле этого слова, доставляет только сырой материал. Его продукты должны подвергнуться дальнейшей обработке, чтобы годиться для потребления. И, чтобы возможно было возникновение ренты, производительность труда должна возрасти также и в тех отраслях производства, которые занимаются обработкою доставляемого земледелием сырья. Что же касается предметов не первой необходимости, то возрастание производительности труда изготовляющих их лиц не составляет необходимого условия существования ренты. Если каждый занятый производством предметов первой необходимости работник может обеспечить средства существования не только самому себе, но и еще двум лицам, то ничто не мешает этим последним посвятить себя изготовлению предметов роскоши. Обладатели предметов первой необходимости отдадут им излишек своих продуктов в обмен за изделия роскоши, и такой обмен может состояться даже в том случае, если количество этих изделий будет весьма ограничено. Если же излишек продуктов первой необходимости скопится в руках немногих собственников, то они получат полную возможность содержать целые полчища совершенно непроизводительной челяди.

Чем более возрастает производительность труда, чем большее число членов общества может быть избавлено от необходимости материального труда,—тем большее число их может посвятить себя другим родам деятельности. Отсюда видно, как тесно связаны все сферы общественной жизни с экономическим прогрессом. «Чем выше производительность труда, тем пышнее может развиться умственная и художественная деятельность нации; чем ниже первая, тем беднее вторая».

Но возрастание производительности труда в свою очередь обусловливается его разделением. До разделения труда человеческая деятельность ограничивается захватом тех предметов потребления, которые предлагает сама природа: собиранием дикорастущих плодов или охотой. Производство, в истинном смысле этого слова, земледелие и скотоводство становятся возможными лишь со времени разделения труда.

---

[1]) „Zur Erkenntniss", S. 67.

с которым тесно связан весь экономический прогресс общества. В самом деле, человеческий труд может сделаться производительнее только путем улучшения способов производства и усовершенствования его орудий. Но никакое серьезное усовершенствование способов и орудий производства не мыслимо без разделения труда. «Именно это последнее было тою дверью, через которую человечество вышло на бесконечную дорогу своего экономического развития».

Казалось бы, что возрастание производительности труда должно прежде всего послужить на пользу самим трудящимся. Если в результате известного количества труда является большее, чем прежде, количество продуктов, то естественнее всего было бы ожидать, что производители воспользуются этим для улучшения своего материального благосостояния для сокращения своего рабочего дня и т. д., и т. д. Так оно, по мнению Родбертуса, и было бы, если бы экономические успехи человечества не сопровождались возникновением некоторых правовых институтов, обусловливающих некоторые особенности в распределении продуктов.

Сущность этих институтов сводится к следующему. Как только производительность труда поднимается на такую высокую степень, что трудящийся оказывается в состоянии производить более, чем нужно для поддержания его существования, то почва и капиталы переходят в собственность лиц, не принимающих непосредственного участия в производстве. Поэтому и продукты труда достаются уже не рабочим, а обладателям средств производства. Из общей суммы этих продуктов рабочие получают только часть, не превышающую того, что необходимо для поддержания их жизни. Остальная часть продукта поступает в полное распоряжение собственников и составляет их *ренту*. «Положение это кажется, с первого взгляда, до такой степени невероятным,—замечает Родбертус,—что может возбудить недоумение в читателях... Ведь написал же Тьер целую книгу в 400 страниц, чтобы доказать, что собственность основывается только на труде, что она настолько же законна, насколько законно присвоение трудящимся продуктов своего труда. И вдруг оказывается, что знаменитый писатель старался обосновать право собственности, ссылаясь на несуществующий факт! В конце концов выходит, что в своей книге Тьер только и делал, что побивал самого себя! Как несомненно то, что труд есть единственное разумное основание права собственности, что труд, говоря словами Тьера, не только должен лежать в основе собственности, но также определять ее меру и границы, так же неопровержимо и то

обстоятельство, что всюду, где существует разделение труда, почва, орудия и продукты труда не принадлежат рабочим. Они составляют собственность последних только до разделения труда, т.-е. до начала цивилизации. Земля, на которой снискивает свое пропитание первобытный охотник, составляет его собственность так же, как его лук, стрелы или убитое им животное. С появлением разделения труда такое правовое отношение трудящегося к средствам и продуктам производства немедленно прекращается. Оглянитесь вокруг себя! Где земля принадлежит работнику? Она принадлежит тому, кто не только не обрабатывал, но, пожалуй, никогда ее и не видал. Где принадлежит работнику капитал, т.-е. материал и орудия его труда? Он получает их от другого лица, от собственника, и работает, таким образом, с помощью чужого капитала. Где, наконец, принадлежат рабочему продукты его труда? Никогда, во все продолжение процесса производства, начиная от обработки пашни, на которой он сеет клевер для корма овец, и кончая доставкой сукна потребителям, на всех ступенях производства, во время стрижки, пряденья шерсти, тканья и окрашиванья сукна, продукт не принадлежит работнику; он составляет собственность сначала землевладельца, а затем целого ряда предпринимателей, подвергающих его дальнейшей обработке. Трудящиеся над приготовлением продуктов рабочие получают заработную плату, которая есть нечто другое, чем продукт их труда. Только эта заработная плата и поступает им в собственность,—если они могут, по своему правовому положению, иметь собственность. В таком отношении к почве, капиталу и продуктам своего труда повсюду стоит современный работник, и это отношение становится тем более заметным, чем более развивается разделение труда и возрастает его производительность» [1]).

Мы знаем уже, что Бастиа и Тьер не смущались современным положением работника. Они утверждали, что если земля и не принадлежит работнику в настоящее время, то она во всяком случае составляет собственность тех лиц или наследников тех лиц, которые впервые сделали ее доступной для обработки. Так же рассуждали они и о капитале. По их мнению, он перешел в обладание нынешних капиталистов в качестве наследства от тех лиц, труду которых он обязан своим существованием. Но Родбертус не придает никакой цены подобного рода положениям. «Я думаю,—пишет он во втором письме к Кирхману,—что в вас, мой дорогой друг, эти бессмысленные уверения всегда вызывали

[1]) „Zur Beleuchtung", S. 79—80.

такое же отвращение, как и во мне. Как? Разве не происходит почти ежедневно обработка новой, девственной почвы, ее осушение и т. п.? Этот труд совершается не землевладельцем, а нанятыми рабочими, которые не получают, однако, ни малейшего права собственности на возделанную ими землю. Не возникают ли ежедневно новые капиталы, которые менее всего составляют продукт труда лиц, получающих на них право собственности? И как это могло случиться, что факт присвоения самими трудящимися первых обработанных участков земли и первых возникших по разделении труда капиталов, что этот предполагаемый факт навсегда сделал невозможным свое повторение? Неужели разумный правовой принцип присвоения трудящимися продуктов своего труда, неужели этот принцип только для того и явился нормой взаимных отношений первобытных производителей, чтобы затем уничтожить себя навсегда? Нет, мнение, по которому первоначально дело происходило не так, как теперь, *исторически неверно и экономически невозможно*. И прежде, с тех самых пор, как появилось разделение труда, землевладельцами и капиталистами были не те лица, которые расчистили почву и создали своим трудом капиталы. Землевладельцы и капиталисты никогда не были бы в состоянии одними только собственными силами расчистить почву и произвести капиталы» [1]).

С самых первых шагов культурного развития человечества действительность представляла, по мнению Родбертуса, далеко не те мирные картины, малеванию которых так охотно предаются многие экономисты. Всегда и везде, вслед за разделением труда, появляется и эксплоатация человека человеком. «Одни повинуются и служат, другие повелевают и наслаждаются; одни работают, другие присваивают себе расчищенную землю, капиталы и продукты труда». Такой порядок вещей так же стар, как и «право, без которого немыслим был бы» экономический прогресс человечества. Только в среде незнающих разделения труда дикарей наталкиваемся мы на другие отношения между людьми. В охотничьем племени все свободны; лук, стрелы, все необходимые для охоты снаряды, равно как и убитая дичь принадлежат еще самому охотнику. На этой ступени развития человеческих обществ еще невозможно сколько-нибудь продолжительное подчинение человека человеку. Связь родителей с детьми прекращается, как и в животных семьях, немедленно по достижении детьми физической зрелости. Побежденных неприятелей убивают, приносят в жертву или с'едают. И весь

[1]) Ibid., S. 81.

этот порядок вещей обусловливается экономическою необходимостью. Когда производительность труда стоит на такой низкой ступени, что каждый трудящийся не может произвести более того, что необходимо ему для поддержания его существования, тогда эксплоатация человека человеком экономически невозможна. Обращение побежденного врага в раба не приносит еще никакой выгоды победителю, поэтому последний должен или убить, или совершенно освободить своего неприятеля. Освобождение его было бы, однако, не в интересах победителя, так как борьба могла бы возгореться снова. Поэтому «охотничьи племена должны убивать своих побежденных неприятелей». Но вот общество подвигается несколько далее по пути своего культурного развития. Появляются земледелие и разделение труда, производительность его возрастает, и каждый трудящийся получает возможность производить сверх необходимого для него самого еще известный излишек. Тогда победителю уже невыгодно убивать своего врага. Он предпочитает обратить его в рабство, чтобы пользоваться излишком созданных его трудом продуктов. Успехи общества на поприще экономических усовершенствований влекут за собою прогресс в правовых отношениях, потому что порабощение все-таки должно быть признано смягчением нравов, в сравнении с убийством или антропофагией. «Развитие правовой идеи всегда шло рука об руку с экономической необходимостью».

Мы видим таким образом, что «рабство возможно только у земледельческих народов». Но зато в среде этих народов оно находит себе самое обширное применение. По словам Родбертуса, история не может указать ни одного народа, у которого самые первые следы земледелия не были бы связаны с эксплоатацией слабых сильными, у которого «на долю одних не выпадал бы труд, на долю других—пользование его продуктами». Насилие является необходимым и потому неизбежным спутником экономического развития общества, одним из важнейших факторов его хозяйственного уклада. Экономический строй всех сколько-нибудь культурных народов есть продукт насилия, господства с одной стороны и подчинения—с другой. Древнейшие исторические памятники изображают дело именно таким образом, и даже в греческой философии заметно еще, по словам Родбертуса, влияние этого повсеместного явления. Наш автор цитирует то место из «Политики» Аристотеля, в котором последний говорит, что из «отношений мужчины к женщине и *господина к рабу* возникает первое хозяйство». У наших предков дело происходило совершенно подобным же образом. Оно не изменилось и в то время, «в котором можно уже исторически проследить зачатки совре-

менного национального богатства Германии». В доказательство Родбертус ссылается на знаменитые капитулярии Карла Великого de villis, то-есть на те распоряжения последнего об устройстве и организации императорских вилл или хуторов, которые открывают собою, по словам Маурера, «новую эпоху» в истории крупного землевладения в Германии [1]).

Таким образом оказывается, что и «первоначально» почва, капиталы и продукты труда не принадлежали самим рабочим. По мнению нашего автора, гораздо более согласно с исторической истиной обратное положение, то-есть вернее было бы сказать, что первоначально не только почва, капиталы и продукты труда, но и самые работники составляли собственность других, не трудящихся лиц. «Первоначальный вид эксплоатации человека человеком настолько же суровее современного, насколько рабство тяжелее для работника, чем договорные отношения его к предпринимателю» в современном обществе.

Но предполагаемый школой Бастиа первоначальный вид отношений производителя к продуктам его труда, т.-е. присвоение им этих продуктов невозможно и с экономической точки зрения. Каким образом могло произойти расчищение почвы, осушение ее, распашка, словом, все необходимые при переходе к земледелию работы? Разумеется, их не мог предпринять и исполнить изолированный работник. Последний едва может поддержать свою жизнь, влача жалкое существование дикаря-охотника. Его единичных усилий было бы недостаточно для расчистки и обработки почвы. Только основанное на разделении труда общество, «только социальный человек» может совершать чудеса экономического прогресса. Поэтому и обработка почвы и изготовление орудий труда могло быть предпринято лишь целыми группами людей, в среде которых уже появилось разделение труда. Но как возникли такие группы,—спрашивает Родбертус,—как происходило распределение занятий, разделение труда в их среде? Было ли оно следствием свободного договора, которым определялись бы способы коллективного производства, участие в нем каждого из членов общества и, наконец, справедливое, по понятиям того времени, распределение? Утверждать это,—говорит Родбертус,—было бы еще ошибочнее, чем считать поземельную собственность и капиталы продуктом труда их обладателей. «Как образованию государств не мог предшествовать общественный договор, так и экономическая организация народов не могла быть результатом свободного со-

[1]) См. „Einleitung zur Geschichte der Hof-Mark-Dorf und Stadtverfassung", S. 225.

глашения». Мы уже говорили выше, что весь культурный прогресс человечества стоит в тесной связи с возрастанием производительности труда. Мы говорили также, что достигнуть сколько-нибудь высокой степени может лишь разделенный труд. И разделение труда должно, в отличие от случайных меновых сделок первобытных дикарей, найти себе место в самом процессе производства. Продукт должен составлять результат кооперации нескольких производителей, приготовляющих его по частям. Необходимым следствием такой организации производства является правильный обмен продуктов между производителями, которые не могут уже удовлетворять своих потребностей продуктами своего индивидуального труда.

Но это-то разделение труда—необходимая основа всего общественно-экономического процесса—«первоначально основывалось на принуждении и насилии». Впервые оно нашло себе место в той семье, в которой женщины и дети находились, в сущности, в рабском состоянии, не говоря уже о том, что рабы, в собственном смысле этого слова, являлись ее необходимою составною частью. Затем рабство, а с ним и насилие, развивалось далее, легло в основу всего античного хозяйства и, пройдя несколько переходных ступеней, смягчилось в средневековое крепостничество, доставившее необходимый контингент для образования класса современных рабочих. Во все эти эпохи продукты разделенного труда и кооперации производителей не могли принадлежать самим трудящимся, потому что принадлежали господину. С мыслью о том, что единственным основанием собственности должен служить труд, случилось, по мнению Родбертуса, то же самое, что произошло со всеми социальными идеями. «Как только додумывается до них человечество, сейчас же находятся люди, которые в благородном или корыстолюбивом рвении, стараются доказать, что эти идеи лежат в основе всей истории общества. А между тем эти идеи только еще идут к своему осуществлению в будущем» [1].

Но Родбертус идет еще далее. Он утверждает, что средства производства и *не должны были* принадлежать рабочему. Они «и не будут никогда принадлежать ему как собственность,—по крайней мере, до тех пор, пока разделение труда будет существовать, развиваться, расширяться и опрокидывать над обществом рог изобилия своих чудесных сокровищ» [2]. Осуществление такого порядка имущественных отношений,

---

[1]) „Zur Beleuchtung", S. 85.

[2]) „Zur Beleuchtung", S. 85; см. также „Zur Erklärung, und Abhülfe der Kreditnoth des Grundbesitzes". Th. II, S. 295.

в котором каждый рабочий являлся бы собственником орудий и непосредственного продукта своего труда, встретило бы, по мнению нашего автора, непреодолимые технические препятствия. «Припомните,—говорит он,—знаменитый пример булавочного производства. Здесь между добыванием и обработкой металла, с одной стороны, и доставкой булавок потребителю—с другой,—продукт проходит через руки целого ряда производителей. Каждый из них нуждается в особых орудиях, которые, в свою очередь, изготовляются особыми производителями. Если признать, что непосредственный продукт труда должен принадлежать рабочему, то каждая булавка окажется собственностью всех рабочих, которые трудились над ее приготовлением. Каким же образом мог бы вступить в свои права каждый из этих собственников? Как пришлось бы делить между ними продукт их совокупных усилий? И что делал бы каждый рабочий, получивший в булавках свою долю общего продукта? Право собственности рабочих на орудия и непосредственные продукты их труда создало бы такую массу трудностей и замешательств, что оно было бы равносильно уничтожению разделения труда, а с ним и всего пышного здания современной цивилизации». «Нет,—повторяет Родбертус,—почва, капиталы и непосредственные продукты не должны принадлежать рабочим, как не принадлежали они им с тех пор, как существует разделение труда. В следующем «Письме» [1]), в котором я буду говорить о собственности, я укажу на глубокое, провиденциальное значение, на телеологию этого явления. Мне удастся, я надеюсь, доказать, что если общество захочет установить справедливые имущественные отношения, оно все-таки не должно будет отдавать землю, орудия и продукты труда в собственность отдельных работников... Экономическое развитие нации не может стремиться к замене нынешних землевладельцев и капиталистов—собственниками из рабочих; оно вообще не может выразиться в каких-либо законах о разделении национального имущества». С другой стороны, наш автор убежден в том, что экономическое развитие необходимо должно привести к устранению несправедливых сторон современных имущественных отношений; оно должно, по его мнению, возвратить труду то, что принадлежит ему по праву. «Если я назвал,—оговаривается он,—глубоко справедливым то обстоятельство, что почва, орудия и продукты труда не принадлежат рабочим, то этот справедливый факт сопровождается не менее крупною несправедливостью. Эта последняя состоит в том, что средства и продукты произ-

[1]) Письмо это не появилось до сих пор в печати.

водства составляют *частную собственность* других лиц. С тех пор как существует разделение труда, орудия и продукты его *никогда* не составляли собственности рабочих, но *всегда* принадлежали другим частным лицам. Первая *отрицательная* сторона этого явления не только останется необходимой до тех пор, пока счастье общества будет опираться на разделение труда, но именно на ней-то и могут быть построены более справедливые отношения в будущем. Вторая, *положительная* сторона указанного явления должна быть устранена, потому что в ней именно заключается несправедливость современных имущественных отношений. Не чем другим, как принадлежностью орудий и продуктов труда частным лицам, обусловливается то обстоятельство, что *доход* рабочих никогда не бывает равным стоимости продуктов их труда».

V.

Теперь мы имеем ясный и полный ответ на поставленный выше вопрос о происхождении ренты. Мы знаем, благодаря чему лица, не принимавшие никакого участия в производстве, получают свою, иногда львиную долю в распределении. Мы видели, что право на эту долю не имеет никакой причинной связи с теми или другими полезными занятиями, которым предаются иногда собственники. *Экономическая возможность* таких общественных отношений создается возрастанием производительности труда. Чтобы дать возможность существовать лицам нетрудящимся, рабочие должны производить более, чем нужно для поддержания их жизни и продолжения их рода. Но одного этого условия недостаточно. Нужны еще такие учреждения, которые вынуждали бы рабочих передавать оставшийся—за удовлетворением их насущнейших потребностей—излишек в руки нетрудящихся членов общества. Нужны такие правовые нормы, при которых рабочие должны были бы

> Предоставить почтительно нам
> Погружаться в искусства, в науки,
> Предаваться мечтам и страстям.

И такие правовые учреждения не замедлили явиться тотчас же, как люди ознакомились с выгодами разделения труда. Сущность их сохранилась и до настоящего времени, несмотря на всевозможные формальные их изменения. «Как первоначально положительное право опиралось на силу,—говорит Родбертус,—так и теперь передача упомянутого излишка основывается на постоянном принуждении». Первоначально это принуждение достигалось путем рабства. Работники, создававшие

своим трудом средства, сами представляли собою движимую собственность, «говорящие инструменты», как называет их Варрон. Господин их отдавал им то, что необходимо было для поддержания их жизни; все же, что оставалось затем из произведенного их трудом продукта, составляло его неот'емлемую собственность. В настоящее время цивилизованные нации не знают, конечно, не только рабского труда, но и крепостной зависимости. Но это не изменяет, по мнению Родбертуса, сущности дела. Современные землевладельцы и капиталисты имеют в своем распоряжении прекрасное средство для отстаивания своих экономических интересов. Средство это очень простое и обыкновенное: оно носит громкое название свободного договора. Не имея ни земли, ни капитала, современный пролетарий может трудиться только по найму у предпринимателя. Продукты производства составляют поэтому собственность предпринимателя, между тем как рабочий получает условную плату. При определении высоты этой платы и обнаруживаются все благодетельные свойства свободного договора. Побуждаемый голодом, рабочий «рад получить хоть часть стоимости своего собственного продукта, чтобы поддержать свое существование, то-есть, чтобы иметь возможность снова взяться за работу» [1]). Эти реальные отношения нашли свое выражение в учении о необходимой заработной плате, высота которой должна определяться, по мнению экономистов, уровнем насущнейших потребностей рабочего. Таким-то образом «место приказания рабовладельца заступает в настоящее время договор рабочего с предпринимателем». Но договор этот «свободен только с формальной точки зрения, потому что голод вполне заменяет бич рабовладельца. То, что называлось прежде *кормом* раба, называется ныне *заработной платой* свободного рабочего» [2]). Соответственно этому и экономическая наука, со своим учением о «необходимой» заработной плате, как о последнем пределе законных требований рабочего, не перестает смотреть на пролетария, «как на раба, который нуждается в корме столько же, сколько машина в починке».

Но если доход землевладельцев и капиталистов так же, как и доход рабовладельца, представляет собою продукт труда работников, то нужно сознаться, что в современном обществе существует целая масса условий, затрудняющих понимание сущности дела. Чрезвычайно сложный характер современных экономических отношений скрывает эту

[1]) „Zur Beleuchtung", S. 81.
[2]) Ibid.

сущность от глаз поверхностного наблюдателя. Доход фабриканта принимает вид какого-то независимого от труда рабочих «дохода от имущества», как будто составляющие этот доход продукты стоят чего-либо кроме труда. Но представим себе рабовладельческое хозяйство и соответствующую ему организацию производства и распределения. В таком хозяйстве часть рабов обрабатывает поле и добывает сырой продукт. Другая часть их подвергает сырье дальнейшей обработке, пока, наконец, продукт не сделается годным для потребления. Таким образом, те отрасли труда, которым соответствует нынешнее фабричное производство, не отделились еще от земледелия и соединяются с ним в одном и том же рабовладельческом хозяйстве. Все оставшиеся за прокормлением рабов продукты этого хозяйства естественно принадлежат «господину» и составляют его доход. Рабовладелец не станет вывозить эти продукты на рынок, чтобы путем обмена получить необходимые для него предметы потребления. На той ступени экономического развития, о которой здесь идет речь, хозяйство считается хорошим лишь тогда, когда рабовладелец не нуждается в покупке на стороне, когда все нужные ему предметы производятся его рабами. Именно такой идеал хозяйства рисуют своим согражданам Ксенофонт и Аристотель. Легко понять,—говорит Родбертус,—что все продукты такого хозяйства будут обязаны своим существованием труду рабов. Доход господина будет равен разности между произведенными и потребленными его рабами продуктами. И рабовладелец без всякого смущения согласился бы с этим; он считал бы вполне естественным то обстоятельство, что продукты труда его рабов составляют его собственность. Экономическая сторона дела была бы ясна, как день.

Но когда, с дальнейшим развитием общественно-экономических отношений, натуральное хозяйство переходит в денежное; когда появляются отдельные классы землевладельцев и предпринимателей; когда, вследствие этого, взятый у рабочих излишек их продукта подразделяется, как мы увидим ниже, на поземельную ренту и прибыль,—тогда дело оказывается гораздо более сложным и запутанным. Имущим классам не хочется сознаться в том, что доход их обязан своим существованием труду свободных рабочих, у которых, как у рабов, отнимается часть их продукта. Если естественным следствием рабства было право собственности господина на все произведенное трудом *рабов*, то не менее естественным кажется право собственности *свободных рабочих* на полную стоимость их продуктов. И когда личная свобода рабочего уживается рядом с эксплоатацией его в пользу землевладельцев и пред-

принимателей, то у последних невольно является опасение за прочность своих привилегий. «Они боятся,—говорит Родбертус,—чтобы история не сделала последнего вывода из своих посылок и не освободила рабочего и в экономическом отношении. Под влиянием этого опасения представители высших классов охотно соглашаются с тем учением, по которому рента представляет собою продукт *не труда*, а особых «производительных услуг» почвы и капитала. Они обнаруживают, таким образом, особенную склонность к экономическим теориям Сэя. Разделение же ренты на поземельную ренту и прибыль, в связи с обменом продуктов на рынке при посредстве денег, затрудняет понимание дела даже для тех, кто нашел бы в себе достаточно мужества и беспристрастия, чтобы любить истину, какова бы она ни была». В современном обществе взятый у рабочих излишек их продукта, в свою очередь, распределяется между различными слоями общества. Класс лиц, которые, говоря словами Ад. Смита, жнут там, где не сеяли, подразделяется на землевладельцев, предпринимателей и «капиталистов», то-есть лиц, ссужающих свои деньги другим для промышленных предприятий и получающих за это известный процент. «Деньги родят деньги», и это явление, так ужасавшее когда-то Аристотеля и отцов церкви, сделалось теперь до такой степени обыкновенным, что легло в основу всех ходячих воззрений на природу и происхождение ренты. Всякое имущество имеет известную меновую стоимость, выражающуюся в той или другой сумме денег. Поверхностный наблюдатель об'ясняет себе происхождение дохода, приносимого этим имуществом, тем обстоятельством, что на покупку его была затрачена известная сумма денег, которая должна давать процент. Что такими поверхностными наблюдателями оказывались повременам даже патентованные экономисты, читатель может видеть из следующего поразительного примера. «В политической экономии,—говорит один буржуазный «ученый»,—рабочий является не чем другим, как постоянным капиталом, накопленным страной (читай—буржуазией), которая дала средства для обучения и полного развития сил работника. По отношению к производству богатств рабочего нужно рассматривать как машину, на постройку которой был затрачен известный капитал, начинающий приносить проценты с того времени, как он становится полезным фактором в промышленности» (sic!). Именно этим и об'ясняет почтенный экономист то обстоятельство, что «труд рабочего приносит менее выгод ему самому, чем предпринимателю» [1]). Но если в обы-

[1]) „Course éclectique d'écon. politique" par Florès Estrada, t. I, pp. 363—364).

денной жизни такие воззрения являются естественным следствием сложности и запутанности современных экономических отношений, то в науке они не перестают быть самым грубым логическим промахом, самым непозволительным смешением причины со следствием. Не потому землевладелец и предприниматель получают ренту, что денежный капитал приносит теперь известный процент. Наоборот, деньги потому и «родят деньги», что исключительное обладание средствами производства дает имущим классам возможность присваивать себе часть произведенного рабочими продукта. Часть эта удерживается у *свободных* рабочих и вывозится на рынок *для обмена*. Но могла ли произвести какие-нибудь существенные изменения в отношениях имущих и неимущих замена рабов свободными рабочими и натурального хозяйства—денежным? Весь доход рабовладельческого хозяйства был продуктом труда рабов. Каким же образом доход собственников перестал бы быть продуктом труда рабочих, благодаря лишь тому обстоятельству, что рабы получили свободу, а имущий класс подразделился на несколько различных слоев? Ведь изменились только правовое положение рабочих да распределение отнятого у рабочих продукта. Происхождение же этого продукта, «естественное отношение производителя к продукту его труда», как выражается Родбертус, осталось неизменным. Вся разница лишь в том, что присвоение рабовладельцем продуктов рабского труда было непосредственным следствием рабства; современный же рабочий отдает предпринимателю продукты своего труда в силу «свободного договора». И если стоимость заработной платы всегда составляет *только часть* стоимости произведенного рабочим продукта, то не ясно ли,—спрашивает Родбертус,—что другая часть этой стоимости составляет доход собственников? А если это так, то частная собственность на землю и средства производства вполне заменяет собою то давление, которое оказывала когда-то на трудящихся рабская и крепостная зависимость. Она заставляет рабочих довольствоваться скудным заработком и предоставлять в распоряжение собственника все то, что остается за удовлетворением их самых насущных потребностей. Только тысячелетняя привычка, в связи с упомянутою сложностью современного хозяйства, могла затемнить, по мнению Родбертуса, ту простую истину, что доход собственников есть не что иное как продукт труда рабочих. «Простейшие и ближайшие истины всегда оказывались наименее понятными для людей. Это случалось особенно часто с истинами, заключавшими в себе общественный, моральный элемент, указывавшими людям

на несправедливость того, что составляло правовую норму общественных отношений в течение целых тысячелетий» [1]).

К числу удивительнейших возражений против изложенного выше учения о ренте нужно, без сомнения, отнести следующее рассуждение Германна. Глупо было бы,—говорит этот остроумный человек,—со стороны рабочих менять известное количество,—положим, десять часов,—своего труда на плату, эквивалентную только 8 или 6 часам труда. «Однако,—отвечает Родбертус,—рабочих не особенно благодарят в тех случаях, когда они начинают находить такой отмен глупым. Как их всеми силами стараются убедить в противном, и если этой цели не достигают рассказы мисс Мартино, то помогает ultima ratio regis. Независимо от взглядов рабочих на разумность такой сделки, они *должны* согласиться на нее, если не хотят умереть голодной смертью!» Когда могли они отказаться от предлагаемой им предпринимателем «глупой сделки»? Оборванными или совсем нагими были отпущены они на свободу, не имея ничего, кроме своей рабочей силы... обязанность прежнего владельца заботиться об их пропитании устранялась вместе с упразднением их зависимости, между тем как потребности их оставались в прежней силе. Им нужно было чем-нибудь жить. Что же оставалось им делать? Им предстояла одна альтернатива: или разрушить существующий общественный строй, или вернуться к прежним своим господам и получить в виде платы то, что получали они прежде в виде корма. Другими словами, несмотря на новое *правовое* положение, они должны были работать при прежних *экономических* условиях. И рабочие были настолько благоразумны, что предпочли совершить *глупость,* в которой упрекает их Германн, и своим уважением к существующим правовым учреждениям обеспечить развитие цивилизации».

Эта-то «глупость» рабочих и обусловливает существование ренты, т.-е. всякого дохода, получаемого известным лицом без труда с его стороны, единственно по праву собственника. В настоящее время такой доход получает различные названия, смотря по тому, достается ли он землевладельцам, предпринимателям или, наконец, обладателям денежного капитала. Как подразделяется взятая у рабочих часть их продуктов между перечисленными категориями нетрудящихся, об этом мы будем говорить в следующих главах, где мы закончим изложение экономической теории Родбертуса. Мы увидим там, какие соображения заставили Родбертуса отрицать правильность теории поземельной ренты Рикардо.

[1]) „Zur Beleuchtung", S. 89.

и постараемся обнаружить ошибки нашего автора по отношению к этому вопросу. Наконец, указавши все те пункты, в которых разошелся Родбертус с экономистами-классиками, мы сравним его теорию с учением Маркса. Теперь же мы закончим эту главу, обращая внимание читателя на то, что изложенная уже выше часть теории Родбертуса содержит в себе вполне выработанное учение о «прибавочной стоимости», этом фокусе всех «проклятых вопросов» XIX века. Именно это учение о «прибавочной стоимости» и заставило, как нам кажется, автора «Капитала» признать, что, несмотря на ошибочность теории поземельной ренты, «Sociale Briefe an von-Kirchmann» ясно изображают сущность капиталистического производства.

VI.

На основании предыдущего изложения читателю известно уже, каким образом об'ясняет Родбертус существование так называемой им «ренты вообще», т.-е. всякого дохода, получаемого без труда, единственно по праву собственности. Так как всякий доход составляет продукт труда, то лица, не принимающие непосредственного участия в производстве, не могли бы поддерживать своего существования, если бы продукт труда рабочих не превышал количества предметов, необходимых для удовлетворения их насущнейших потребностей. Первым условием существования ренты является, следовательно, возрастание производительности труда. «Всякая рента,—говорит наш автор,—поземельная рента и рента на капитал, становится возможной лишь тогда, когда продуктов производится больше, чем нужно их для удовлетворения насущнейших потребностей рабочих; другими словами, принцип об'ективного существования ренты есть достаточная производительность труда [1]). Но, однако, этого условия еще мало. Возрастание производительности труда создает лишь экономическую возможность существования ренты Спрашивается: каким путем переходит в руки других лиц излишек продукта, остающийся за удовлетворением потребностей трудящихся? Это достигается путем давления, оказываемого на рабочих известными правовыми учреждениями. Одним из таких учреждений было рабство, «возникновение которого совпадает, по словам Родбертуса, с возникновением земледелия и поземельной собственности». Рабочие сами представляли собою предметы собственности на-ряду с землею и орудиями

[1]) „Zur Erkenntniss unserer staatswirthsch. Zustände", S. 67.

труда. Некоторая часть продуктов их труда шла на восстановление их сил и «поддержание их расы», как выражаются экономисты; другая часть употреблялась на возмещение затраченных в хозяйстве средств производства; наконец, все, что оставалось сверх этого, составляло чистый доход рабовладельца и принадлежало ему по всем законам, «божеским и человеческим». Такой порядок вещей справедливо осуждается буржуазными экономистами, так как он основан на эксплоатации слабого сильным. Но, упраздняя институт рабства, история не имела, к сожалению, в виду буржуазных экономистов с их высоко развитым нравственным чувством. В противном случае она устранила бы, конечно, не форму только, но и самую сущность эксплоатации человека человеком. Теперь же мы видим, что «голод с успехом заменяет бич рабовладельца». Другими словами, современная организация производства новым путем достигает старой цели—передачи излишка, оставшегося за удовлетворением насущнейших потребностей рабочих, в другие руки. В капиталистическом обществе все хозяйственные предприятия ведутся за счет собственников, которым и принадлежат продукты предприятий. Что же касается до свободных рабочих, то они, «не имея ничего, рады, если им удастся получить хоть часть своего собственного продукта» в виде заработной платы. В таком обществе «место приказания рабовладельца занимает договор рабочего с предпринимателем; но договор этот свободен только с формальной стороны, потому что рабочие вынуждены довольствоваться лишь частью своего продукта». Это видно, между прочим, из того, признанного всеми экономистами факта, что наем свободного работника обходится дешевле содержания невольника «Опыт всех веков и народов доказывает,—говорит Ад. Смит,—что труд свободного рабочего стоит предпринимателю в конце концов дешевле труда раба» [1]). Родбертус выражает ту же мысль, называя заработную плату замаскированным кормом раба.

Мы видим таким образом, что, кроме возрастания производительности труда, существует еще другое, необходимое и достаточное условие существования ренты—именно частная собственность на землю и капиталы. «Принцип получения ренты,—говорит Родбертус,—есть частная собственность на землю и капитал» [2]). Посмотрим же теперь, какими законами регулируется дальнейшее распределение ренты между различными слоями привилегированного класса.

---

[1]) „Wealth of Nations", p. 77 (в изд. „The world Library of standards Book").
[2]) „Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände", S. 72.

Прежде всего нужно заметить, что как распределение национального дохода, так и все движение общественно-экономической жизни принимает различные виды в различные исторические эпохи, в зависимости от изменений в самой организации производства. Там, где разделение общественного труда еще не велико, обработка сырых продуктов совершается в пределах тех же самых хозяйственных единиц, которые занимаются их добыванием. Это мы видим, например, в античном обществе. В большом древне-римском или древне-греческом хозяйстве часть рабов занималась добыванием сырых продуктов, другая подвергала эти продукты дальнейшей обработке, пока они не становились годными для потребления.

Земледельческий труд не был еще отделен от ремесленного, а потому и средства производства безразлично принадлежали одному и тому же классу собственников. Чистый доход каждого античного хозяйства представлял собою однообразное целое, о подразделении которого на поземельную ренту и прибыль на капитал не могло быть и речи, так как в обладании средствами производства не произошло еще необходимой для выработки этих понятий дифференциации. Все движение общественно-экономической жизни совершалось еще в форме натурального хозяйства. Так как сырые продукты подвергались обработке в пределах той же хозяйственной единицы, в которой они добывались, то все «посредственные и непосредственные хозяйственные блага», т.-е. предметы потребления и средства производства, приготовлялись «дома». Ни на одной из стадий своего возникновения эти «хозяйственные блага» не являлись еще в виде товаров, а потому и понятие о меновой стоимости продуктов отходило здесь, как говорит Родбертус, на задний план. Вернее сказать, оно совсем еще не выработалось. Вследствие этого не существовало еще масштаба для оценки как всего имущества рабовладельца, так и чистого дохода его хозяйства. Чистый доход и средства производства оставались еще величинами несоизмеримыми: невозможно было определить отношение стоимости чистого дохода к стоимости всего имущества, так как отсутствовало еще самое понятие о меновой стоимости. Взаимное отношение различных частей дохода и имущества также не поддавалось, как мы сказали, определению. Рабовладелец не мог, да и не имел ни малейшей надобности определять, какая часть его дохода приходится на землю, какая на «капитал». Самое понятие о капитале, в нынешнем смысле этого слова, не выработалось еще в античном обществе. «Капитал сам по себе, в логическом или национально-экономическом смысле

этого слова, есть, по определению Родбертуса, продукт, предназначенный для дальнейшего производства, предварительно совершенная работа». Но рассматриваемый с точки зрения современного предпринимателя, т.-е. по отношению к прибыли, которую он приносит, продукт этот, чтобы быть капиталом, должен явиться в виде издержек предприятия. В виде таких издержек является, например, современный исторический капитал, обнимающий собою стоимость материала, орудий труда и заработной платы. Но в античном обществе, где все операции добывающей и обрабатывающей промышленности совершались в пределах одного и того же хозяйства, «продукт, предназначенный для дальнейшего производства», не является для рабовладельца в виде издержек. Материалы для различных отраслей производства не покупаются на рынке. Они производятся внутри того же самого хозяйства, и ремесленник обрабатывает лишь то, что произведено его товарищем, рабом-земледельцем. Содержание рабов так же мало представляет собою капитал, долженствующий приносить собою прибыль, как корм для скота, составляющий продукт собственного хозяйства, представляется капиталом современному сельскому хозяину. Не будучи покупаемы на рынке, не являясь в виде издержек в нынешнем смысле этого слова, входившие в состав античного хозяйства средства производства не приносили и прибыли в смысле известного количества процентов на единицу затраченного капитала. Только деньги составляли исключение из этого общего правила. Определение уровня процентов на отданный в заем денежный капитал (римский sors) не представляло никаких затруднений, так как здесь, по выражению Аристотеля, «равное рождается от равного», затраченный капитал и полученный доход являются в виде одноименных стоимостей. Но процент этот был ростовщическим процентом. Величина его определялась нуждой должника, а не общим уровнем прибыли промышленных предприятий, как это имеет место в настоящее время. Этим и об'ясняется то предубеждение против «процента», которое замечается у всех древних писателей [1]) и кажется современным экономистам нелепым предрассудком. Но предрассудок этот имел, как мы видим, свое разумное основание. Он коренился в

[1]) Мунк, в своей „Geschichte der römischer Literatur“ (I Band, S. 239). приводит весьма характерную выписку из сочинений Катона-цензора „De re rustica“. „Наши предки,—говорит этот стародум римского общества,—приговаривали вора к возврату украденного в двойном размере, ростовщика—к возврату суммы, вчетверо превышающей взятый им процент. Отсюда можно видеть, во сколько раз ростовщик казался им хуже вора“.

общем укладе экономической жизни античного общества, положившем свой отпечаток на все экономические воззрения классических писателей. Именно в этом укладе экономической жизни и нужно, по словам Родбертуса, искать об'яснения того обстоятельства, что древним была закрыта вся область государственного хозяйства, что в экономических сочинениях таких умов, как Аристотель и Ксенофонт, мы встречаем лишь правила домашней экономии, а не экономии целой нации [1]).

Мы видим таким образом, что в античном мире распределение «ренты вообще» допускало лишь количественные, но не качественные различия. Конечно, не все члены имущего класса получали доход одинаковой величины, но между ними невозможно еще было различить землевладельцев от капиталистов. Только в истории германских народов появляется это качественное различие в родах дохода. Оно обусловливается возникающей здесь дифференциацией труда и владения, зарождающейся противоположностью между городом и деревней. Обработка добытых в деревне сырых продуктов сосредоточивается теперь в городах, так как средневековые постановления прямо запрещают землевладельцам ремесленные предприятия. Естественным следствием этой противоположности между городом и деревней было дальнейшее подразделение обрабатывающей промышленности на множество отдельных отраслей. «Земледелие дает материал для самых разнообразных отраслей промышленности,—говорит Родбертус,—зерновой хлеб для выделки муки, дерево для приготовления мебели и орудий труда, кожу—для обуви, лен и шерсть—для платья и т. д., и т. д.». В античном хозяйстве все эти сырые продукты подвергались обработке на месте. С отделением же ремесленной деятельности от сельско-хозяйственной обработка сырых продуктов необходимо должна была подразделяться на множество разнородных отраслей. Сапожник не мог заниматься выделкой мебели, столяр не мог взяться за приготовление платья. В свою очередь каждая из этих отраслей ремесленной деятельности подразделялись еще на более мелкие [2]). Все эти неизвестные в античном мире подразделения нашли свое выражение в средневековой организации цехов. Разделение труда, незначительное еще внутри мастерской, играло тем бо́льшую роль во взаимных отношениях различных

---

1) „Zur Beleuchtung", S. 100.

2) Изданные Людовиком Св. в половине XIII столетия постановления, известные под именем „Etablissements des metiers de Paris", содержат, по словам Бланки, «правила, относящиеся более чем к 150 различным профессиям». „Histoire de l'économie pol.", V édit., p. 161.

корпораций, подавая повод к целому ряду недоразумений, так как не всегда и возможно было провести точную границу между сферами законной деятельности различных ремесленников.

При существовании частной собственности на землю и капитал, разделение общественного труда предполагает обмен его продуктов на рынке. Производитель каждого рода продуктов должен предварительно обратить их в деньги и уже с помощью денег приобретать необходимые для него предметы потребления. «Та хрематистика, которую Аристотель считает достойной гражданина, тот способ хозяйства, который состоял в том, чтобы продуктами домашнего приготовления удовлетворять все важнейшие потребности, лишается своего нравственного значения, потому что становится невозможным экономически» [1]). Натуральное хозяйство античного мира мало-по-малу уступает свое место современному денежному хозяйству. «На первый план выступает меновая стоимость продуктов». Так как каждый производитель лишь путем обмена получает необходимые для него предметы потребления, то естественно, что он прежде всего интересуется меновой стоимостью своих продуктов. Ею определяется его покупательная сила. Богатство человека, величина и значение его имущества определяются теперь меновою, а не потребительною стоимостью находящихся в его распоряжении продуктов. Самое распределение национального дохода происходит теперь иначе, чем оно происходило в античном обществе. Во-первых, продукты не делятся непосредственно между обладателями средств производства и рабочими. Они продаются предварительно на рынке, и только различные части их стоимости распределяются между этими классами. Во-вторых, приходящаяся на долю собственников часть национального дохода, «рента вообще», подразделяется теперь на несколько видов. Одна часть ее поступает в распоряжение сельских хозяев, другая распределяется между ремесленниками-предпринимателями и фабрикантами. Каждый из них называет доставшуюся ему часть ренты доходом с имущества. Сельский хозяин смотрит на нее, как на продукт, обязанный своим существованием почве и земледельческому капиталу, фабрикант об'ясняет свою прибыль «производительными услугами» принадлежащих ему средств производства. Но мы знаем уже, что «всякая рента» есть такой же продукт труда рабочих, как их заработная плата. И если, считая свою ренту доходом с имущества, рабовладелец был до известной степени прав, потому что рабы также составляли часть его

[1]) „Zur Beleuchtung etc.“, S. 102.

имущества, то в настоящее время, с освобождением рабочего, дело представляется в ином свете. «Рабочие, трудом которых создается этот доход, считаются свободными, а свобода предполагает право собственности трудящегося на продукты его труда» [1]). Только сложностью современного хозяйства и нежеланием имущих классов признать неприятные для них истины об'ясняется, по мнению Родбертуса, это перенесение на неодушевленные предметы творческих свойств живого человеческого труда.

Не будем, однако, уклоняться от вопроса о распределении ренты между различными слоями имущего класса. Мы сказали выше, что с отделением промышленных предприятий от земледельческих возникают качественные различия в распределении национального дохода, создаются неизвестные древним экономические категории. Но разделение чистого дохода страны между сельскими хозяевами и промышленниками не об'ясняет еще этих различий. Всюду, где преобладает фермерство, сельскими хозяевами являются не сами землевладельцы. Доход же крупного фермера есть так же прибыль на капитал, как и доход фабриканта. Существенных различий нужно искать между доходом землевладельца, с одной стороны, и доходом предпринимателя—с другой, хотя бы предпринимателем явился не фабрикант или ремесленник, а сельский хозяин-арендатор. Только установивши это основное различие, мы можем перейти к дальнейшему исследованию законов распределения, к выяснению принципов этих различных категорий ренты, т.-е. поземельной ренты и прибыли на капитал.

Для выяснения этих принципов Родбертус считает необходимым сделать два предположения. Для простоты анализа он принимает, что часть ренты, доставшаяся «обладателям фабричного продукта, не подвергается дальнейшему подразделению между различными отраслями ремесленного и фабричного производства. Я делаю это,—говорит он,—единственно для простоты рассуждения, и такое предположение нисколько не изменяет сущности явления, хотя в действительности оно происходит, конечно, иначе». Кроме того, он принимает, что «меновая стоимость продукта определяется количеством труда, затраченного на его производство». Другими словами, он исходит в своих рассуждениях из признанной и подробно разобранной им теории стоимости Рикардо. «В своем сочинении «Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände» я показал,—прибавляет он,—что в действительности меновая

[1]) „Zur Beleuchtung", S. 106.

стоимость продуктов несколько отклоняется от этой нормы, что она бывает то выше, то ниже ее, но она стремится, по крайней мере, к этому столько же естественному, сколько и справедливому уровню. Притом же мое предположение,—поскольку речь идет лишь об определении общих законов распределения ренты,—нисколько не противоречит истине. Наконец, я мог бы с таким же удобством принять, что меновая стоимость несколько отклоняется в ту или другую сторону от вышеупомянутой нормы. Мне важно лишь признание того, что стоимость следует в своих изменениях одному и тому же постоянному закону». Какое значение имеют эти предположения для нашего автора, мы увидим впоследствии.

Доставшаяся фабричным предпринимателям часть «ренты вообще» рассматривается ими, как прибыль на капитал. Мы говорили уже выше, что развитие товарного производства выдвигает на первый план меновую стоимость продуктов. Вследствие этого является возможным определить уровень прибыли каждого предприятия, т.-е. отношение прибыли к общей сумме затраченного в производстве капитала. И прибыль и затраченные в предприятии средства производства одинаково являются теперь в виде стоимостей, допускающих всевозможные сравнения и измерения. Там, где движение капиталов не стесняется законодательными мерами, устанавливается обыкновенно определенный уровень прибыли, равной для всех отраслей промышленности. Это достигается, как известно, путем конкуренции. Обычный в стране уровень прибыли на капитал принимается за норму и в сельско-хозяйственных предприятиях. Это признается всеми экономистами и об'ясняется тем, что промышленная деятельность вовлекает в свой круговорот гораздо более значительную часть национального капитала, чем земледелие. Из чистого дохода сельско-хозяйственных предприятий должна быть, прежде всего, вычтена часть, соответствующая обычной прибыли на капитал. В противном случае земледелие не представляло бы собою достаточно выгодной для капиталистов отрасли промышленности, и капиталы устремились бы в другого рода предприятия.

Если прибыль на земледельческий капитал не поглотит всего чистого дохода сельско-хозяйственных предприятий, то остаток будет представлять собою поземельную ренту и принадлежать землевладельцам, как таковым. Всегда ли будет существовать такой остаток? Именно этот вопрос и ведет к разногласию между Родбертусом и Рикардо. Последний отвечает на него отрицательно. По его мнению, такой остаток появляется лишь тогда, когда, с увеличением населения, общество видит

себя вынужденным взяться за обработку менее плодородных земель, при чем возвышается стоимость земледельческих продуктов. «Когда с прогрессом общества,—говорит он,—поступают в обработку земли второй степени плодородия, то земли лучшего качества немедленно начинают приносить ренту, и величина этой ренты зависит от разницы в степени плодородия лучших и худших участков». Родбертус полагает, напротив, что, «*за вычетом прибыли на капитал из доставшейся обладателям сырого продукта ренты, всегда должна остаться некоторая часть в виде поземельной ренты, как бы ни была велика или мала стоимость сырых продуктов*» (курсив Родбертуса) [1]). Он основывает свой взгляд на том предположении, что меновая стоимость как сырых, так и фабричных продуктов определяется количеством труда, необходимого на их производство.

Рассмотрим ближе учение обоих экономистов. По мнению Рикардо, первые поселенцы всякой страны занимают, обыкновенно, самые плодородные участки земли. Пока население остается редким и малочисленным, этих участков первостепенного качества существует более чем достаточно для пропитания жителей. Каждый желающий заняться земледелием и обладающий необходимым для этого капиталом может найти еще незанятый участок земли первостепенного качества. Вследствие этого никто не согласится платить ренту за право пользования землею, отошедшею в частную собственность. «По общим законам спроса и предложения,—говорит Рикардо,—никто не будет платить за право пользования этою землею, так же точно, как никто не платит за право пользования водою или воздухом, или каким-нибудь другим естественным благом, существующим в неограниченном количестве». Весь чистый доход земледельческих предприятий остается, следовательно, в руках предпринимателей, и землевладельцы получают доход лишь постольку, поскольку они являются в то же время и сельскими хозяевами. Но с возрастанием народонаселения дело принимает другой оборот. Все участки лучшего качества оказываются занятыми а между тем спрос на хлеб все-таки превышает его предложение. Хлебные цены растут и достигают, наконец, такого высокого уровня, что даже обработка участков второстепенного качества начинает приносить обычный уровень прибыли на капитал. Но в таком случае доход с первостепенных участков будет уже превышать эту норму. За вычетом из него обычной прибыли, получится еще некоторый остаток, который и будет пред-

[1]) „Zur Beleuchtung der socialen Frage", S. 109.

ставлять собой ренту. Эта часть доходов с участков лучшего качества поступит в распоряжение землевладельцев, отдавших их в наем. Уровень арендной платы определится, таким образом, самым ходом общественно-экономического развития.. Но достигнутое таким путем равновесие будет весьма неустойчиво. Дальнейшее возрастание народонаселения вынудит общество взяться за обработку земель третьестепенного качества. Тогда доход с участков второстепенного качества, в свою очередь, превысит обычный уровень прибыли, и они также начнут приносить своим владельцам ренту. И чем ниже будет плодородие поступающих в обработку земель, тем менее будет их доходность сравнительно с доходностью лучших участков, тем более будет возрастать приносимая этими последними рента. Сущность рассуждения не изменится, если мы предположим, что с возрастанием народонаселения предприниматели не берутся за обработку земель худшего качества, а увеличивают затрату труда и капитала при возделывании лучших участков. Это увеличение затрат не будет сопровождаться, по мнению Рикардо, пропорциональным ему возрастанием чистого дохода. С развитием общества производительность земледельческого труда постоянно уменьшается. Таким бразом, при удвоении затрат на обработку лучших участков приносимый ими доход возрастает не на 100%, а лишь на 90, 85 или 80%. Но во всяком случае последняя, наименее производительная затрата капитала должна принести обычную прибыль, потому что иначе капиталисты не решились бы на такую затрату. Возможность получения обычной прибыли обеспечивается общим возвышением хлебных цен, так как «меновая стоимость всех предметов потребления определяется количеством труда, необходимого на их производство в тех предприятиях, которые не имеют исключительных преимуществ». К числу таких предприятий относится, разумеется, и обработка земель лучшего качества, равно как и наименее производительные затраты труда на лучших участках. Но в таком случае доход, приносимый предшествовавшими, более производительными затратами труда и капитала, будет уже превышать обычный уровень прибыли. Полученный за вычетом этой прибыли остаток отойдет к землевладельцам и будет составлять их ренту.

Такова теория поземельной ренты Рикардо, казавшаяся Родбертусу ошибочной во всех отношениях. Как известно уже читателю, наш автор не разделял того убеждения, что с развитием общества производительность труда постоянно уменьшается. Со свойственной ему основательностью он разобрал со всех сторон это положение английской

школы и показал его ошибочность. Относящиеся сюда аргументы Родбертуса имеют огромную важность, и несколько ниже мы представим их подробное изложение. Но, несмотря на всю свою основательность, аргументы эти не могли поколебать теории Рикардо, так как центр тяжести его учения лежит вне вопроса о производительности земледельческого труда. Это сознавал и сам Родбертус. «Теория поземельной ренты Рикардо,—говорит он в третьем письме к Кирхману,—также хорошо согласима в основных своих положениях с постоянным уменьшением производительности земледелия» [1]). Сущность теории Рикардо заключается в том положении, что наименее производительные затраты земледельческого капитала, равно как и наименее плодородные участки земли не приносят ренты, а дают лишь обычную прибыль. На этот пункт и направил наш автор свои главные возражения. Он упрекал Рикардо в непоследовательности, утверждая, что теория ренты английского экономиста противоречит его учению о меновой стоимости, составляющему главную заслугу его в истории экономической науки. Если все предметы потребления стоят труда и только труда,—рассуждал Родбертус,—если меновая стоимость продуктов, по учению самого Рикардо, определяется количеством труда, необходимого на их производство, то общая стоимость национального дохода распределится между предпринимателями пропорционально количеству труда, затраченного на производство их продуктов. Предположив, что высота заработной платы одинакова во всех отраслях производства, т.-е. что в каждой из них рабочий получает одинаковую *часть* стоимости произведенного им продукта, мы должны будем признать, что и «рента вообще» распределится между предпринимателями пропорционально стоимости вывезенных ими на рынок продуктов. Допустим, что стоимость земледельческих продуктов равняется стоимости продуктов фабричных, т.-е. что на производство тех и других затрачено одинаковое количество труда. Тогда и чистый доход или рента фабричных предпринимателей будет равняться чистому доходу сельских хозяев. Мы знаем уже, что рента промышленников называется прибылью на капитал, высота которой служит нормой и для земледельческих предприятий. Но сельские хозяева всегда нуждаются в меньшем количестве капитала, чем промышленники. Это об'ясняется тем обстоятельством, что, подвергая обработке сырые продукты, промышленники должны увеличить общую сумму издержек своего предприятия покупкой более или менее дорогого материала. Земледелие же не нуждается

[1]) „Zur Beleuchtung", S. 62.

в таком материале, который был бы продуктом предшествующих ступеней производства. «Земледелие начинает собою производство, и материалом для обработки в нем служит сама почва», которая не входит в сферу предпринимательских издержек [1]). Вследствие этого отношение чистого дохода к общей сумме капитала будет в земледельческих предприятиях больше, чем в фабричных. В самом деле, мы предположили, что чистый доход, приходящийся на долю сельских хозяев, равняется чистому доходу промышленников. Но в земледелии этот доход распределяется на меньший капитал, чем в промышленности. Поэтому если прибыль на промышленный капитал будет достигать десяти процентов, то доход от сельско-хозяйственных предприятий будет несколько выше; он будет равняться, положим, пятнадцати или двадцати процентам. За вычетом из этого дохода обычной прибыли на капитал, мы получим некоторый остаток, который и будет представлять собой поземельную ренту. Повторяем, существование такого остатка будет, по мнению Родбертуса, не случайным, а постоянным явлением, если только меновая стоимость земледельческих продуктов определяется количеством труда, необходимого на их производство.

Во избежание всяких недоразумений по этому важному вопросу, мы просим у читателя позволения повторить то же рассуждение в несколько более конкретной форме. Два предпринимателя—фермер и фабрикант—вывозят на рынок продукты, стоившие одинакового количества труда. Меновая стоимость продуктов фермера будет поэтому равняться меновой стоимости продуктов фабриканта. Если наши предприниматели заплатили одинаковую сумму своим рабочим, то и чистый доход их будет одинаков. Но, согласно мнению Родбертуса, мы должны предположить, что издержки фабриканта были больше издержек фермера. Допустим, что первый затратил вдвое больший капитал, чем второй. Ясно, что фермер получит вдвое большую прибыль на свой капитал, чем фабрикант. Но конкуренция не допускает двух различных уровней прибыли. Мы знаем уже, что прибыль промышленных предприятий служит нормой для предприятий сельско-хозяйственных. Поэтому наш фермер должен будет довольствоваться лишь половиной принесенного его фермой дохода, другую же половину он передает землевладельцу в виде поземельной ренты.

---

[1]) „Zur Beleuchtung", S. 100; ср. также „Zur Erklärung und Abhülfe der Krepitnoth des Grundbesitzes", I Band.

Это рассуждение составляет, по словам Родбертуса, «основной пункт и краеугольный камень» его теории поземельной ренты. Он настойчиво возвращается к нему как в напечатанных своих сочинениях, так и в письмах, из которых многие, по собственному его замечанию, составляют целые брошюры. В 1870 году он предложил в гильдебрандовских «Jahrbüchern» «следующую задачу» сторонникам Рикардо. Предположим, говорит он, уединенный от всего мира круглый остров, на котором существует частная собственность на землю и капиталы. Вся обрабатывающая промышленность сосредоточена в городе, расположенном в самом центре острова; лежащая вне городских стен почва служит для добывания сырых продуктов. Размеры острова так невелики, что каждое из расположенных одно возле другого имений простирается от городских стен до самого берега. Принадлежащая к этим имениям земля отличается повсюду одинаковыми качествами. «В этой гипотезе,—прибавляет наш автор,—исключены все те моменты, которые ставят отдельных землевладельцев в исключительно благоприятные условия по отношению к сбыту или стоимости производства продуктов. Здесь не существует различия ни в качестве почвы, ни в расстоянии от места сбыта... Здесь нет ни одного из тех условий, которые, по мнению Рикардо, вызывают появление ренты. Но я утверждаю, что *рента все-таки будет существовать,* потому *что* в распоряжении землевладельцев, сверх прибыли на их капиталы, во всяком случае останется еще некоторая часть чистого дохода. Откуда возьмется эта часть дохода? Ответ на этот вопрос заключает в себе, по моему мнению, принцип поземельной ренты, потому что постановка вопроса не позволяет смешивать случайные явления с существенными, поземельную ренту—с различными колебаниями этой ренты в том или другом частном случае» [1]).

Развивая далее свою аргументацию против теории Рикардо, Родбертус обращает внимание на другую, по его мнению, слабую сторону ее. Поземельная рента обязана своим существованием, по учению Рикардо, тому излишку дохода с лучших участков земли, который остается за вычетом прибыли на капитал. Но прибыль на капитал не представляет собою постоянной величины: уровень ее повышается и понижается несколько раз в течение года. Как отражаются на поземельной ренте эти колебания?—спрашивает Родбертус. При понижении общего уровня прибыли даже самые плохие участки должны приносить ренту; при возвышении этого уровня многие участки, приносившие

[1]) Ср. „Zur Beleuchtung", S. 113.

прежде ренту, перестают приносить ее. Но ни в том, ни в другом случае не изменяются ни свойства участков, ни расстояние их от рынка. Все эти пертурбации произойдут единственно вследствие колебаний уровня прибыли. Таким образом, поземельная рента Рикардо,—которая есть не более как *дифференциальная* рента,—представляет собою нечто в высшей степени шаткое, заключает наш автор [1]).

VII.

При изложении учения Родбертуса о поземельной ренте, мы обращали уже внимание читателя на то обстоятельство, что землевладелец может и не заниматься лично сельским хозяйством. Он может сдать свою землю в наем и довольствоваться арендной платой, не принимая таким образом ни малейшего участия в производстве национального продукта, но весьма интересуясь ходом его распределения. То же самое может иметь место и по отношению к капиталу. Очень часто собственник передает свой капитал в производительное пользование другого лица, получая за это известную часть чистого дохода предприятия. Таким путем происходит дальнейшее подразделение взятой у рабочих части стоимости их продукта; рядом с «капиталистом» является «предприниматель», рядом с землевладельцем—арендатор. Вместе с этим и в науку вводятся соответствующие понятия: доход капиталиста называется процентом, доход предпринимателя—прибылью предприятия; наконец, доход землевладельца называется арендной платой и при свободном соперничестве арендаторов имеет, по крайней мере, тенденцию совпасть с тем, что называется в науке поземельной рентой. Интересы лиц всех поименованных «званий и состояний», солидарные между собой, пока дело касается самого существования «ренты вообще», немедленно приходят в столкновение, как только речь заходит об ее подразделении. Предприниматель стремится к тому, чтобы как можно меньше платить за право пользования капиталом; напротив, капиталист старается увеличить свой доход на счет предпринимателя. Между землевладельцами и арендаторами также происходит вечная борьба по вопросу о величине арендной платы. Неудивительно поэтому, что правомерность каждого из этих видов дохода не раз подвергалась сомнению и служила поводом самой ожесто-

[1]) „Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft", 1878, erstes und zweites Heft, S. 230.

ченной полемики между заинтересованными сторонами. Споры эти характерны, как мерило постепенного роста и выяснения важнейших экономических понятий. Мы не говорим о тех громах, которые раздавались против процента со стороны античных писателей и отцов церкви. Их взгляды коренились в иных, совершенно непохожих на наши общественных отношениях. Но достаточно напомнить знаменитый спор Бастиа с Прудоном, в котором последний никак не мог провести резкой границы между процентом с одной стороны и прибавочной стоимостью—с другой. Что касается поземельной ренты, то в настоящее время в Англии ведется довольно сильная агитация в пользу так называемой «национализации почвы», т.-е. перехода земли в собственность государства. Необходимость этой меры вызывается, по мнению ее сторонников, тем обстоятельством, что именно поземельная рента, в нынешнем ее виде, нарушает гармонию интересов всех классов общества.

Наш автор не только не разделял таких псевдо-радикальных взглядов, но посвятил даже особую главу «правовому обоснованию процента и арендной платы за землю». Он был убежден, что пока землевладельцы и капиталисты имеют дело с предпринимателями, до тех пор они имеют право требовать вознаграждения за производительное пользование их имуществом. «Несправедливость, которую многие усматривают в существовании арендной платы за землю и процента, заключается не в подразделении ренты вообще, а в самом ее возникновении... Вот почему, когда я стараюсь найти правовое обоснование процента и арендной платы, я имею в виду лишь взаимные отношения собственников и предпринимателей, а не отношения этих двух классов к работникам,—говорит Родбертус.—Несправедливость эксплоатации этих последних так же несомненна с точки зрения естественного права, как неоспорима правомерность раздела ренты между собственниками и предпринимателями, раз допускаем мы существование этой ренты» [1]). Именно в современном обществе, где возник особый класс предпринимателей, «работающих» с помощью занятого капитала, исчезает ростовщический характер процента, вызывавший такое негодование древних писателей. Ростовщик пользуется нуждой своих ближних, между тем как современный капиталист требует лишь части дохода, полученного предпринимателем с помощью занятого у него капитала. Предприниматель занимает не по нужде, а с целью обогащения, и только очень

[1]) „Zur Beleuchtung", S. 115.

близорукие защитники «справедливости» могут видеть в нем жертву эксплоатации.

В том же смысле решает наш автор и вопрос о «национализации почвы». Он думает, что «как с правовой, так и с хозяйственной точки зрения частная собственность на капитал не лучше обоснована, чем частная собственность на землю. Капиталы в такой же малой степени, как и земля, представляют собою продукт труда собственников... В настоящее время оба рода имущества являются необходимыми пока регуляторами общественного труда» [1]).

Оставим, однако, вопрос о правомерности различных видов «ренты» и перейдем к изложению экономических законов, на основании которых происходит распределение национального дохода между различными классами общества. Припомним сказанное нами о доходе «творцов общественного богатства», о заработной плате работников. По признанию «всех серьезных экономистов», как говорит Луйо Брентано, плата за труд рабочего определяется уровнем насущнейших его потребностей. Потребности рабочего класса составляют, конечно, результат множества самых разнообразных исторических условий, но в каждой данной стране и в каждое данное время они представляют собою постоянную величину. Для их удовлетворения необходимо известное, определенное количество предметов потребления. Какою бы страстью к «сбережению» ни отличались предприниматели, они не могут спустить заработную плату ниже этого уровня, потому что такое «ненормальное» ее понижение привело бы к увеличению смертности среди рабочих. Предложение «рук» на рынке уменьшилось бы до такой степени, что предприниматели лишились бы возможности употребить в «дело» все свои капиталы и деньги перестали бы «родить деньги». Предпринимателям приходится поэтому мириться с необходимым расходом и отводить душу в проповеди сбережения, воздержания, самообуздания и прочих похвальных качеств. В распоряжение предпринимателей поступит таким образом лишь та часть национального дохода, которая останется за вычетом из него заработной платы. С увеличением общей суммы национального дохода часть эта будет увеличиваться, с уменьшением его—сокращаться. Отсюда следует, что *«высота ренты находится в обратном отношении к высоте заработной платы:* чем ниже заработная плата, тем выше рента и наоборот»! Но чем определяется высота заработной платы,

---

[1] „Zur Erklärung und Abhülfe der heutigen Kreditnoth des Grundbesitzes", Jena 1876, Th. II, S. 334 в примечании.

рассматриваемой как *часть* продукта? Мы сказали уже, что в каждой данной стране и в каждое данное время для удовлетворения потребностей рабочих нужно определенное количество предметов потребления. Если производство этих продуктов поглощает, положим, половину национального труда, то другая половина его пойдет на удовлетворение потребностей других классов. Но если, благодаря успехам техники, на производство необходимых для рабочих продуктов потребуется не половина, а только четвертая часть национального труда, то остальные три четверти его останутся в распоряжении собственников. Заработная плата, как *часть* продукта, *уменьшится* вдвое, рента возрастет на пятьдесят процентов. Мы видим, таким образом, что рента находится в прямом, заработная плата в обратном отношении к производительности национального труда. С возрастанием ее, заработная плата составляет все меньшую и меньшую *часть* национального дохода, и в этом заключается, по мнению Родбертуса, вся суть социального вопроса.

Посмотрим теперь, как подразделяется «рента» между различными слоями не рабочего класса. По предположению Родбертуса, стоимость каждого продукта определяется количеством труда, необходимого на его производство. Но это количество зависит в свою очередь от степени производительности труда: чем производительнее труд, тем большее количество продуктов является в результате данной единицы его продолжительности; другими словами, чем производительнее труд, тем меньшее количество его требуется для производства каждого данного продукта. Следовательно, стоимость продуктов каждой отрасли производства находится в обратном отношении к производительности труда в этой отрасли. Предположим теперь, что в данной стране стоимость земледельческих продуктов равна стоимости продуктов фабричных, т.-е., что на производство и тех и других затрачено одинаковое количество труда. Если высота заработной платы одинакова в обеих отраслях производства, то рента, т.-е. оставшаяся за вычетом заработной платы часть национального дохода, распределится поровну между обеими отраслями. Мы знаем уже, что «рента на капитал» называется его прибылью, уровень которой определяется отношением чистого дохода к общей сумме издержек предприятия. Читатель помнит также, что прибыль стремится к одному уровню во всех отраслях производства, и что высота прибыли в фабричных предприятиях имеет решающее значение в земледелии. По изложенным выше причинам, земледельческие предприятия, за вычетом прибыли на капитал, приносят еще и поземельную ренту. Очевидно, что высота этой ренты стоит в обратном отношении

к высоте прибыли: поземельная рента представляет собою остаток чистого дохода земледельческих предприятий, который возрастает с уменьшением вычитаемого, т.-е. прибыли на капитал. Но от чего зависит высота прибыли? Представляя собою отношение чистого дохода к издержкам предприятия, высота прибыли возрастает с уменьшением и падает с увеличением суммы этих издержек. Известно, что стоимость сырых продуктов входит составною частью в общую сумму издержек фабричных предприятий, так как продукты эти служат материалом для труда фабричных рабочих. С возрастанием стоимости сырых продуктов, растут издержки предприятия и, следовательно, понижается уровень прибыли. А так как поземельная рента стоит в обратном отношении к высоте прибыли, то мы можем сказать, что поземельная рента увеличивается с возрастанием стоимости сырых продуктов и уменьшается с понижением этой стоимости, или, другими словами, что высота поземельной ренты прямо пропорциональна стоимости сырых продуктов. Но стоимость всякого продукта находится в обратном отношении к производительности труда. Отсюда следует, что *высота поземельной ренты обратно пропорциональна производительности земледельческого труда:* поземельная рента падает с увеличением плодородия почвы или с улучшением сельско-хозяйственной техники и возрастает с упадком плодородия и ухудшением техники.

«Если при данной стоимости национального продукта вам дана также высота ренты вообще,—говорит Родбертус,—то поземельная рента и прибыль стоят в обратном отношении друг к другу и к производительности труда в соответствующих им отраслях производства. Чем ниже прибыль на капитал, тем выше поземельная рента, и наоборот: чем выше производительность земледельческого труда, тем ниже поземельная рента и тем выше прибыль на капитал, чем выше производительность фабричного труда, тем ниже прибыль на капитал и выше поземельная рента, и наоборот» [1]).

Предыдущим анализом исчерпываются все те условия, которыми определяется высота заработной платы и прибыли. Что же касается до поземельной ренты, то, помимо вышеуказанных, существует еще один фактор, влияющий на ее относительную высоту. Рассмотрение этого фактора важно в том отношении, что он не остался без влияния на возрастание ренты в европейских странах, принимаемое многими экономистами за следствие уменьшения производительности земледельче-

[1]) „Zur Beleuchtung", S. 123.

ского труда. Природа этого фактора может быть выяснена следующим, весьма простым рассуждением.

На основании изложенных сейчас положений, мы без труда определим относительную величину заработной платы, прибыли на капитал и поземельной ренты, если нам известны насущнейшие потребности рабочего класса, производительность труда в различных отраслях предприятий, площадь обрабатываемых земель и, наконец, стоимость национального дохода. Спрашивается: какое влияние на распределение этого дохода окажет увеличение трудящегося населения страны, не сопровождаемое, однако, никакими изменениями в производительности национального труда? Первым следствием предположенного явления было бы, разумеется, увеличение количества производимых в стране продуктов. Но так как производительность труда не изменилась, то каждый продукт стоил бы теперь такого же труда, как и прежде. Вследствие этого и заработная плата осталась бы на прежнем уровне, потому что понижение ее обусловливается лишь возрастанием производительности труда. Количество же продуктов, составляющих сумму заработной платы всех рабочих страны, увеличится благодаря возрастанию самого числа рабочих. Далее, высота «ренты вообще» останется неизменной, потому что влияющие на нее факторы—производительность труда и заработная плата—сохранили свою прежнюю величину. Но составляя, как и прежде, положим, половину всего национального продукта, «рента вообще» будет иметь теперь бо́льшую стоимость, потому что увеличилась стоимость самого национального продукта. Эта бо́льшая стоимость «ренты вообще» разделится в прежней пропорции на поземельную ренту и прибыль на капитал. Мы знаем уже, что разделение это зависит от степени производительности труда в соответствующих отраслях производства, оставшейся в рассматриваемом случае без всякого изменения. Землевладельцы и предприниматели будут получать такие же, как и прежде, части «ренты вообще», но стоимость этих частей увеличится благодаря увеличению стоимости самой ренты. Какое влияние окажет это обстоятельство на высоту поземельной ренты и прибыли? Для расширения национального производства необходима, разумеется, бо́льшая сумма капитала. Поэтому бо́льшая стоимость доставшейся предпринимателям «ренты» распределится на бо́льшую сумму затраченного в производстве капитала, и *уровень* прибыли их предприятий останется неизменным. Не то будет с поземельной рентой. Возрастание трудящегося населения и расширение национального производства не сопровождаются увеличением территории, поэтому бо́ль-

шая стоимость доставшейся землевладельцам части «ренты вообще» распределится не на прежнее число моргенов, гектаров или десятин земли. Вследствие этого повысится и *уровень* поземельной ренты. Мы видим таким образом, что поземельная рента имеет стремление к повышению даже в тех случаях, когда заработная плата и прибыль на капитал остаются на прежнем уровне. Она—и только она—повышается вследствие возрастания трудящегося населения, которое в большей или меньшей степени имеет место во всех прогрессирующих странах.

Сказанное относится также к стоимости самой земли. Она определяется, как известно, капитализацией поземельной ренты на основании обычного в данное время процента. Если капитал в 1.000 талеров приносит 50 талеров, т.-е. 5% дохода, то и, наоборот, капитализация из 5% дохода в 50 талеров даст 1.000 талеров капитала. Подобным же образом очень легко определить, какой величины капитал представляет собою участок земли, приносящий 100 талеров ежегодного дохода, если обычный уровень процента равняется пяти. Это не значит, конечно, что поземельную ренту можно рассматривать как процент, приносимый затраченным на покупку земли капиталом. Не величиной этого капитала определяется высота поземельной ренты, а наоборот—высота последней определяет стоимость земли и, следовательно, величину того капитала, который может быть выручен от продажи данного участка. Притом высота поземельной ренты есть, как мы уже знаем, не единственный фактор, влияющий на стоимость земли. Она зависит также от уровня процента. Если он повысится с пяти на десять, то при прежней высоте поземельной ренты земля потеряет ровно половину своей стоимости. При понижении обычного уровня процента стоимость земли будет, наоборот, возрастать, хотя бы высота поземельной ренты осталась без изменения. Но при данном уровне процента стоимость земли зависит, говоря вообще, лишь от высоты поземельной ренты и отражает на себе все ее колебания. Поэтому стоимость земли растет даже в тех случаях, когда, при прочих равных условиях, увеличивается лишь трудящееся население страны или, как выражается Родбертус, количество ее производительных сил. Все это может казаться пока весьма сухим и незанимательным, но несомненно приобретет весьма большую поучительность, когда мы взглянем, с точки зрения этих абстрактных положений, на общий ход экономического развития Европы. Мы должны, однако, сделать раньше небольшое отступление.

Известно, что меновая стоимость драгоценных металлов определяется, как и стоимость всякого другого товара, количеством труда, не-

обходимого для их добывания. Но производительность труда не остается неизменной и в этой отрасли предприятий. Она возрастает с открытием более богатых рудников или россыпей и уменьшается с их истощением. Вместе с этим изменяется, конечно, и меновая стоимость драгоценных металлов, а следовательно, и самих денег. Нам нужно выяснить теперь, какое влияние оказывают изменения в стоимости денег на относительную высоту различных видов дохода.

«В прежнее время,—говорит Родбертус,—экономисты были того мнения, что открытие американских рудников в XVI столетии, причинившее падение меновой стоимости денег, повело к понижению обычного уровня процента, а следовательно, и прибыли. Но уже Юм не соглашался с этим мнением; да и на самом деле ясно, что при понижении меновой стоимости драгоценных металлов денежная стоимость капитала должна возрасти в том же самом отношении, в каком возрастает денежная стоимость продукта предприятия; поэтому отношение между прибылью и капиталом должно остаться неизменным» [1]). Что же касается поземельной ренты, то высота ее находится, по мнению Родбертуса, в тесной связи со стоимостью драгоценных металлов. Понижение этой последней ведет к возрастанию денежной стоимости всех продуктов. Между прочим, возвышается, конечно, денежная стоимость и той части национального продукта, которая представляет собой поземельную ренту. Но эта повысившаяся денежная стоимость поземельной ренты распределяется на прежнюю площадь обрабатываемой земли. «Денежная рента растет, таким образом, в том же отношении, в каком понижается стоимость денег, а потому и в результате капитализации этой ренты получится бóльшая сумма; другими словами, стоимость земли возрастет вместе с рентой».

VIII.

При внимательном анализе в экономической истории каждой прогрессирующей страны можно открыть, по мнению Родбертуса, влияние всех или почти всех указанных факторов. Сделать это будет, конечно, совсем не легко, так как они действуют не в одном и том же направлении. Переплетаясь и комбинируясь между собою самым различным образом, то дополняя, то нейтрализуя друг друга, факторы эти дают чрезвычайно сложный результат, который может быть приписан действию совсем других причин, влиянию совершенно иных законов.

---

[1]) „Zur Beleuchtung", S. 132.

Именно такая ошибка имела, по словам нашего автора, место при изучении экономических отношений западно-европейских стран. Замечаемое в этих странах возрастание поземельной ренты и хлебных цен приписывалось уменьшению производительности земледельческого труда, между тем как это явление допускает совершенно иное и гораздо более правильное об'яснение. Родбертус убежден, что производительность труда увеличилась в Европе во всех отраслях производства. Вследствие этого заработная плата стала представлять собой меньшую, «рента вообще»—бóльшую, чем прежде, часть национального продукта; точнее сказать, заработная плата, как часть продукта, не *понизилась*, а *понижается*, так как увеличение производительности труда представляет собою не только совершившийся факт, но и постоянно совершающийся процесс. Возрастание это не в одинаковой степени коснулось различных отраслей национального производства. Фабричный труд сделал в этом отношении гораздо бóльшие успехи, чем земледельческий. Поэтому и стоимость земледельческих продуктов понизилась в меньшей степени, чем стоимость продуктов фабричных. Если пуд хлеба и аршин сукна имели некогда одинаковую стоимость, то теперь за пуд хлеба можно приобрести уже не один, а полтора или два аршина сукна. Это, повторяем, относительное, а не абсолютное увеличение стоимости земледельческих продуктов должно было повести к повышению поземельной ренты, так как, при данной стоимости национального продукта и при данном уровне «ренты вообще», высота поземельной ренты обратно пропорциональна производительности земледельческого труда. Кроме того, трудящееся население Европы, «количество ее производительных сил», постоянно возрастало, а вместе с тем увеличивалось и общее количество продуктов ее производства. Мы знаем уже, как влияет на поземельную ренту такое явление: она возвышается пропорционально возрастанию трудящегося населения. Но и это не все. Открытие американских рудников в огромной степени увеличило количество обращающихся в Европе драгоценных металлов и уменьшило стоимость денег. Этот упадок стоимости денег должен был, как сказано выше, повести к повышению денежной ренты земледельцев, а следовательно, и продажных цен на землю. Мы видим таким образом, что к повышению поземельной ренты было достаточно поводов помимо всякого уменьшения производительности земледельческого труда. «Взятые вместе, указанные обстоятельства так хорошо об'ясняют чрезвычайное возрастание поземельной ренты и стоимости земли,—говорит Родбертус,—что для разгадки этого замечаемого во всей Европе явления

вовсе не нужно прибегать к предположению упадка производительности земледельческого труда,—упадка, отнюдь не имевшего места в нашей части света».

Перейдем к другим категориям дохода. Если бы производительность национального труда в одинаковой степени возрастала во всех отраслях производства, то увеличение «ренты вообще», рассматриваемой как *часть* продукта, повело бы к равномерному повышению прибыли на капитал и поземельной ренты. Но мы знаем уже, что земледельческий труд отстал в этом отношении от фабричного, и что поземельная рента возвысилась на счет прибыли. «Несмотря на возвышение «ренты вообще», возросла только поземельная рента, уровень же прибыли, напротив, понизился»,—говорит наш автор. Такая плохая награда за капиталистические добродетели может, конечно, казаться самой вопиющей несправедливостью всякому «беспристрастному наблюдателю». Мы заметим, однако, ему в утешение, что история другим путем вознаградила г.г. капиталистов и предпринимателей за эти потери. Во-первых, понижение уровня прибыли не означает еще уменьшения общей ее суммы. Прибыль в 20% с капитала в 100.000 равняется 20.000 руб. Предположим, что прибыль понижается с течением времени с 20 на 15%, но в то же время удваивается общая сумма капитала; 15% прибыли с капитала в 200.000 дает 30.000 руб. дохода. Таким образом, несмотря на понижение *уровня* прибыли, общая сумма ее увеличится на одну треть. «Рента на капитал увеличивается, растет, но не возвышается»,—говорит наш автор [1]). Мы знаем уже, что национальный капитал увеличился во всех европейских странах. Конечно, если бы с ростом национального капитала увеличивалось также число капиталистов и предпринимателей, то каждый из них в отдельности не извлек бы никакой пользы из этого обстоятельства, бóльшая сумма прибыли распределялась бы между бóльшим числом капиталистов, и доход каждого из них не имел бы поводов к увеличению. Но в современном обществе дело происходит как раз наоборот. Капиталы все более концентрируются в немногих руках, крупные предприятия все более вытесняют средние и мелкие. Число капиталистов и предпринимателей уменьшается вместе с ростом национального капитала, а потому средний доход их возрастает. Теряя от понижения *уровня* прибыли, они выигры-

[1]) „Briefe und socialpolitische Aufsätze von D-r. Rodbertus-Jagetzow", herausgeg. von Rud Meyer, I Band, S. 228. Родбертус утверждает, что до него ни один экономист не обратил внимания на разницу между повышением и увеличением прибыли.

вают от увеличения ее *суммы*. Кроме того, нужно иметь в виду, что если бы общая сумма прибыли не стремилась к возрастанию, то и тогда понижение ее уровня не означало бы уменьшения материального благосостояния этого слоя имущего класса. Увеличение производительности национального труда ведет к понижению стоимости всех продуктов. Поэтому, представляя собою меньшую часть *стоимости* национального продукта, прибыль может представлять собою в то же время большее, чем прежде, количество предметов потребления. Для этого нужно только, чтобы уровень прибыли понизился в меньшей степени, чем возвысилась средняя производительность национального труда. И несомненно, что именно такое благоприятное отношение существует в действительности между пониженим уровня прибыли и возвышением производительности труда: успехи промышленной техники выражаются во всяком случае в целых числах (единицах, десятках и даже сотнях и тысячах), между тем как понижение уровня прибыли изменяется дробями. Уже в силу одной этой причины никакое повышение поземельной ренты на счет прибыли не может грозить капиталистам понижением их standard of life.

Далеко не так успокоительно выглядит отношение между «рентой вообще» и заработной платой. Мы сказали уже, что заработная плата,—этот единственный доход «творцов общественного богатства»,—понизилась вследствие увеличения производительности национального труда. Это понижение ее маскировалось, правда, изменением стоимости самых денег. Стоимость драгоценных металлов понизилась в большей степени, чем стоимость земледельческих продуктов. В свою очередь, стоимость фабричных продуктов понизилась более, чем стоимость драгоценных металлов. Вследствие этого в обмен на сырые продукты дается теперь большее количество денег, чем прежде, несмотря на увеличение производительности земледельческого труда. Денежная стоимость фабричных продуктов должна была, напротив, понизиться. Конечно, лишь весьма небольшая часть сырых продуктов может служить для непосредственного потребления; большинство их нуждается в фабричной обработке. Стоимость большей части продуктов слагается поэтому из двух частей: земледельческий труд и труд фабричный. Но чем более преобладает в нем та или другая часть, тем более зависит его стоимость от степени производительности труда в соответствующей отрасли производства. Пища рабочих есть продукт, главным образом, земледельческого труда. Она составляет, кроме того, главную статью в бюджете рабочего. Поэтому можно сказать, что стоимость заработной

платы—как данного количества предметов потребления—определяется преимущественно производительностью земледельческого труда или, что то же, стоимостью сырых продуктов. Мы знаем уже, что денежная стоимость сырых продуктов возросла, несмотря на возрастание производительности земледельческого труда. Только благодаря этому возросла и денежная стоимость заработной платы, хотя эта последняя не только составляет теперь меньшую *часть* национального дохода, но уменьшилась даже, как *сумма* поступающих в распоряжение рабочего продуктов. «Я утверждаю,—говорит Родбертус,—что, за исключением некоторой части нашей прислуги, все наши работники получают теперь меньше хлеба, мяса, платья, жилого помещения, короче, всех необходимых для жизни предметов, чем получали они 50 лет тому назад. Если вы причислите к рабочим также и детей, то я берусь доказать, что жилые помещения берлинского рабочего класса содержат относительно меньше квадратных футов, чем стойла наших баранов» [1]).

Как это ни странно, но людям пришлось завидовать баранам лишь благодаря успехам цивилизации. Основываясь на исследованиях Дюшатлье и Роджерса, Родбертус утверждает, что количество составляющих заработную плату предметов потребления, реальная заработная плата, в противоположность денежной, меньше в настоящее время, чем оно было 500 лет тому назад. В варварском XIII столетии рабочий лучше питался, лучше одевался, занимал лучшие жилые помещения, чем в нашем веке пара и электричества! «Обыкновенно это оспаривается,—говорит Родбертус,—потому что нас ослепляет ситец, в который наряжаются теперь наши работницы, а еще чаще получаемое ими количество зильбергрошей, которые сами по себе не отличаются, однако, питательностью». Дюшатлье доказывает, «что реальная плата понижалась во Франции с 1202 по 1830 год. То же подтверждает Роджерс относительно Англии; из его исследований оказывается кроме того, что и рабочее время тогда было короче. С 1830 года реальная плата понизилась еще более. Это было бы легко доказать и по отношению к Германии» [2]).

В 1873 году наш автор послал в редакцию «Berliner Revue» опыт

---

[1]) „Briefe und socialpolitische Aufsätze", I Band, S. 239.

[2]) „Briefe und socialpolitische Aufsätze", I Band, S. 252. Вышеприведенные слова Родбертуса кажутся, с первого взгляда, совершенно противоречащими действительности. Мы считаем поэтому нелишним напомнить читателю, что результаты исследований Роджерса приводятся также г. Янжулом в первом томе его „Английской свободной торговли".

о распределении национального дохода в Англии, названный им «Die Baxter'sche und die Colquhoun'sche Einkommenspyramide (Aus einer Einleitung in die sociale Frage)». Вот что пишет он, между прочим, Р. Майеру о результатах своего исследования: «Это поразительная, страшная статистическая картина, основанная на официальнейших данных. Вы не можете себе представить, какая печальная разница произошла в распределении (удвоившегося) населения и (возросшего в шесть раз) национального дохода в промежуток времени от 1812 года (исследование Colquhoun'a) по 1868 год (к которому относятся исследования Baxter'a). Доход все более концентрируется в денежном мешке на вершине общественной пирамиды, весь прирост населения поглощается ее основанием, он ведет лишь к увеличению рабочего муравейника; наконец, соответствующие средним классам middle incomes постоянно уменьшаются. Эти статистические данные превзошли все мои ожидания.

Я никогда не думал, чтобы могли существовать такие тяжелые пункты обвинения против господствующей системы... Общество напоминает собою суставчатое животное, осу с перетянутой талией. Довольно! Это—зрелище, «достойное богов» [1]).

Последуем и мы примеру Родбертуса.

Вспомним, что не всем же живется плохо в этой юдоли скорби и бедствий, что полезны же кому-нибудь завоевания современной науки и чудеса промышленной техники. Мы видели уже, что европейская история была очень внимательна к землевладельцам и предпринимателям. Перейдем теперь к «капиталистам» и арендаторам.

«Рента на капитал» подразделяется, как мы знаем, на две части: процент капиталиста и прибыль предпринимателя. Величина обеих частей зависит прежде всего от величины целого, т.-е. самой «ренты на капитал». С ее возвышением капиталисты получают возможность требовать больший процент за пользование их капиталом, предпринимателям же дается возможность удовлетворить этому требованию без ущерба для их собственных интересов. Поэтому все сказанное выше об относи-

[1]) „Briefe und Aufsätze", I B., S. 328—340 Как видно из этого письма, „Einkommenspyramide" и есть найденный А. Вагнером в бумагах Родбертуса опыт о распределении дохода в Англии. Но странно, что берлинский профессор находит «незаконченным» и не печатает сочинения, посылавшегося в печать самим автором. Впрочем, Р. Майер предполагает, что издание «литературного наследства» нашего автора просто противоречит видам «железного канцлера».

тельной высоте «ренты на капитал» одинаково относится к доходу как предпринимателей, так и капиталистов. Но при *данной* высоте «ренты на капитал» очевидно, что более высокий процент обусловливает более низкий уровень предпринимательской прибыли и наоборот. Высота процента определяется, по мнению Родбертуса, отношением спроса на капитал со стороны предпринимателей к предложению его со стороны капиталистов. Адам Смит принимает, что «разумный» процент составляет половину прибыли, полученной с помощью отданного взаймы капитала. В настоящее же время отношение между процентом и предпринимательской прибылью изменилось, по мнению нашего автора, в пользу капиталистов. Это произошло благодаря распространению акционерных компаний. Каждая компания представляет собою ассоциацию лиц, соединивших свои капиталы для той или другой производительной цели, не принимающих непосредственного участия в ведении предприятия. Последнее поручается директорам, управляющим и т. д., заступающим место предпринимателей и получающим определенное жалованье. Остающаяся, за вычетом этого жалованья, часть предпринимательской прибыли достается—в виде дивиденда—акционерам, между тем как в единоличных предприятиях часть эта поступает в распоряжение предпринимателей. Понятно, что такой способ помещения капиталов гораздо выгоднее для их обладателей; поэтому значительная часть европейских капиталов приливает в акционерные компании, и отношение между их предложением и спросом изменяется к невыгоде предпринимателей. Последние принуждены платить более высокий процент и довольствоваться меньшей прибылью. «Уровень процента возвысился у нас именно со времени распространения акционерных компаний, — говорит Родбертус,—хотя отсюда не следует, конечно, что влияние последних не может быть ослаблено или совершенно парализовано действием других факторов» [1]). Акционерные компании вообще играют очень важную роль в истории капитализма. Они представляют собою такую форму ассоциации капиталов, благодаря которой даже самые незначительные сбережения частных лиц, остававшиеся прежде вне всякого производительного употребления, идут теперь в дело и оживляют промышленную жизнь страны. Спекуляционная горячка много способствовала упадку акционерных компаний в глазах общества. «Но чем индивидуальная предпринимательская деятельность какого-нибудь Круппа или Диргардта почтеннее деятельности акционерных компаний?—спрашивает Родбертус

[1]) „Zur Erklärung etc. der Kreditnoth", Th. II, S. 23.

в одном из писем к Р. Майеру.—С какой стати предпочитать нам брюнетов блондинам или обратно? Да и что вам сделали, мои дорогие, дорогие акционерные компании?—продолжает он в шутливом тоне.—Эта форма производства, которая соединяет в один большой поток множество мелких капиталов, должна исполнить свою миссию. Она должна дополнить дело рук Божиих, прорыв перешейки там, где Создатель считал несвоевременным или забыл это сделать, соединить страны, разделенные морями, пробуравить Альпы и т. д. Египетские пирамиды и финикийские каменные постройки останутся далеко позади в сравнении с тем, что делают акционерные компании» [1]). Но этим не исчерпывается еще их историческая роль. Частью благотворное, частью вредное влияние их распространяется на все стороны социальной жизни. «В политическом отношении государству грозит опасность сделаться простым орудием в руках больших акционерных компаний; с точки зрения экономической они представляют нам удивительное зрелище капитала, который сам прокладывает дорогу ненавистному ему государству рабочих и чиновников». Развитие акционерных компаний ведет за собою упрочение такой формы производства, при которой все заведывание предприятием переходит в руки нанятых лиц, обладатели же капиталов превращаются в простых рантьеров. И «если деятельному и энергичному роду майордомов удалось некогда свергнуть с престола обленившуюся меровингскую династию, то почему живая и энергичная организация рабочих не сможет со временем устранить общественную форму, превращающую собственников в простых рантьеров? А между тем капитал уже не может уклониться с этого пути! Digitus Dei est hic! Достигши полного цвета и развития, капитал превращается в своего собственного могильщика. Так продолжает Хронос пожирать своих собственных детей!» [2]).

Нам остается сказать несколько слов об отношении землевладельцев к арендаторам, чтобы совершенно покончить с учением Родбертуса о распределении национального дохода. Собственно говоря, арендатор есть предприниматель, ведущий хозяйство на чужой земле и иногда с помощью чужого капитала. Поэтому сказанным выше об относительной высоте «ренты на капитал» и поземельной ренты, с одной стороны, и о взаимном отношении процента и предпринимательской прибыли—с другой, исчерпывалось бы все, относящееся к доходу арендатора, если бы

[1]) „Briefe und Aufsätze", I Band, S. 290—291.
[2]) „Zur Erklärung der Kreditnoth", II, S. 25—26 и 276.

понятие о поземельной ренте всегда покрывалось понятием об арендной плате на землю.

Но эти два понятия совпадают лишь в тех странах, где образовался многочисленный класс свободных и зажиточных фермеров. Классическим примером такой страны может служить Англия, в которой сама сила вещей приводит к тому, что арендаторы довольствуются прибылью на земледельческий капитал, отдавая землевладельцам поземельную ренту во всем ее об'еме. Та же сила вещей,—иначе сказать, конкуренция,—держит прибыль на одинаковом уровне во всех отраслях национального производства; поэтому и землевладельцы вынуждены довольствоваться поземельной рентой, предоставляя прибыль на капитал в распоряжение фермеров. В других же государствах Европы такое равновесие нарушается часто в пользу одной из сторон. Там, где класс фермеров находится еще в зачаточном состоянии, как это мы видим, по словам Родбертуса, в Германии, арендаторы сверх прибыли на свой капитал «удерживают в своих руках значительную часть поземельной ренты». И, наоборот, неблагоприятно сложившиеся обстоятельства, промышленная отсталость страны, отсутствие выгодных помещений для капиталов, наконец, недостаточный спрос на труд могут вынудить фермеров не только отдавать собственникам сверх поземельной ренты еще значительную часть прибыли на капитал, но из всего дохода фермы довольствоваться лишь самой жалкой заработной платой. Едва ли нужно прибавлять, что в таком положении находится Ирландия [1]).

---

[1]) Впрочем, такой же точно пример русский читатель может видеть у себя дома. В некоторых местностях России арендные цены на землю в течение лишь десяти лет после освобождения крестьян возросли на 300—400% (Янсон, «Опыт исследования о крестьянских наделах и платежах», стр. 89). По замечанию г. Янсона, такое возвышение арендных цен «об'ясняется единственно малоземельем крестьян». Не находя другого приложения для своих хозяйственных сил, крестьяне вынуждены отдавать землевладельцам значительную часть того, что должно было бы составлять прибыль свободных крестьян-арендаторов. А рядом с этим другое, на этот раз совершенно «самобытное» явление: г. Орлов («Форма крестьянского землевладения в Московской губернии») приводит пример того, что будущий «крестьянин-собственник» отдает в аренду свой надел, «за что и обязуется платить» с своей стороны известную сумму денег. Оказывается, что «поземельная рента» может представлять собою и отрицательную величину, чего, разумеется, не предвидел ни один из экономистов «гнилого Запада». Наше народное хозяйство, действительно, непохоже на хозяйство западно-европейских стран. Жаль только, что различие это было до сих пор не в пользу экономического положения трудящегося населения.

IX.

Изложенное выше учение Родбертуса о распределении национального дохода основывается, как мы уже говорили неоднократно, на том предположении, что производительность труда возрастает во всех отраслях национального производства. Успехи промышленной техники слишком очевидны для того, чтобы возможны были какие-нибудь сомнения относительно возрастания производительности фабричного труда. Что же касается земледелия, то здесь мнения экономистов расходятся: многие писатели до сих пор держатся взглядов Мальтуса и Рикардо, утверждавших, что производительность его уменьшается в каждом развивающемся обществе. Нужно заметить, что этот спорный пункт представляет собой узел всех «проклятых вопросов» нашего времени. Если Мальтус и Рикардо заблуждались, то улучшение экономического положения беднейших классов населения цивилизованных обществ является лишь делом времени и доброй воли самих бедняков. Если же названные экономисты правы, то классы эти должны «оставить всякую надежду», человечество осуждено на постепенное обеднение, против которого бессильны все успехи техники, все улучшения общественных отношений. Рано или поздно земля откажется удовлетворять в должной мере потребности возрастающего населения, и оно будет поставлено в состояние хронического голодания, если химикам не удастся открыть способа искусственного приготовления белковины. «К счастью,—говорит наш автор,—убеждение Мальтуса и Рикардо совершенно ошибочно. Оно не выдерживает критики ни с сельско-хозяйственной, ни с исторической, ни с статистической точек зрения» [1]).

Статистика, на которую ссылаются последователи Рикардо и которая «во всяком случае имеет важное значение при решении этого вопроса», содержит тысячи неоспоримейших данных, по меньшей мере не согласующихся с мнением Рикардо, между тем как немногие данные, говорящие, повидимому, в его пользу, или совсем недостоверны, или допускают совершенно иное толкование. Аргументы Родбертуса имеют особенно важное значение ввиду того, что он сам был отличным сельским хозяином, знавшим свое дело и теоретически и практически. Кому же, как не сельским хозяевам, решать вопрос о том, уменьшается или увеличивается производительность земледельческого труда, меньшую, рав-

[1]) „Zur Beleuchtung", S. 67.

ную или бо́льшую прибыль приносят последовательные затраты земледельческого капитала? Мы видели уже, что наш автор самым решительным образом восстал против мнения Рикардо. «Я хотел бы спросить последователей Рикардо: *с каких же пор* началось это уменьшение производительности земледелия?—говорит он, приступая к его опровержению.—Я спрашиваю: явилась ли убывающая производительность этого рода труда вместе с самим земледелием? Но в таком случае, какой бы богач был в состоянии купить себе достаточное количество хлеба? Ведь история земледелия измеряется уже тысячелетиями. Или, может быть, производительность земледельческого труда возрастала в течение первых двух-трех тысяч лет его существования, а затем вдруг стала уменьшаться? Могут ответить, конечно, что этот поворотный пункт наступил тогда, когда все наиболее плодородные участки поступили уже в обработку и возрастание народонаселения вынудило обратиться к менее благодарной почве. Но я спрашиваю: какой же район имеется в виду при подобном ответе? Не видим ли мы, что и до сих пор польский, русский и американский хлеб оказывает давление на английский, а следовательно, и на все другие хлебные рынки? В Украйне и придунайских странах земледельческая химия открыла почву, с плодородием которой не может соперничать ни один участок в Ломбардии, Кенте и Бельгии; а между тем эта почва до сих пор остается необработанной. Дайте лишь упрочиться в этих странах свободному правовому порядку,—и их производство окажет новое давление на хлебную торговлю Европы. Но хотя такого рода воздействия постоянно имеют—и долго еще будут иметь—место, у нас повсюду обрабатывается гораздо менее плодородная почва. Отсюда следует, что, несмотря на обработку этой худшей почвы, у нас не наступило еще время уменьшения производительности земледельческого труда».

Уже эти общие соображения значительно подрывают вероятность вышеприведенного мнения Мальтуса и Рикардо. Но Родбертус намеренно предоставляет своим противникам наиболее выгодную позицию. Он ограничивает свое исследование лишь западно-европейскими странами и рассматривает притом историю земледелия в этих странах лишь за последнее столетие. Он устраняет также вопрос о воздействии на европейские рынки хлебной производительности других стран света. Он спрашивает лишь: «Правда ли, что в западных странах Европы в течение последнего столетия производительность земледельческого труда уменьшилась, стоимость его продуктов возросла, в обработку поступали все менее плодородные земли и последующие затраты капи-

тала на данном участке приносили меньший доход?» Далее, «правда ли что в условиях западно-европейского земледелия лежат причины, благодаря которым производительность его должна уменьшаться в будущем?» Родбертус думает, что он имеет право ответить на эти вопросы отрицательно. Против учения Мальтуса и Рикардо он выставляет, с своей стороны, следующие три положения:

1) В Западной Европе—этой обработаннейшей части света—до самого последнего времени так же часто совершался переход к более плодородным, как и к менее плодородным участкам. То же должно иметь место и в будущем.

2) Сказанное относится и к последовательным затратам земледельческого капитала. Последующие затраты не всегда были и будут менее производительны, чем предшествующие.

3) Наконец, худшие участки могут приносить поземельную ренту и помимо возрастания стоимости земледельческих продуктов.

Приступая к доказательству первого из этих положений, Родбертус замечает, что Рикардо составил себе довольно странное понятие об истории *землевладения*. По мнению английского экономиста, в частную собственность переходят первоначально лишь самые плодородные участки, менее же благодарная почва остается совершенно свободной, и занятие ее предоставляется доброй воле граждан. Но «гораздо вероятнее, напротив, что вся обитаемая оседлым народом территория состоит в собственности—частной или общинной,—так что даже самые бесплодные участки не подлежат свободному занятию. С незапамятных времен вся земля составляет предмет собственности, лежащие у городских ворот огороды так же точно, как и болота, которых не касалась еще нога человека» [1]). Необработанная почва лежит рядом с обработанной в различных хозяйственных единицах, и количество ее оказывает решительное влияние на существующую в стране систему сельского хозяйства. Необработанная почва служит выгоном или пастбищем для скота, а известно, как тесно связано скотоводство с земледелием в собственном смысле этого слова. Она входит таким образом необходимою составною частью в каждую хозяйственную единицу; при этом необработанные участки далеко не всегда бывают наименее плодородными. Очень часто, по причинам как хозяйственного, так и чисто физического свойства, обработка положительно не может начаться с наиболее плодородных участков. Так, например, высота уровня воды в данной местности

[1]) „Zur Beleuchtung", S. 169.

имеет иногда решающее влияние на судьбу различных участков. «Известно,—говорит Родбертус,—что уровень воды во всех наших больших реках и озерах понизился за последнее столетие на несколько футов. И это явление вовсе не ново, хотя только за последнее время оказалось возможным выразить его в числах. Хроника XII столетия доказывает, что в то время море еще покрывало многие местности, которые представляют собою ныне плодороднейшие участки. То же повторяется во всей Западной Европе». Конечно, участки, отвоеванные таким образом у моря, сами по себе имеют ничтожное значение. Но понижение уровня воды ведет к осушению почвы во всем бассейне данной реки, а это в свою очередь увеличивает ее плодородие. «Сырость есть величайший враг полезной растительности». Поэтому «каждый фут, на который понижается уровень воды в наших больших реках, оказывает благодетельнейшее влияние на целые тысячи моргенов, увеличивает их плодородие или даже впервые делает их годными для земледелия».

Осушенная таким образом почва оказывается часто в высшей степени плодородной благодаря изобилию находящихся в ней растительных остатков. Многие плодороднейшие земли северной Германии являются, по словам Родбертуса, таким «подарком природы», полученным помимо какой бы то ни было затраты капитала. Наш автор приводит в пример свое собственное имение, в котором «в течение последних 50 лет (писано в конце 50-х годов) площадь обрабатываемой земли увеличилась более чем на тысячу плодороднейших моргенов», единственно благодаря естественному уменьшению сырости почвы. «Законы, на которых основывается это явление, имеют общее значение», поэтому и самое явление не ограничивается пределами одной Германии. Точно такой пример представляет нам Англия. С другой стороны, несомненно, что это понижение уровня воды не остановилось еще и в настоящее время. Благодаря ему и до сих пор еще частью осушается страдавшая прежде от сырости почва, частью же «дарятся нам новые, более плодородные участки». В Европе и до сих пор еще находятся сотни тысяч моргенов, обработка которых станет возможной лишь в будущем, и не потому, что нынешние цены на хлеб делают ее невыгодной, как это думают последователи Рикардо, а потому, что ей препятствуют чисто физические условия. Только «незаметный, но всесильный ход развития в природе» устранит эти препятствия и даст—«и притом совершенно даром»—возможность воспользоваться производительными свойствами этих участков.

Но это не все. Существует много хозяйственных условий, препят-

ствующих обработке наиболее плодородной почвы. «Взглянувши на любую деревню, нетрудно убедиться,—говорит Родбертус,—что в обработку поступают прежде всего ближайшие к ней участки. Но всегда ли располагались первые поселения в плодороднейшей части принадлежащей им земли?» На этот вопрос нельзя ответить иначе как отрицательно. Места для поселений выбирались на основании множества соображений, часто не имеющих ничего общего с сельским хозяйством. Близость к деревне наиболее плодородных участков является делом случая. Но раз деревня располагалась далеко от них, то обработка их становилась почти невозможной, и они играли лишь второстепенную роль выгонов и пастбищ. Тюнен показал, что доходность земель уменьшается в зависимости расстояния их от хозяйственного центра. На это могут возразить, пожалуй, что если обработка наиболее плодородных участков оказывалась невыгодной для данного хозяйственного центра, то ничто не мешало возникновению новых центров, расположенных именно среди этих плодородных земель. Но, во-первых, известно, что поземельная собственность в Западной Европе сравнительно недавно освободилась от оков феодального права, мешавшего свободному переходу ее из одних рук в другие. Поэтому часто владелец не мог передать малополезных для него участков в другие руки, между тем как у него не было достаточно капитала для заведения новых хуторов в отдаленных частях имения. Кредитные же учреждения и до сих пор далеко не всегда приходят на помощь сельским хозяевам. Кроме того, при господстве трехпольной системы, участки эти оказывались необходимыми в качестве пастбищ и выгонов для скота; и пока общее развитие экономических отношений не привело к плодопеременному хозяйству, участки эти *должны* были оставаться необработанными.

«Таким образом, естественные и хозяйственные условия мешали и до сих пор мешают во всех странах Европы возделыванию участков, отличающихся гораздо бо́льшим плодородием, чем земли, находящиеся ныне в обработке. В нашем отечестве, например,—прибавляет Родбертус,—нельзя еще и предвидеть, когда исчезнут все вышеуказанные препятствия и сила человека победит природу, а разум исправит историю».

Но предположим, что наступило, наконец, такое время, когда не остается уже необработанных плодородных участков. Тогда всякое добавочное количество земледельческих продуктов может быть получено лишь путем затраты нового капитала на обработанной уже почве. Мы знаем уже, что—в противность Мальтусу и Рикардо—наш автор убежден, что эти новые затраты будут столь же производительны, как и

предшествующие. «Я думаю,—говорит он,—что в общем плодородие почвы увеличивается под влиянием земледелия, так что участки четвертого класса сравниваются с участками третьего класса, эти последние возвышаются по своему плодородию на степень участков второго класса и т. д., и т. д.».

Мы видели уже выше, что плодородие почвы возрастает часто под влиянием чисто физических условий. «Еще чаще оно увеличивается вследствие новых затрат капитала». Так, например, дренаж оказывает часто такое благодетельное влияние на плодородие почвы, что, помимо всякого возвышения цен земледельческих продуктов, приносимый ею доход далеко превышает затраченный на ее осушение капитал. Осушение почвы путем дренажа могло бы явиться, по словам Родбертуса, «главным рычагом сельско-хозяйственного прогресса в низменных странах европейского континента, следовательно, по всей почти Германии». Но для приложения этого рычага недостает в настоящее время главной точки опоры—карты, которая указывала бы высоту уровня воды в различных местностях данной страны, Таким образом, это улучшение и связанное с ним возрастание плодородия почвы являются еще делом более или менее далекого будущего. «Но я должен,—прибавляет Родбертус,—обратить внимание читателей еще на одно обстоятельство, которое гораздо медленнее, но зато в несравненно более обширных размерах превращает худшие участки в лучшие. Оно заключается просто в продолжительной обработке данного участка, конечно, по разумной системе, но без всяких экстраординарных затрат капитала». Первым условием правильного ведения сельского хозяйства является, как известно, поддержание надлежащего соотношения между количеством веществ, *взятых* из почвы в виде хлеба, и количеством веществ, *возвращенных* ей в виде удобрения. Каждая сельско-хозяйственная ситема достигает этого равновесия по-своему, и несомненно, что любая система, будучи приложена разумным образом, может не только поддержать плодородие почвы на данном уровне, но и увеличить его,—«другими словами, из худших участков сделать лучшие». Такое возрастание плодородия почвы облегчает переход к более интенсивному хозяйству, значительно увеличивающему площадь засеваемых хлебом земель в каждое данное время. Если при трехпольной системе под посев хлеба идет только третья часть принадлежащей имению земли, то плодопеременная система допускает засевание двух третей, т.-е. вдвое большего количества земли. Таким образом, при переходе к более интенсивному хозяйству, площадь обрабатываемых земель возрастает, хотя число при-

надлежащих каждому хозяину моргенов и остается неизменным. «Этот процесс перехода от экстенсивной к интенсивной культуре еще очень далек от своего окончания даже в Западной Европе. В этой обработаннейшей половине обработаннейшей части света только небольшая часть земель возделывается по плодопеременной системе. Уже этого одного факта достаточно, чтобы опровергнуть мнение Рикардо».

Родбертус не думает, разумеется, что плодородие почвы может возрастать до бесконечности. «Очень возможно,—говорит он,—что плодородие лучших наших земель может быть только удвоено; но гораздо вероятнее, что все худшие земли могут дойти до такой же степени плодородия, на которой стоят теперь самые лучшие участки. В течение столетий, которые пройдут до тех пор, мы можем не бояться грозных пророчеств Рикардо. А когда этот пункт будет достигнут, откроется новый исход. Ведь речь идет о добывании питательных веществ вообще, а не о добывании того или другого *вида* этих веществ. И та же самая почва, будучи засеяна каким-нибудь новым питательным растением, может дать гораздо большее количество пищи, чем она давала прежде. С другой стороны, столь же трудно доказать способность человеческого рода к бесконечному размножению, как и способность земледелия к бесконечному усовершенствованию.

Если бы Рикардо имел в виду возможность обработки различных участков по различным системам, если бы он принял в соображение, что экстенсивная культура требует меньших затрат, чем интенсивная, то он не сказал бы, что обработка худших участков возможна лишь при возвышении хлебных цен. Доход, приносимый менее плодородными участками, может не покрывать издержек, требуемых *плодопеременной* системой, но обработка тех же участков по *трехпольной* системе может, по мнению Родбертуса, приносить не только обычную прибыль на капитал, но даже и поземельную ренту. Плохой участок будет, конечно, родить меньше хлеба, чем хороший. Но так как обработка первого по трехпольной системе требует менее труда, чем обработка второго по плодопеременной, то издержки производства могут быть одинаковыми в обоих случаях. Лучший участок родит, положим, 40 бушелей хлеба, худший—только 20; но если на обработку лучшего участка нужно 80 дней труда, между тем как обработка плохого по более дешевой системе требует лишь 20 дней труда, то каждый бушель хлеба будет стоить двух дней труда, независимо от того, с какого участка он получен.

Чтобы воспользоваться законом относительной выгодности различных сельско-хозяйственных систем, нужно, конечно, много знаний, не

всегда имеющихся даже у западно-европейских хозяев. Несомненно также, что земледелие до сих пор еще не пользовалось услугами естествознания в той же мере, в какой пользуется ими фабричное производство. Кроме того, существует много других препятствий, мешающих прогрессу земледелия и рациональной обработке участков различного плодородия. «Но все эти препятствия устраняются с развитием общества и не могут поэтому иметь тех последствий, которые выводятся из них системою Рикардо».

X.

Учение о постоянном уменьшении производительности земледельческого труда основывалось, как известно, на том будто бы несомненном факте, что хлебные цены повышаются всегда с возрастанием народонаселения. Сторонники этого учения указывали также на то обстоятельство, что в каждое данное время хлебные цены выше в густонаселенных, чем в малонаселенных странах. Именно эти аргументы имел в виду Родбертус, утверждая, что «немногие статистические данные, говорящие, повидимому, в пользу теории Рикардо, или совсем недостоверны, или допускают совершенно иное истолкование». Наш автор прежде всего не соглашается с тем, что хлебные цены всегда повышаются с ростом народонаселения. Он ссылается на таблицу *фон-Гюлиха*, показывающую состояние хлебных цен на лондонском рынке за огромный период времени от 1202 по 1826 год. Из этой таблицы видно, что в XIII и XIV столетиях цены на пшеницу стояли значительно выше, чем в XV и в первой половине XIV века. С 1202 года замечается постоянное понижение цен на пшеницу, продолжающееся до 1560 года включительно. Во второй половине XVI века начинает оказывать свое влияние прилив мексиканского серебра, и цены на пшеницу испытывают огромное повышение, которое продолжается до начала XVIII столетия. Но с 1701 года цена ее снова понижается и стоит сравнительно низко до 1770 года, с которого начинается новое повышение. В 1809 года повышение прекращается, и цены падают вплоть до 1826 года. «Таким образом,—замечает Родбертус,—мы не видим *«постоянного повышения»* цены пшеницы на рынке Лондона, этого всегда растущего всемирного города. Мы видим, напротив, целый ряд колебаний, вполне соответствующих колебаниям континентальных цен. И в Англии и на континенте цены стоят гораздо выше в семнадцатом, чем в восемнадцатом веке; в конце восемнадцатого века они снова повышаются до первого десятилетия девятнадцатого века включительно». Затем статистика указывает

на новое понижение. Из исследований Дитерици видно, что цена пшеницы на берлинском рынке была значительно выше в период времени от 1791 по 1815, чем с 1816 по 1840 год. Таблица фон-Гюлиха также показывает, что с 1809 года происходит общее понижение цены пшеницы. Только в тридцатых годах, вследствие целого ряда неурожаев в Англии, хлебные цены снова возвышаются, при чем возвышение это продолжается в Германии и в сороковых годах благодаря отмене английских хлебных законов. Само собою понятно, что свобода хлебной торговли оказала обратное этому влияние на английский рынок.

Если мы сопоставим это движение хлебных цен с движением народонаселения в различных странах, то станет ясно, что первое не имеет никакой связи с последним. Возрастание народонаселения не только не всегда сопровождается вздорожанием хлеба, но, напротив, часто случается, что хлебные цены более всего падают именно в то время, когда население растет всего быстрее. Правда, сколько-нибудь точной статистики европейского населения за предшествующие столетия не существует. Но и общие исторические соображения заставляют признать, что в XIII и XIV столетиях европейское население увеличилось в весьма сильной прогрессии. Это подтверждается соответствующим названной эпохе развитием и процветанием западно-европейских, а в том числе и английских городов. Однако мы видели уже, что лондонские цены на хлеб именно в течение этого периода испытывают весьма значительное понижение. С другой стороны, хлебные цены значительно растут в течение всего XVII века, когда—«по общему признанию историков»—народонаселение Англии не только не увеличивалось, но даже уменьшалось. Наоборот, население ее увеличивается в XVIII столетии, между тем как цены на хлеб падают до 1770 года включительно, при чем понижение их достигает более чем 30%. Дальнейшее сравнение хлебных цен с движением народонаселения показывает, что и цены эти росли всего сильнее именно в то время, когда население возрастало всего медленнее, и падали в периоды наиболее быстрого его увеличения. Так, например, с 1817 по 1843 год население Пруссии возросло на 50%. По теории Рикардо, такое увеличение народонаселения должно было бы вызвать значительное вздорожание хлеба. История показывает, однако, совершенно противное. В тот самый период, когда население Пруссии возросло на 50%, хлебные цены на ее рынке понизились до 30%. А между тем за все это время Пруссия не только не ввозила иностранного хлеба, но продолжала увеличивать свой вывоз.

При всех этих сопоставлениях хлебных цен с движением народо-

населения нужно, кроме того, иметь в виду, что стоимость драгоценных металлов в свою очередь подвергалась колебаниям. Рикардо признавал, что открытие американских рудников причинило внезапное падение стоимости драгоценных металлов в XVI веке; но он полагал, что влияние этого открытия давно уже прекратилось. Родбертус оспаривает мнение Рикардо, указывая на то обстоятельство, что в течение XVIII столетия добывание драгоценных металлов в Мексике увеличилось почти в пять раз. Такое возрастание притока драгоценных металлов должно было, по его мнению, вызвать возвышение денежной стоимости всех продуктов, в том числе и хлеба—совершенно так же, как уменьшение добывания драгоценных металлов, обнаружившееся с 1809 года, должно было понизить хлебные цены. «Именно в виду таких колебаний в стоимости самих денег,—прибавляет Родбертус,—было бы весьма рискованно делать заключения о производительности земледельческого труда, основываясь лишь на денежной стоимости хлеба».

XI.

Мы видим теперь, какое значение имеют историко-статистические данные, подтверждающие будто бы учение об уменьшении производительности земледельческого труда в развивающихся обществах. Данные эти ни в каком случае не доказывают положения, в защиту которого их приводят. Но есть один несомненный факт, об'яснимый, повидимому, лишь с точки зрения учения Мальтуса-Рикардо. Сущность его заключается в том, что в каждое данное время в богатых и густонаселенных странах хлебные цены стоят выше, чем в странах бедных и малонаселенных. Родбертус не отрицает этого явления, но находит для него иное об'яснение. Если бы справедливо было учение Мальтуса и Рикардо, рассуждает он, то в каждом развивающемся обществе сельское население должно было бы возрастать относительно быстрее городского. Так как, по учению английских экономистов, производство добавочного количества хлеба требует все большего труда, то естественно было бы ожидать, что все бóльшая и бóльшая часть прироста населения будет обращаться к земледелию. В действительности же мы видим совершенно обратное явление. В прогрессирующих обществах городское население увеличивается обыкновенно быстрее сельского. Это может быть об'яснено лишь тем, что, вопреки мнению Мальтуса и Рикардо, производительность земледельческого труда возрастает и потому относительно бóльшая часть населения прогрессирующих стран получает возможность

взяться за ремесленный и фабричный труд. И если, несмотря на возрастание производительности земледельческого труда, хлебные цены все-таки возвышаются в таких странах, то это явление может быть об'яснено множеством других причин, не имеющих прямого отношения к земледелию. Так, например, несомненно, что до некоторой степени оно обусловливается упомянутым уже более быстрым увеличением городского населения сравнительно с сельским. Для пропитания городского населения хлеб доставляется из деревень, и эта доставка значительно возвышает его стоимость. По исследованиям Тюнена, оказывается, что если бы в деревне, отстоящей от города на 50 миль, шеффель ржи не стоил ничего, то при доставке его на лошадях и по обыкновенным немецким дорогам он стоил бы в городе не менее 1½ талера. Улучшение путей сообщения уменьшает, конечно, влияние этого фактора, не уничтожая, однако, его совершенно. Но зато, чем дешевле обходится доставка хлеба с экономическим прогрессом страны, тем сильнее сказывается, по мнению Родбертуса, влияние на хлебные цены нового фактора, именно денежного хозяйства. Известно, что с заменой натурального хозяйства денежным «натуральная» заработная плата уступает место денежной. Не только рабочие, но даже прислуга, вместо так называемого «хозяйского содержания», получают соответственно повышенную денежную плату и сами уже заботятся об удовлетворении своих потребностей. Рабочие являются таким образом самостоятельными покупателями на рынке и в громадной степени увеличивают спрос на предметы первой потребности. Конечно,предложение этих предметов также возрастает, потому что все, составлявшее прежде натуральную плату рабочего, превращается теперь в товар и вывозится на рынок. Но, по мнению Родбертуса, это возрастание предложения «ни в каком случае не может уравновесить увеличения спроса», а потому цены названных предметов и не могут остаться на том же уровне, на каком стояли они в эпоху натурального хозяйства. «Исходя из многих тысяч отдельных личностей, направляясь на необходимейшие для жизни предметы и направляясь именно в то время, когда потребность в них дает очень сильно себя чувствовать, спрос превышает увеличившееся предложение. Это влияние спроса, раздробившегося между многими тысячами лиц, заметно отчасти и на существующих в розничной продаже ценах. В особенности же оно заметно при неурожаях. Именно благодаря этому влиянию, даже при одинаковом отношении наличного количества хлеба к числу потребителей, цена его стоит гораздо выше в тех странах, где натуральная плата уступила место денежной».

Наш автор сознается, однако, что вышеприведенные факторы не выясняют спорного вопроса во всей его полноте. Так, например, Англия населена вдвое гуще, чем Германия. «Я утверждаю,—говорит Родбертус,—что производство данного количества хлеба требует, по крайней мере, на 50% менее труда в Англии, чем в Германии, а между тем, даже после отмены хлебных законов, английские цены на хлеб на 50% выше немецких. Такая значительная разница не может быть об'яснена вышеуказанными причинами». Но сам же Рикардо дает новое оружие в руки своего противника. Родбертус повторяет мысль Рикардо о влиянии международной торговли на количество денег в различных странах и утверждает, что хлебные цены должны быть выше в богатых странах, вследствие присутствия в них большего количества денег. Богатство страны обусловливается производительностью национального труда,—говорит он.—Большая же производительность национального труда дает стране значительные преимущества на всемирном рынке. Она ставится в положение производителя, работающего при исключительно благоприятных условиях, и получает за свои продукты цены, значительно превышающие издержки их производства. «Всемирный рынок заменяет, таким образом, для нее богатые рудники, из которых она с малым трудом,—необходимым для производства вывозимых ею продуктов,—получает большое количество золота и серебра, платимого ей за ее товары». Благодаря этому и на внутреннем рынке ее является большое количество драгоценных металлов, так что стоимость их понижается или, другими словами, возрастают цены всех других товаров. Но это возрастание денежных цен товаров будет заметно лишь по отношению к некоторым из них. Здесь повторится явление, которого мы касались уже выше, говоря о влиянии американских рудников на европейские цены. Как помнит читатель, мы пришли к заключению, что если бы производительность европейского труда осталась неизменной, то денежные цены всех товаров возвысились бы, благодаря уменьшению стоимости драгоценных металлов. Но так как рядом с уменьшением их стоимости шло возрастание производительности труда во всех его отраслях, то дело получило гораздо более запутанный характер.

Возвысились денежные цены лишь тех товаров, производство которых удешевилось в меньшей степени, чем добывание драгоценных металлов. Такими товарами были сырые земледельческие продукты. Что же касается других продуктов европейских стран, то увеличение производительности соответствующих им отраслей труда уравновесило или даже превысило влияние усилившегося притока драгоценных металлов,

и цены их не возросли или даже упали. Так как большая производительность труда «заменяет для передовой страны богатые рудники», то производство главных предметов вывоза из страны может быть рассматриваемо как добывание драгоценных металлов при исключительно благоприятных условиях. Более сильный, сравнительно с бедными странами, приток драгоценных металлов возвысит в передовой стране цены сырых продуктов, но влияние его не будет достаточно сильно, чтобы вызвать вздорожание продуктов фабричных. Несмотря на общее возвышение цен, продукты эти будут дешевле в богатых странах, чем в бедных, потому что увеличение производительности труда уравновесит и перевесит влияние усилившегося притока драгоценных металлов.

Само собою понятно, что международная торговля повлияет в обратном смысле на бедные, мало развитые страны. На внутренних рынках этих стран цены всех продуктов будут стремиться к понижению вследствие уменьшения количества обращающихся в них драгоценных металлов. Но это общее понижение цен будет в особенности заметно на сырых продуктах, потому что малая производительность фабричного труда в этих странах будет стремиться возвысить цены фабричных продуктов и тем уравновесить влияние возвысившейся стоимости драгоценных металлов.

«Я знаю,—говорит Родбертус,—что последователи Рикардо говорят о возвышении хлебных цен в *густонаселенных* странах, между тем как я об'ясняю это явление по отношению к *богатым* странам. Но более населенные страны являются обыкновенно и более богатыми. Увеличение производительности национального труда есть результат умственного развития. Творческая же сила человеческого ума растет, повидимому, лишь благодаря соединению и сближению умов, подобно тому как производительная сила индивидуумов увеличивается благодаря разделению труда. По мнению Рикардо, густота населения возвышает цены с'естных припасов вследствие уменьшения производительности земледельческого труда. На самом же деле именно большое богатство густонаселенных стран причиняет возвышение цен тех продуктов, производство которых удешевляется в меньшей степени, чем производство продуктов, составляющих главную статью их вывоза».

XII.

Если производительность земледельческого труда не только не уменьшается, но даже возрастает во всех прогрессирующих странах,—хотя и в меньшей степени, чем производительность труда фабричного,—

то экономический пессимизм Мальтуса и Рикардо лишается всякого основания. Увеличение народонаселения является, в таком случае, не бедствием, которого должны страшиться цивилизованные народы, а источником общественного богатства и благосостояния. Правда, до сих пор было не так, но причина этого печального явления коренится не в производстве, а в распределении национального продукта. В этом, по мнению Родбертуса, коренной «недостаток» современной общественной организации, в устранении этого «недостатка» состоит вся суть социального вопроса. Мы знаем уже, что с самых первых шагов в области самостоятельных экономических исследований Родбертус задался целью «увеличить долю участия рабочего класса в национальном доходе», и что все научные исследования его были лишь «необходимой теоретической основой» для достижения этой цели. Посмотрим же, какие «практические предложения» для решения этого вопроса имел в виду автор «Социальных писем к Кирхману».

Современная общественная организация казалась ему переходною ступенью от античного строя, где не только средства производства, но и сами производители были об'ектами частной собственности, к тому будущему обществу, в котором предметы потребления будут подлежать частному присвоению, в размере участия каждого индивидуума в национальном производстве. Понятно, что «практические предложения» нашего автора должны были сообразоваться с этим общим ходом исторического развития, с этой сменой «всемирно-исторических периодов». Вот почему он так недоверчиво относился к «эйзенахцам», не имевшим, разумеется, в виду никакого «будущего периода». «Эйзенах глубоко комичен!»—восклицает он в одном из писем к Р. Майеру. Так же мало удовлетворили его всевозможные попытки примирить интересы труда и капитала на почве «свободного договора», путем пресловутого «участия рабочих в прибыли предприятий» или чего-либо подобного «Стремиться решить социальный вопрос на почве свободного договора—такое же нелепое намерение, как если бы госпожа История (Frau Historia) вздумала лечить бедствие рабства, оставаясь на почве рабства» [1]),—пишет от тому же Р. Майеру. Даже лассалевский проект организации производительных рабочих товариществ вызывал его недоверие, именно ввиду философско-исторических соображений. «Ничто не убедит меня в том, что производительные ассоциации лежат на пути будущего национально-экономического развития... Они не могут явиться

[1]) „Briefe und socialpol. Aufsätze", I B., S. 160.

даже переходной ступенью к более широкой цели. Они вернули бы нас к корпоративной собственности, которая в тысячу раз хуже современной частной собственности. Переход от частной к государственной собственности не может совершиться через посредство собственности корпоративной; напротив, именно частная собственность есть переходная ступень от корпоративной к государственной собственности» [1]). На основании всех этих соображений Родбертус должен был искать такого пути для решения социального вопроса, который, с одной стороны, постепенно вел бы общество к «будущему всемирно-историческому периоду», но в то же время не подал бы повода к слишком резкому разрыву с настоящим. Как «социально-консервативный» мыслитель, наш автор стремился, разумеется, к мирному решению социального вопроса, потому что вопрос этот «не может быть решен на улице, посредством стачек, баррикад или даже петроля». Задача людей, стремящихся к решению социального вопроса, заключается, по мнению Родбертуса, в том, чтобы найти и осуществить такие «экономические учреждения», которые могли бы, путем мирного развития, постепенно перевести общество из современного, основанного на частной собственности и уже отжившего государственного порядка в высший порядок, в котором собственность являлась бы лишь в виде дохода, пропорционального труду». Эта, как он сам сознавался, неудобопроизносимая формулировка дополнялась еще одним, весьма существенным требованием.

Искомые «экономические учреждения» должны были «вести к указанной цели и связать настоящее с будущим путем системы наемного труда, не сокращая доходов собственников, но в то же время обеспечивая рабочим увеличение участия их в национальном доходе [2]).

Само собою разумеется, что такие замысловатые учреждения не могли бы быть осуществлены иначе, как посредством государственного вмешательства. В вопросе о государственном вмешательстве Родбертус совершенно сходился с Лассалем и не менее его ненавидел «Nichts-als-Freihändler»'ов. «Физиократическая система, от которой мы и теперь так страдаем, должна уступить место антропократии. Народное хозяйство также должно войти в сферу государственного управления»,—писал он в статье, носящей вполне понятное название «Physiokratie und Anthropokratie», к которому, по неизвестной причине, был прибавлен какой-то таинственный знак. Издатель «*писем и статей*» Родбертуса,

---

[1]) Ibid., S. 228.

[2]) „Briefe und Aufsätze", 1 B., S 318.

Р. Майер, называет этот знак «масонским» и предполагал, что, украшая им статью, Родбертус хотел пригласить «свободных каменщиков» к постройке здания «будущего». Эта частность имеет, разумеется, значение лишь в качестве биографической подробности. Для нас важно лишь содержание статьи, в которой автор старается выяснить разницу между животным организмом, с одной стороны, и социальным—с другой. Между тем как «животные организмы свободны только по отношению к внешнему миру», социальный организм свободен еще и в том смысле, что составляющие его «атомы» могут по произволу изменять свои взаимные отношения, а следовательно и всю организацию общества.

. . Der Mensch
Vermag das Unmögliche;
Er unterscheidet,
Wählet und richtet, —

говорит он словами Гете. Государство должно совершать все признанные необходимыми изменения и исполнять таким образом волю «социальных атомов». Но между тем как Лассаль полагал, что государство лишь тогда явится на помощь рабочему классу, когда он будет представлять собою сильную политическую партию, Родбертус считал политическую программу Лассаля по меньшей мере бесполезным придатком к социальным требованиям рабочих. Он думал, что политическая агитация только нарушит общественное спокойствие, необходимое для решения социального вопроса. Кроме того, он опасался, что в наше время, когда «чуть не сам Лойола спекулирует на социальный вопрос», политика даст возможность приобрести влияние над рабочим людом, интересующимся социальным вопросом только «для политики», как выражался он, играя словами. Еще более отрицательно относился он к «католическим» и «протестантским социалистам». «Я убежден,—писал он Р. Майеру,—что пока одни будут примешивать к социальному вопросу свои религиозные, а другие—политические симпатии, вопрос этот решен не будет». Не рассчитывая на политическую самодеятельность рабочего класса, он всего ожидал от великодушия и гения какого-нибудь государственного человека. Откуда возьмется такой человек,—он и сам не знал хорошенько. Некоторое время он думал, что таким благодетельным гением явится князь фон-Бисмарк, которым он так восхищался в период франко-прусской войны. Находчивые друзья нашего автора советовали даже ему просить у «железного канцлера» аудиенции для изложения своих «практических предложений», но Род-

бертус был слишком умен для того, чтобы решиться на такую детскую выходку. Он отвечает, что в четверть часа невозможно решить социальный вопрос, а по окончании аудиенции Бисмарк, наверное, забудет и о социальном вопросе и о сделанных ему «предложениях». Он уже начал склоняться к тому убеждению, что «Бисмарк так же ничтожен во внутренней, как велик во внешней политике» (письмо к Р. Майеру 5 февраля 1873 г.). Это не помешало ему однако надеяться на появление нового Мессии, а в ожидании этого писать проекты и передавать их на обсуждение политико-экономических конгрессов. Будучи убежден, что в настоящее время «даже самые абстрактные вопросы экономии понимаются рабочими лучше, чем многими профессорами», он не переставал осаждать своими «практическими предложениями» профессоров, принадлежавших, по энергическому его выражению, к «эйзенахскому болоту», и упорно отклонялся от всякой более благодарной практической деятельности. Только незадолго до смерти он начал останавливаться на мысли «выступить в качестве социалистического депутата» в рейхстаге, но и эту миссию он понимал довольно своеобразно. «В 1848 г. я много способствовал открытию для демократии доступа в салоны (salonfähig zu machen), быть может, удастся мне это и с социализмом». Неизвестно, чем кончилась бы эта попытка, открыл ли бы Родбертус доступ в салоны социализму или социализм вывел бы его из «салонов» в рабочие собрания; тяжелая болезнь помешала осуществлению этого нового плана нашего автора. Больной, слабый и раздражительный, переезжал он из курорта в курорт и только урывками мог обращаться к своей любимой теме—социальному вопросу вообще и средствам его решения в частности.

Посмотрим же, в чем состояли «практические предложения» Родбертуса. Мы знаем уже, как формулировал он свою задачу; взглянем теперь на ее решение. Все практические планы Родбертуса сводятся к законодательному регулированию заработной платы. Но под этим регулированием он понимал нечто гораздо более сложное, чем определение ее уровня на почве нынешнего денежного хозяйства. Предложенная им реформа затрагивала почти все сферы современной экономической жизни общества и требовала, поэтому, целого ряда предварительных работ и законодательных постановлений. Нужно заметить, что Родбертус выступил с изложением своих планов как раз в то время, когда между немецкими рабочими велась очень сильная агитация в пользу так называемого нормального рабочего дня, т.-е. в пользу ограничения числа рабочих часов. Он воспользовался вызванным этой аги-

тацией возбуждением общественного мнения, как удобным моментом для пропаганды своих воззрений. Простому ограничению числа рабочих часов он не придавал ровно никакого значения. Он находил, что несправедливо устанавливать ту или другую норму рабочего дня или заработной платы, не обращая внимания на различие в прилежании и ловкости рабочих. Чтобы удовлетворить требованиям справедливости, нужно было бы, по его мнению, не только ограничить число рабочих часов, но и установить норму того, что может быть сделано в каждой отрасли производства «средним рабочим при обыкновенном прилежании и обыкновенной ловкости». Рабочий, сделавший больше, чем требовалось бы этой законной нормой, получал бы бóльшую заработную плату, и наоборот—сделавший меньше, получил бы плату лишь за неполный рабочий день. «Но этого мало,—прибавляет наш автор.—Предложенная мера ведет, собственно говоря, к установлению поштучной платы. Пока рабочая сила будет представлять собою товар и цена ее будет определяться конкуренцией, поштучная плата останется самым действительным средством эксплоатации работника». Поэтому «государство должно установить уровень заработной платы в каждой отрасли производства, подвергая его периодическим изменениям, сообразно возрастанию производительности национального труда».

Раз ступивши на путь законодательного определения заработной платы, государство должно итти далее и постараться найти новый «*масштаб стоимости*». Это новое предложение Родбертуса тесно связано с учением его о меновой стоимости товаров, которого не позабыли еще наши читатели. Если меновая стоимость продукта определяется количеством труда, необходимого на его производство, то, определяя среднюю производительность национального труда в каждой его отрасли, мы определяем тем самым и стоимость продуктов. Зная, что «средний рабочий, при обыкновенном прилежании и обыкновенной ловкости», может сделать *x* продуктов данного рода в течение своего рабочего дня, мы скажем, что стоимость этих продуктов равна стоимости у продуктов другого рода, явившихся в результате рабочего дня в другой отрасли производства. Если число *x* вдвое больше числа *y*, то стоимость каждого отдельного продукта первого рода будет вдвое меньше стоимости каждого отдельного продукта второго рода и т. д. Мы потому говорим о «днях», а не о часах труда, что, по проекту Родбертуса, продолжительность рабочего дня может быть и неодинакова в различных отраслях производства. Известно, что интенсивность, а потому утомительность различных родов труда далеко не одинакова. Необхо-

димо, поэтому, поставить продолжительность труда в соответствие с его интенсивностью и сделать рабочий день короче в более утомительных отраслях производства. Для удобства пришлось бы разделить рабочий день на несколько, например, на десять частей, которые Родбертус называет часами, хотя, как мы видим, десятая часть рабочего дня не всегда равнялась бы часу солнечного времени. Так как Родбертус находит необходимым оставить на время средства производства в частной собственности, то из общей суммы национального продукта, стоимость которого выражалась бы в днях и часах труда, рабочие получали бы только некоторую часть, положим, одну треть. Но эта часть оставалась бы постоянною, несмотря на возрастание производительности национального труда. Поэтому, если бы производительность национального труда удвоилась или утроилась, то в распоряжение рабочих поступало бы в два или в три раза большее количество предметов потребления. «Железный закон» заработной платы был бы устранен, и рабочие получили бы возможность пользоваться успехами общественной культуры и усовершенствованием промышленной техники. Далее, определивши таким образом постоянный уровень заработной платы, государство должно было бы выпустить в обращение особые билеты, на которых обозначались бы различные количества рабочих дней и которые служили бы для расплаты предпринимателей с рабочими. На первый раз государство выдало бы предпринимателям в кредит необходимое для них количество билетов. С своей стороны, предприниматели возвратили бы ему этот долг, так сказать, натурой, именно продуктами своего производства. Государство должно было бы выстроить особые магазины для склада полученных таким образом продуктов и выдавать их в соответствующем количестве пред'явителям новых денег.

«Конечно,—замечает Родбертус,—я очертил эти важнейшие мероприятия лишь самым беглым образом. Человек, не привыкший рассуждать об экономических явлениях, едва ли даже и поймет меня. Но и по отношению к специалистам я остаюсь еще в долгу. Я должен еще *обосновать* все сказанное мною. Чтобы удовлетворить научным требованиям, я должен был бы написать целую книгу. Здесь же мне нужно было только определить общую точку зрения, бросить беглый взгляд на те трудности, которые, подобно цепям огромных гор, выделяются на горизонте социального вопроса» [1]).

Тем не менее наш автор убежден, что даже в этой незаконче-

[1]) „Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft", S. 343.

ной форме проект его дает возможность судить о выгодах, связанных с его осуществлением. Первою из них был бы дешевый кредит для предпринимателей, который дал бы им новое орудие для борьбы на всемирном рынке. Уж это одно до такой степени облегчило бы обращение новых «рабочих денег», что Родбертус задается даже вопросом, не окажутся ли излишними государственные магазины. «Можно ожидать,—говорит он,—что рабочие деньги сами по себе, помимо государственных магазинов, будут преимущественно употребляться при расплатах предпринимателей с рабочими. Государству оставалось бы, в таком случае, лишь основать конторы для размена металлических денег на рабочие. Какой курс должны были бы иметь при этом рабочие деньги, легко было бы определить, потому что те же самые продукты, которые обменивались бы на рабочие деньги, продавались бы в то же время и за деньги металлические» [1]). Кроме того законодательное определение заработной платы, как *постоянной части* национального продукта, избавило бы общество от потрясений, причиняемых торговыми кризисами: мы знаем уже, что, по теории Родбертуса, кризисы причиняются именно постоянным понижением заработной платы, как части продукта, и проистекающим отсюда уменьшением покупательной силы рабочих. Устраняя причину, он был в праве ожидать и устранения ее следствия. Наконец, еще одно немаловажное преимущество, а вместе с тем и условие прочного осуществления предлагаемого плана заключается в возможности заменить мало-по-малу металлические деньги «рабочими». Бумажные деньги существуют и теперь, но обращение их основывается, как известно, на наличности известного металлического фонда, поддерживающего курс их на надлежащей высоте. Введение же в обращение «рабочих денег» сделало бы, по мнению Родбертуса, этот металлический фонд совершенно излишним. «В обществе, в котором стоимость продуктов определялась бы количеством труда, затраченного на их производство, можно было бы создать новые деньги,—гласит пятая «теорема» его сочинения «Zur Erkenntniss unserer Staatswirthschaftlichen Zustände». «Деньги эти, с одной стороны, были бы вполне удовлетворительны, как мерило цен и средство обращения, с другой стороны—они не представляли бы собою вещественного предмета потребления и не основывались бы, как нынешние бумажные деньги, на наличном металлическом фонде» (S. 135). Это требует некоторого пояснения.

---

[1]) „Zeitschrift etc.“, S. 343.

Наш автор думает, что деньги должны испытать на себе влияние того всеобщего закона, по которому «всякое учреждение, в своем историческом развитии, постепенно приобретает в руках людей значение, совершенно отличное от первоначального. Социальные отношения основываются на естественной необходимости и законах природы и лишь мало-по-малу, путем постепенного развития, переходят в область человеческой свободы, где новый бог истории, человек, берет их усовершенствование в свои руки» [1]).

Функция денег выросла естественным путем из разделения труда и обмена его продуктов. Первоначально роль денег играли предметы, наиболее употребительные в среде лиц, ведущих меновую торговлю: меха, скот и т. д. Мало-по-малу, когда с развитием земледелия усилилось рабство, роль денег стали играть драгоценные металлы. В рабовладельческом обществе участниками обмена являлись, главным образом, лица высших сословий, насущные потребности которых удовлетворялись рабским трудом. Вследствие этого на рынке приобрели особенное значение предметы роскоши, свидетельствующие о могуществе и богатстве их обладателей. Как красивые и редкие металлы, золото и серебро не замедлили, разумеется, попасть в число этих предметов. Делимость же драгоценных металлов и способность их противостоять разрушительному действию времени и атмосферных влияний—сделали их еще более пригодными для роли денег. Являясь товаром, и притом товаром, на который всегда существовал сильный спрос, т.-е. вступая в обмен чаще других продуктов, драгоценные металлы служили *мерилом стоимости* этих продуктов. Два, три или несколько продуктов, вымениваемых на одинаковое количество золота и серебра, имели, очевидно, равную стоимость. Кроме того, представляя собою продукт труда, драгоценные металлы могли попасть в руки лишь тех лиц, которые принимали посредственное или непосредственное участие в производстве. В самом деле, помимо воровства, грабежа и т. п. случаев, нас в настоящее время не интересующих, обладатель драгоценных металлов мог приобрести их лишь двумя путями: или получивши их в обмен за произведенный им продукт, или добывши их из недр земли. В обоих случаях он, посредственно или непосредственно, личным трудом или трудом зависимых от него лиц, принимал участие в производстве, а потому имеет право на получение части поступивших на рынок продуктов. Наконец, ввиду сильного спроса на драгоценные металлы,

[1]) „Zur Erk. etc.“, S. 163

обладатель их всегда мог надеяться получить в обмен на них любой из предметов потребления, если только он имел достаточное количество этих металлов. Если же, ввиду случайного характера первобытной торговли, обладатель драгоценных металлов и лишился бы возможности обменять их на другие продукты, то они сами по себе, собственною потребительною стоимостью, представляли достаточное вознаграждение за отчужденный им продукт. В рабовладельческом обществе на рынке фигурируют, главным образом, предметы роскоши, в числе которых драгоценные металлы занимают одно из первых мест. Таким образом драгоценные металлы удовлетворяли всем требованиям, которые можно было пред'явить им, как деньгам. Они служили мерилом стоимостей; обеспечивали уверенность в том, что выражаемая ими стоимость действительно произведена и доставлена на рынок, наконец, сами по себе служили достаточным вознаграждением за проданный продукт. Но, спрашивается, пред'являем ли мы деньгам все эти требования и в настоящее время? И не могут ли деньги удовлетворять необходимым теперь требованиям, не будучи товаром? Родбертус отвечает отрицательно на первый вопрос, утвердительно на второй.

Драгоценные металлы служат теперь деньгами не потому, что они сами по себе представляют достаточное вознаграждение за отчуждаемые продукты, а потому, что каждый уверен в возможности приобрести за деньги необходимые для него продукты. Это доказывается существованием бумажных денег, которые всеми принимаются так же охотно, как и металлические, несмотря на то, что потребительная их стоимость равняется нулю. На это могут возразить, конечно, что бумажные деньги принимаются лишь ввиду возможности в любое время обменять их на металлические. Но именно тот факт, что, имея такую возможность, обладатели бумажных денег все-таки не меняют их на металлические,—доказывает, по мнению Родбертуса, что в настоящее время деньги принимаются уже не как предмет потребления, а как полномочие на получение предметов потребления.

Таким образом, в истории денег нужно различать два периода. В каждом из них деньги являются товаром. Но между тем как в первом периоде товар этот принимается, как предмет потребления, участники обмена не интересуются уже потребительною стоимостью товара-денег—во втором. По словам Родбертуса, существует даже демаркационная линия, разделяющая эти два периода в истории денег, именно то время, когда деньги начинают чеканить, а не принимают, как прежде, по весу. Наш автор уверен, что теперь приближается уже тре-

тий период в истории денег, в котором деньги-товар уступят место «простым билетам». Но в этот период деньги перейдут уже не сами собой, как перешли они во второй период, а путем сознательного вмешательства общества в обмен продуктов.

В настоящее время товарное свойство денег важно лишь постольку, поскольку оно устраняет от участия в обмене лиц, не доставивших на рынок той или другой стоимости. Как продукт труда, золото может быть приобретено только в обмен за другие продукты или путем непосредственного добывания его из недр земли. В обоих случаях обладатель его является лицом, принимавшим участие в национальном производстве, а потому имеющим право на известную часть национального продукта. Таким образом, гарантируется надлежащий ход распределения. Но если бы этой цели можно было достигнуть другим путем, то металлические деньги сделались бы, по мнению Родбертуса, излишней роскошью.

«По идее своей деньги суть свидетельства, дающие право на получение известной меновой стоимости. И в этом смысле можно сказать, что нет надобности писать эти свидетельства на золоте, и общество могло бы сберечь те тысячи миллионов, которые оно затрачивает теперь на материал для этих свидетельств» [1]). Конечно, деньги служат теперь, кроме того, и «мерилом стоимости», но если меновая стоимость продуктов всегда будет определяться количеством труда, затраченного на их производство, то и эта функция денег может исполняться «простыми билетами».

Мы знаем уже, что, по проекту Родбертуса, государство должно взять на себя определение средней производительности труда в каждой отрасли производства, т.-е., другими словами, количества труда, необходимого на производство каждого данного продукта. Определяя это количество, государство тем самым определяло бы и стоимость продуктов, так что не было бы уже никакой надобности измерять ее деньгами. Еще при жизни Родбертуса шверинский архитектор Петерс составил таблицы, указывавшие среднюю производительность плотничьего труда. Наш автор смотрел на работы Петерса, как на первый шаг к осуществлению его «практических предложений», и придавал им огромную важность. По его мнению, государство тотчас же могло бы приступить к осуществлению его планов, как только были бы составлены подобные таблицы во всех других отраслях производства. Тогда «мери-

[1]) „Briefe und Aufsätze", S. 70.

лом стоимостей» сделалось бы само рабочее время, и «простые билеты» с обозначением дней и часов труда сделали бы излишними металлические деньги. Чтобы обеспечить правильный ход распределения, нужно было бы только принять меры, благодаря которым «рабочие деньги» не попадали бы в руки лиц, не принимавших посредственного или непосредственного участия в производстве. Этой цели государство достигло бы, выдавая новые деньги только предпринимателям, доставившим соответствующее количество продуктов в общественные магазины. Тогда гарантированная в «рабочих деньгах» стоимость равнялась бы стоимости национального продукта, и в процессе общественного обмена веществ не произошло бы никаких потрясений. Наш автор не закрывал глаз перед трудностями, стоящими на пути к осуществлению его «предложений». «Конечно,—говорил он,—решение социального вопроса будет стоить много дороже, чем напечатание полицейского распоряжения, именно потому, что мы имеем дело с социальным вопросом». Но если государство тратит многие миллионы на самые непроизводительные предприятия, то «почему не затратить ему многих миллионов на совершение акта социальной справедливости, открывающего новую эру во всемирной истории»? Затраты эти были бы весьма полезны даже с точки зрения материальных интересов общества. При современной организации производства и обмена общество не может воспользоваться находящимися в его распоряжении производительными силами во всей их полноте. «Если бы не было этого печального усложнения, то современные производительные силы могли бы, пожалуй, удвоить национальное производство» [1]). Низкий уровень заработной платы, со всеми проистекающими из него последствиями, разрушает материальное благосостояние современных цивилизованных народов. «*Дешевый* труд страшно *дорого* стоит обществу!»—восклицает Родбертус.

Изложенные планы нашего автора относятся, как мы уже знаем, к переходному времени, за которым открывается блестящая перспектива «нового всемирно-исторического периода». В этом периоде «общественный организм» достигнет, наконец, высшего типа своего развития и так же будет относиться к современному обществу, как позвоночное животное относится к суставчатому.

Переход всех средств производства в распоряжение государства «даст общественному организму позвоночный столб», которому будет

[1]) „Briefe und Aufsätze", I Band, S. 216

соответствовать высшая, централизованная организация всего общественного тела и единство во всех действиях, внутренних и внешних. К сожалению, по понятиям Родбертуса, история не только «не делает скачков», но держится еще правила: «тише едешь,—дальше будешь». Осуществление его «практических предложений» требует, по его словам, более столетия, а для перехода «суставчатого социального организма» в «позвоночный» нужен чуть не геологический период времени. В переписке с Лассалем Родбертус запрашивает для этого перехода целых 500 лет!

XIII.

Мы закончили изложение экономической теории Родбертуса.

Мы познакомили теперь читателя с общими взглядами нашего автора на задачи и метод экономической науки, с учением его о пауперизме и торговых кризисах, с его теорией распределения национального дохода и, наконец, с практическими его планами. Мы старались в то же время оттенить его отношение к писателям, предшествовавшим ему в истории политической экономии, показать, в чем расходился и в чем соглашался с ними Родбертус. Нам остается теперь бросить общий взгляд на теорию нашего автора с точки зрения новейших политико-экономических учений. Уместнее всего будет начать этот критический обзор с оценки общих историко-экономических воззрений Родбертуса, игравших такую важную роль во всем его миросозерцании.

Мы говорили уже в первой статье, что литературная деятельность Родбертуса началась в то время, когда экономическая наука пришла в критический период своего развития, когда, «достигнувши в учениях Рикардо до последних своих выводов, она нашла, по словам Маркса, в Сисмонди выразителя ее отчаяния в самой себе». После того как обновленная Европа сбросила, наконец, последние цепи феодализма, оказалось, что в пресловутом золотом «веке разума» было, как в евангельской притче, много званых, но мало избранных. Повторилась старая, но до сих пор вечно новая история: эксплоатация переменила только формы, а борьба приняла еще более острый характер. Тогда за поправку и пересмотр «вечных истин» буржуазных экономистов взялись люди самых различных направлений. Одни стремились отстоять те формы общественных отношений, при которых так растет «национальное» богатство, так увеличивается производительность труда. Другие взглянули на дело с точки зрения интересов пролетариата и находили, что более справедливое распределение национального дохода ни-

сколько не препятствовало бы экономическому прогрессу общества. Наконец, третьи старались уверить себя и других, что они стоят выше всяких классовых интересов и предрассудков и стремятся лишь к изучению законов общественного развития и к осуществлению необходимых и достаточных в данное время реформ. Родбертус несомненно принадлежит к этой последней категории. Убежденный в своем беспристрастии, он ни в каком случае не согласился бы признать себя ученым представителем какого-нибудь отдельного класса общества. Чтобы понять характер его беспристрастия, нужно, впрочем, определить, что означает это слово в применении его к общественным отношениям. *Беспристрастие* не тождественно, конечно, с *бесстрастием*, с индифферентным отношением ко всем общественным классам явлений. Понятие о беспристрастии не исключает сочувствия и самой горячей симпатии, оно требует только, чтобы симпатия эта более справедливым образом распределялась между всеми сторонами, заинтересованными в решении того или другого исторического спора. Но как найти эту точку равновесия? Мы не говорим о том непосредственном отношении к общественным явлениям, которое обусловливается самим положением данного лица или класса. Для целого класса все важные общественные вопросы сводятся к одному роковому вопросу: «быть или не быть», все задачи сводятся к одной задаче: отстоять или создать условия, необходимые для его существования или его дальнейшего развития. Ни один народ, ни один общественный класс не может признать справедливым то, что противоречит самым насущным его интересам. Каждый класс, каждый народ считает наиболее справедливыми те отношения, которые наиболее способствуют его развитию и благосостоянию. Потому-то мы и видим, что «истинное по одну сторону Пиренеев считается ложным по другую». Но отдельные личности могут, конечно, отделаться от исключительно классовой точки зрения и руководствоваться в своей деятельности лишь общими понятиями своими о законах исторического развития. Они могут возвыситься до беспристрастного отношения к общественным явлениям. К чему же, однако, приведет их такое беспристрастие? История до такой степени неблагодарна или, если угодно, «пристрастна», что как только данный общественный слой свершает все, что дано было ему свершить, она немедленно становится к нему в совершенно отрицательное отношение.

Так отвернулась она когда-то от католического духовенства, так покинула она веселое и воинственное феодальное дворянство. Ненужный более для целей истории и покинутый ею класс общества играет

роль пятого колеса или даже тормоза, препятствующего движению общественной колесницы. Условия его существования исключают условия общественного развития, интересы его противоречат интересам всего остального общества. Как должен относиться к такому классу беспристрастный человек, руководящийся в своей деятельности лишь общими соображениями о законах исторического развития? При самом аристидовском беспристрастии, он не может не видеть, что сочувствовать общественному развитию и в то же время отстаивать интересы этого класса значит желать движения вперед и неподвижности, прогресса и реакции. Отсюда следует, что беспристрастное и отрицательное отношение к известным явлениям не только не исключают друг друга, но в известные исторические моменты положительно немыслимы одно без другого. Иначе, желая согласить несогласимое, человек будет препятствовать обществу сделать тот исторический шаг, значение которого он сам хорошо оценил и понял. Примеры такого рода непоследовательности было бы затруднительно привести лишь потому, что они многочисленны; Родбертус является, между прочим, одним из таких примеров. При всем своем стремлении к беспристрастию, он никогда не мог возвыситься до того возвышенного бесстрастия, которое заставляет окончательно разорвать с отжившими и осужденными историей традициями. Он был и до конца жизни остался землевладельцем не только по положению, но отчасти и по симпатиям. Этим об'ясняется его стремление воспользоваться рабочим движением, между прочим, и в интересах землевладельцев, до сих пор еще не окончивших своей исторической распри с капиталистами; этим об'ясняется убеждение его в том, что «при современном положении дел землевладельцы и рабочие являются естественными союзниками» [1]).

Отсюда же проистекают все противоречия его «практических предложений», его настойчивое желание придумать такую хитроумную комбинацию общественных реформ, которая дала бы возможность увеличить заработную плату, не уменьшая доходов предпринимателей. «Для меня ясно, как день,—говорит он в одном из писем к Вагнеру,—что мой милый «Ягецов» только до тех пор останется во владении моих наследников, пока потомки Блейхредера будут беспрепятственно продолжать накопление капитала». В этих немногих словах заключается разгадка стремления сесть между двумя стульями, которое замечается во всех практических планах Родбертуса.

[1]) „Briefe und Aufsätze", I Band. S. 341.

Но пока работа мысли нашего автора ограничивалась чисто-теоретической сферой, он имел достаточно беспристрастия для того, чтобы видеть в улучшении положения рабочего класса важнейшую задачу экономической науки. Он очень хорошо понимал, что если «вечные истины» буржуазной экономии были удачной гиперболой в борьбе «третьего сословия» против феодального дворянства, то они ни в каком случае не могут служить критерием для оценки дальнейших стремлений человечества. Общество представлялось ему не законченным совершенно зданием, а развивающимся организмом, который переходит с возрастом из низшего типа в высший. При этих переходах все общественные отношения людей подвергаются самым коренным изменениям. В античном обществе сам человек является, в виде раба, об'ектом частной собственности. Мало-по-малу рабство и крепостная зависимость уступают место свободному труду, и в «германском государственном порядке» уже только средства производства составляют предмет частной собственности. Родбертус «слышал уже и приближение новой эры», новой формы общественных отношений, в которой частному присвоению будут подлежать лишь предметы непосредственного потребления.

Чем же обусловливается это постоянное изменение общественной организации? Родбертус не дает удовлетворительного ответа на этот вопрос. В некоторых случаях он совершенно недвусмысленно заявляет, что «правовая идея издавна шла рука об руку с экономической необходимостью», и в сочинениях его рассыпано множество неопровержимых доказательств этого положения. Если бы он внимательнее проследил влияние «экономической необходимости»; если бы для каждой из указанных им ступеней общественного развития он постарался найти связь между этой «необходимостью» и политическими учреждениями, то он поставил бы философию истории на совершенно реальную почву. К сожалению, он не всегда держался высказанной им светлой мысли. Общественный строй античного и «германского» периодов кажется ему результатом простого насилия; в решении рабочего вопроса он видит только «акт общественной справедливости». Мы видели уже в пред'идущих статьях, что именно насилием, и только насилием, об'ясняет он возникновение рабства и частной собственности на землю и капиталы. «Как прежде правовая идея опиралась на силу, так и теперь она основывается на постоянном принуждении», — вот все, что говорит он в об'яснение современного общественно-экономического строя. Оставаясь на этой точке зрения, Родбертус не вышел еще из области той фило-

софии истории, которая в начале XIX столетия пыталась, в лице Огюстена Тьерри, об'яснить весь ход английской истории тем обстоятельством, что «il y a une conquête là-dessous, tout cela date d'une conquête».

Уже в сочинениях Тьерри можно заметить всю непоследовательность и несостоятельность такого взгляда. Сохраняя еще некоторое подобие вероятности, пока речь идет о «статике» данного общественного строя, теория насилия оказывается абсолютно неспособной выяснить ход его развития, открыть причины, видоизменяющие соотношение общественных сил. Не говоря уже об «Histoire du tièrs-état», представляющей собою блестящее опровержении теории насилия, даже в статьях своих об «английских революциях» Тьерри вынужден апеллировать к экономическому прогрессу «третьего сословия», обусловившему постепенное его возвышение. Еще более таких противоречий у Родбертуса, как писателя, несравненно более Тьерри обращавшего внимание на экономическую историю народов. «На той ступени развития производительности труда, на которой знают лишь ручную мельницу, необходимо должно существовать рабство»,—говорит он в одной статье, написанной им еще в 1837 году. Точно также статья его о римском колонате указывает на экономические причины тех правовых изменений, которыми ознаменовался переход от рабства к крепостничеству. Его сочинение «Zur Erklärung der Kreditnoth» изобилует примечаниями, которые самым остроумным образом раскрывают связь между правовыми учреждениями античного общества и экономическим его строем.

Наконец, приведенное выше мнение его об исторической роли акционерных обществ ясно доказывает, что соотношение сил различных классов современного общества находится в теснейшей связи с экономическим его строем. Конечно, в борьбе общественных классов за свое существование сила всегда являлась высшей инстанцией, к которой апеллировали спорящие стороны; в этом смысле сила имела огромное прогрессивное значение, так как она служила «повивальной бабкой старому обществу, беременному новым». Но сказав, что в настоящее время данный класс общества сильнее всех других, мы не об'ясняем ровно ничего, потому что остается открытым вопрос как о происхождении силы этого класса, так и о способах пользования ею. Средневековые варвары так же мало церемонились с побежденными народами, как и греки или римляне; однако завоевание Пелопоннеса дорическим племенем дало совершенно другие результаты, чем завоевание Англии норманнами или Галлии—франками. Эмансипация городских коммун была результатом победы средневековых горожан над их феодальными

господами, точно так же, как великая французская революция была победой буржуазии над аристократией; тем не менее, общественный строй городских коммун не имел ничего общего с после-революционной Францией. Впрочем, непоследовательность Родбертуса об'ясняется тем обстоятельством, что многие фазисы развития социальных отношений остались для него закрытою книгою. Установленная им схема общественно-исторического развития—рабство, наемный труд, «новая эра»—страдает значительной неполнотою. Он совершенно игнорирует сельские общины, история которых показывает, что начало рабства далеко не совпадает с началом оседлости и земледелия.

Нужно удивляться, каким образом, будучи замечательным знатоком римской истории, Родбертус упустил из виду, что в первые века республики рабство существовало лишь в очень незначительных размерах. Полноправные граждане, а иногда даже знаменитые полководцы и диктаторы собственными руками обрабатывали принадлежащие им участки земли, и рабский труд служил подспорьем, а не основой древнеримского земледелия. Только мало-по-малу, с развитием неравенства в поземельных отношениях, с концентрацией поземельной собственности в немногих руках, рабский труд вытесняет из деревень свободное население. Та же постепенность в образовании крупного, основанного на рабском труде землевладения замечается и в Греции. Наконец, разработка истории общинного землевладения в различных странах и этнографические исследования показали, какую огромную роль играли первобытные сельские общины в развитии правовых и социальных отношений всех цивилизованных народов.

Все эти исследования оставались как бы совершенно неизвестными Родбертусу. Возражая против теории поземельной ренты Рикардо, он допускает, правда, что первоначально земля могла принадлежать не только частным собственникам, но и сельским общинам. Однако он немедленно делает крупную ошибку, утверждая, что общинное землевладение так же точно исключало свободное занятие необработанных земель, как и частное. Когда население возрастало до такой степени, что незанятых земель оставалось очень немного, со стороны общинников было весьма естественно приберегать их для подрастающего поколения. Но «первоначально» общины вовсе не так ревниво оберегали неприкосновенность своих владений. Они принимали в свою среду новых членов, при чем, разумеется, и речи не могло быть о «поземельной ренте». Новые члены получали даже пособие от общины и пользовались некоторыми льготами; по истечении же льготного времени они обязы-

вались лишь принимать участие во всех расходах общины наравне со старыми членами. В книге Беляева «Крестьяне на Руси» можно насчитать немало таких примеров. «А как отыдет льготный год, и мне всякая подать платить со крестьяны вместе»,—говорит новый член общины в одной из договорных грамот XVI века. Кроме общинных и частных земель существовало,—вопреки мнению Родбертуса,—много земли, ровно никому не принадлежащей, — «дикой», как называлась она в древней России, — которую свободно мог занимать каждый желающий [1]). То же мы видим и в Германии, где, по словам Маурера, «первоначально, пока существовало право свободного занятия, свободный человек мог селиться повсюду, где находил никому не принадлежащую землю»; потом для таких «поселений нужно было согласие общин или короля... но это новое право не скоро получило всеобщее признание, и своевольные занятия земель долго не прекращались. Таким образом селились не только германцы, но и славяне в Баварии и других местах» [2]). Вообще, история крестьянского землевладения у всех народов может служить опровержением того положения Родбертуса, что и первоначально, с тех самых пор, как существует разделение труда, земля принадлежала не тем, которые занимались ее обработкой; те же, которым она принадлежала, никогда не были бы в состоянии обработать ее собственными силами. По исследованиям Маурера, оказывается, что величина участков, находящихся в пользовании членов общины, определялась именно их «собственными рабочими силами»; это видно из самого названия различных мер земли, Tagwerk, terra jurnalis, Mannskraft, Mannwerk и т. д. [3]).

Русским читателям известно то же самое из истории русской общины. Наконец, история средневековых ремесленных корпораций показывает, что было время, когда и «капиталы» принадлежали самим трудящимся. Правда, доход средневекового мастера создавался только отчасти его собственным трудом: на него работали ученики и подмастерья. Но эти состояния были переходными, и каждый порядочный подмастерье становился со временем мастером, т.-е. вполне самостоятельным производителем. «Почти до середины XIV столетия звание подмастерья было только ступенью в жизни ремесленника, а не постоянным его призванием... Цехи не представляли еще в то время замкнутых организаций, число мастеров не было ограничено ни непосредственно,

[1]) „Крестьяне на Руси“, стр. 19.

[2]) „Einleitung zur Geschichte der Mark-Hof-Dorf und Stadt-Verfassung“, S. 183.

[3]) Ibid., S. 129—134.

ни посредственно, наконец, мастера были большею частью сами работниками, потому что если для самостоятельного ведения дела и тогда нужен был известный капитал, то капитал этот, по тогдашнему состоянию промышленности, был еще очень незначителен [1]). Мы видим отсюда, что в споре своем с Бастиа и Тьером Родбертус становился на очень скользкую почву, так как на вопрос его: «когда и где принадлежали работнику земля и орудия труда?»—они могли бы сослаться на сельские общины и ремесленные корпорации.

Неверная историческая точка зрения нашего автора лишена в то же время практического значения. Сущность современного социального вопроса ни в каком случае не может быть сведена к юридическому спору о том, когда и кому принадлежали средства производства.

Этого спора не разрешил бы и сам Соломон, по той простой причине, что он никогда не мог бы иметь и миллионной доли необходимых для этого решения данных. Современные цивилизованные народы могут довольствоваться убеждением, что их экономические бедствия представляют собою необходимое следствие капиталистической организации производства и обмена. Им пришлось бы испытать те же бедствия даже в том случае, если бы никогда и нигде не совершалось ни одного насилия и «завоевания»; если бы труд служил «первоначально» единственным основанием собственности, а продукты всегда оценивались бы лишь по количеству труда, затраченного на их производство: словом, если бы в сфере товарного производства и обращения всегда господствовали, по выражению Маркса, «свобода, равенство, справедливость и Бэнтам». Рано или поздно вся эта идиллия привела бы к появлению на рынке самой рабочей силы, а влияние «Бэнтама», т.-е. сознание собственной выгоды, привело бы туда же и покупщиков этого нового товара, предпринимателей. Тогда началась бы эра прибавочной стоимости и железного закона заработной платы, всемирного рынка и торговых кризисов,—и человечеству пришлось бы сознаться, что только конец венчает дело. На известной стадии товарного производства и обращения «основанный на них закон присвоения или закон частной собственности превращается в прямую противоположность, путем свойственной ему внутренней, неотвратимой диалектики... Разделение между собственностью и трудом является неизбежным следствием того закона, который исходит, повидимому, из полного их совпадения» [2]). Именно в эту сто-

[1]) Brentano „Das Arbeitsv. gem. dem heut. Recht", S. 30.

[2]) „Das Kapital". S. 572.

рону, в сторону «неотразимой внутренней диалектики» товарного производства, и должны быть направлены исследования теоретиков и усилия практических деятелей.

Если бы Родбертус обратил более внимания на этот фактор возникновения общественного неравенства, то решение социального вопроса представилось бы ему не только «актом общественной справедливости», но и неизбежным результатом все той же «внутренней диалектики» товарного производства. Впрочем он не совсем, как кажется, уяснил себе динамические законы капиталистического способа производства. Потому-то и «будущий период» является у него скорее драгоценным подарком человечеству со стороны прихотливой истории, чем логическим выводом из посылок, коренящихся в современной жизни цивилизованных обществ. Потому-то и рабочие представляются ему, с одной стороны, угнетенной и обездоленной частью общества, неспособной к разумной самодеятельности; с другой стороны, они кажутся ему какими-то варварами, более грозными, чем «орды Алариха».

Что касается до соображений Родбертуса о характере «будущего всемирно-исторического периода», то о них нельзя, разумеется, говорить с такой же уверенностью, как о вопросах прошедшего и настоящего времени. Несомненно, однако же, что относящиеся сюда представления нашего автора являются часто не совсем удачной абстракцией от современного общественного строя. Так, например, его «государство рабочих и чиновников» основывается на том же профессиональном разделении труда, которое исключает всякую возможность всестороннего развития современного среднего человека.

Не говоря уже о различии функций двух больших классов будущего общества,—рабочих и «чиновников», сами работники физического труда остаются у него на всю жизнь ткачами, кузнецами, плотниками, рудокопами, земледельцами и т. д., и т. д. По крайней мере, Родбертус нигде не говорит о необходимости устранения современной профессиональной односторонности. Он как бы не слышал бесчисленных жалоб на то, что современное разделение общественного труда превращает всю производительную деятельность работника в ряд однообразных, отупляющих механических движений. Он как бы не видит того обстоятельства, что развитие технического разделения труда все более и более упрощает различные роды производительной деятельности и тем создает возможность перехода от одного к другому. Он целиком переносит на «будущее общество» понятие о современном разделении труда, не отдавая себе отчета в конечной его тенденции. Таким же перене-

сением в «будущий всемирно-исторический период» современных экономических понятий является и учение его о распределении продуктов по количеству труда, затраченного на их производство. Понятие о таком распределении заимствовано из современного товарного обращения, в котором стоимость продуктов определяется воплощенным в них трудом. Но едва ли можно признать рациональным такое превращение законов товарного обмена в норму для распределения продуктов в будущем. Сам Родбертус заметил совершенно справедливо, что правовая идея издавна шла рука об руку с экономической необходимостью. Мы думаем, что в будущем между ними будет полное согласие; а если это так, то рано или поздно общество должно будет остановиться на таком способе распределения продуктов, который окажется наиболее благоприятным для всестороннего развития производителей. Такой способ распределения будет вполне соответствовать «экономической необходимости», потому что развитие производителей равносильно увеличению производительных сил общества и бесконечному возрастанию власти человека над природой.

XIV.

Переходя теперь к экономической теории Родбертуса в тесном смысле этого слова, мы прежде всего обратим внимание читателя на учение нашего автора о меновой стоимости. Мы видели уже, как твердо держался он того «великого положения», что «все предметы потребления стоят труда и только труда». Стоя на этой точке зрения, Родбертус разрушал, как карточные домики, аргументы экономистов, стремившихся доказать, что «рента вообще» обязана своим существованием не труду работников, а производительным «услугам» почвы и капитала. С этой стороны, навсегда останется неоспоримой заслуга его, как писателя, много способствовавшего распространению здравых экономических понятий. Но признание труда единственным источником материального богатства общества не предохранило Родбертуса, как и многих других экономистов, от некоторой неясности в понятии о меновой стоимости.

Так, например, он говорит в одном из писем к Вагнеру, что «потребительная стоимость представляет собою сущность понятия о стоимости», и что «из понятия о потребительной стоимости мы выводим так называемую меновую стоимость». «*Существует только один род стоимости*, — говорит он далее,—*стоимость потребительная*. Противопоставлять ему меновую стоимость, как другой род стоимости, значит делать

логическую ошибку. Но эта единая потребительная стоимость является или в виде индивидуальной или в виде *социальной* потребительной стоимости. Первая определяется потребностями индивидуума, без всякого отношения к общественной организации. Вторая — потребительная стоимость по отношению к общественному организму, состоящему из многих индивидуальных организмов... Она становится меновою стоимостью лишь путем исторического развития и, следовательно, переходящим образом». В настоящее время «социальная потребительная стоимость необходимо должна принять вид меновой стоимости, но на следующей ступени общественного развития весь этот маскарад прекращается, продукты не будут уже обмениваться на рынке, социальная потребительная стоимость выступит во всей ее чистоте» [1]).

Как видит читатель, Родбертус развивает в этом письме одну из любимейших своих идей, необходимость «строгого отделения логических категорий от исторических». Имеет ли это противопоставление такой глубокий смысл, какой усматривал в нем наш автор, это мы увидим ниже, перейдя к учению его о капитале. Теперь же мы заметим, что ради «отделения» различных родов категорий Родбертус отказался от точного *определения* понятий о меновой и потребительной стоимости. Сказать, что не было и не будет *меновой* стоимости там, где не было и не будет *обмена* продуктов,—значит высказать очень верную мысль, которая представляет собою, однако, не более как тавтологию. Заключать же отсюда, что «существует только один род стоимости»,—значит погрешать против того самого «великого положения Смита и Рикардо», которое легло в основание всей теории Родбертуса. И Смит и Рикардо говорили о труде именно как об источнике меновой стоимости продуктов. Им и в голову не приходило, что можно признавать справедливость их «великого положения» и в то же время отождествлять меновую стоимость продуктов с их «социальною потребительною стоимостью». Они сказали бы, что, конечно, производство должно иметь в виду удовлетворение известной общественной потребности, так как вне этого условия продукты не могут стать товарами; но не все удовлетворяющие общественным потребностям продукты имеют одинаковую меновую стоимость. Меновая стоимость алмаза несравненно больше меновой стоимости хлеба, несмотря на то, что хлеб удовлетворяет одну из самых насущнейших «социальных потребностей», а алмазы служат

[1]) „Zeitschrift für die ges. Staatswissensch.", I u. II Heft. 1878. S. 222—3—4.

почти единственно для украшения. Говоря о потребительной стоимости продукта, мы имеем в виду ту услугу, которую оказывает этот продукт целому обществу или отдельному человеку; между тем как меновая его стоимость определяется, по прекрасному выражению Маркса, тою услугою, которая была оказана самому продукту в процессе его производства. Никому не придет мысль определять меновую стоимость машины тем количеством труда, которое она *сберегает* в производстве; а ведь это количество труда и представляет собою «социальную потребительную стоимость машины». Если бы меновая стоимость машин определялась их социальною потребительною стоимостью, то какой смысл имело бы их употребление? Капиталист должен был бы платить за них именно то количество труда, которое они сберегают в производстве, и применение их было бы делом каприза, а не экономической выгоды. «Социальная потребительная стоимость» не только не «является теперь в виде меновой стоимости», но представляет собою совершенно отличное от нее понятие.

«Историческое развитие» совсем не ведет к превращению одного рода стоимости в другой, а только к превращению продуктов в товары. Из этого хода «исторического развития» можно сделать лишь тот вывод, что продукты не всегда бывают товарами и что не всякое производство продуктов есть производство меновых стоимостей. Если бы Родбертус ограничился этим выводом, то он не стал бы заботиться о способах определения меновой стоимости в «будущем всемирно-историческом периоде», характерную особенность которого составляет, по его учению, отсутствие товарного производства. Тогда рассуждения его о «будущем периоде» не противоречили бы его понятию о меновой стоимости, как «исторической категории». Но, не выяснивши себе разницы между продуктом и товаром, Родбертус попадает в целый ряд самых удивительных противоречий. С одной стороны, он упрекает Рикардо и Маркса в том, что они «приняли тяготение меновой стоимости к известной норме за достижение этой нормы», т.-е. что они ошибочно думают, будто меновая стоимость продуктов уже в настоящее время определяется воплощенным в них трудом.

Он говорит, что эта «естественная норма» может быть достигнута меновою стоимостью только в «будущем периоде». С другой стороны, он утверждает, что в этом периоде прекратится маскарад, благодаря которому социальная «потребительная стоимость превращается в меновую, так что последняя исчезнет, как преходящая «историческая категория», а первая «выступит во всей ее чистоте». Выходит, что воплo-

щенным в продуктах трудом будет определяться их «социальная потребительная стоимость», и что Рикардо и Маркс ошибались, считая воплощенный в продуктах труд «естественной нормой» их *современной* «социальной потребительной стоимости». Но ни Рикардо, ни Маркс никогда, разумеется, и не думали утверждать чего-либо подобного. «Ошибались» не они, а Родбертус, которому пришла охота оспаривать у Прудона сомнительную честь измышления особого рода стоимости, так называемой «valeur constituée». Но Прудон был последователен, по крайней мере, в том отношении, что, даря человечеству свое мнимое изобретение, он рекомендовал ему в то же время навсегда удержать товарное производство и обращение. Зачем понадобилась «valeur constituée» Родбертусу, который никогда не думал переносить в свой «будущий период» современного производства товаров,—понять решительно невозможно. Для чего определять меновую стоимость товаров там, где продукты не принимают товарной формы? Как видно по всему, под меновою стоимостью продуктов будущего «всемирно-исторического периода» Родбертус понимает просто издержки их производства. Но в таком случае упрек, делаемый им Рикардо и Марксу, окончательно утрачивает всякое значение. Они оказываются виновными в непонимании того, что только в «будущем периоде» меновая стоимость продуктов, т.-е. издержки их производства, будут равняться воплощенному в них труду, т.-е. издержкам их производства. Такие упреки едва ли могут повредить ученой репутации Рикардо и Маркса.

Как это ни странно, но путаницей Родбертус обязан именно своему излюбленному приему противопоставления «логических категорий» историческим. Как создавались в его уме понятия о «логических категориях в экономической науке», наглядно показывает учение его о капитале. «Капитал сам по себе, капитал в логическом или национально-хозяйственном смысле этого слова, есть продукт, предназначенный для дальнейшего производства... предварительно совершенный труд. По отношению же к прибыли, которую он должен приносить, или с точки зрения современного предпринимателя, он должен явиться в виде издержек предприятия, чтобы быть капиталом. Таким образом, современный исторический капитал обнимает собою стоимость материала, орудий труда и заработной платы» [1]). Содержание понятия об историческом капитале различно в различные исторические эпохи. В античном обществе сами рабочие являются составною частью капитала, в «будущем периоде» все

[1]) „Zur Beleucht. etc.“, B. I, S. 98.

средства производства перейдут в распоряжение общества так, что исторический капитал сольется с «капиталом в логическом смысле этого слова»: он явится в виде продукта, предназначенного для дальнейшего производства, а не в виде «издержек частного предпринимателя». Из этого определения «капитала, в логическом смысле этого слова», видно, во-первых, что до сих пор он существовал только в головах экономистов, и что понятие о нем получит реальное значение лишь в более или менее отдаленном будущем, вследствие отождествления Ормузда с Ариманом, исторического капитала с логическим. Из него следует далее, что до понятия о «логическом капитале» экономисты достигают, лишая понятие «об историческом капитале» некоторой части его содержания. Какой именно? Это зависит от того, к какому направлению принадлежит экономист, производящий эту «логическую» операцию. Родбертус, например, думает, что понятие о заработной плате, как части «логического капитала», противоречило бы «современному правовому положению работника». Поэтому он относит ее к категории дохода и понимает под «капиталом в логическом смысле этого слова» лишь материал и орудия труда. Другие экономисты и на рабочего смотрят, как на «машину, на постройку которой был затрачен известный капитал, начинающий приносить проценты с тех пор, как машина становится полезным работником в производстве» (Флорез Эстрада). Эти «ученые» рассматривают вещи, как они существуют de facto, и не заботятся о разладе наших юридических понятий с печальной действительностью. Они сказали бы, что понятие о логическом капитале уже в настоящее время совершенно совпало с понятием об историческом капитале, так что «будущий период» может уже не заботиться о заключении мира между Ормуздом и Ариманом. Разногласия эти могли бы подать повод к самым ожесточенным и продолжительным спорам, которые нисколько не уяснили бы, однако, наших понятий о капитале в каком угодно смысле этого слова. Они остались бы бесплодными по той простой причине, что сами спорящие стороны, несмотря на кажущуюся тонкость их определений, не знали бы хорошенько, о каком значении «капитала» идет речь, рассматривают ли они его с технической или общественно-экономической точки зрения.

В самом деле, по смыслу предлагаемого Родбертусом определения, кремневый топор и кожа убитого дикарем зверя являются таким же «капиталом в логическом смысле этого слова», как и хлопчатая бумага и паровые машины современного фабриканта. Кремневый топор есть такой же «продукт, предназначенный для дальнейшего производства»,

как и паровая машина. С точки зрения процесса производства определение это справедливо: орудия и материалы труда всегда играют одинаковую роль в этом процессе. Но общественные отношения, среди которых совершается этот процесс производства, далеко не одинаковы на различных ступенях общественного развития. Возьмем, для примера, отношение «продукта, предназначенного для дальнейшего производства», к самому производителю. Современный пролетарий порабощается машиной, между тем как дикарь, которого европеец презрительно называет фетишистом, не мог бы и вообразить себя в зависимости от своего собственного орудия труда. Дикарь *эксплоатирует* средства производства, современный же рабочий, напротив, *эксплоатируется* ими. Теперь уже не «капитал» существует для удовлетворения потребности трудящихся, а трудящийся существует ради удовлетворения потребностей капитала—создания так назыв. прибавочной стоимости. «Капитал» был *вещью* для дикаря; он является в виде *общественного отношения* для современного работника. Определяем ли мы хоть сколько-нибудь это отношение, говоря, что «капитал есть предварительно совершенный труд»? Нисколько: наше определение касается только роли «капитала» в процессе производства, внутри фабрики или мастерской. Чтобы пополнить его, мы должны были бы прибавить, что этот «продукт предварительного труда» господствует над трудом настоящего времени, что «мертвый схватывает живого», как говорят французы. Но и этого мало. Нам нужно было бы сказать еще, что целью этого господства является производство прибавочной стоимости, которая под различным соусом подается различным представителям господствующего класса. В этом смысле и употребляли слово «капитал» экономисты классики. Только они переносили современные им понятия на все фазисы общественного развития и полагали, что средства производства всегда играли одинаковую роль, что «продукт, предназначенный для дальнейшего производства», всегда приносил прибыль своему обладателю. Они не делали различия между средствами производства и капиталом по той же причине, по которой большинство их не могло себе представить продукт иначе, как в виде товара. Как меновая стоимость казалась им непременным свойством всякого продукта, так и «продукт, предназначенный для дальнейшего производства», всегда обладал, по их мнению, способностью приносить прибавочную стоимость, т.-е. процент и прибыль. Родбертус, лучше их знавший экономическую историю европейских обществ, понимал, что обычное представление о капитале справедливо только по отношению к буржуазному ее периоду. Он старался избежать

неудобств принятой экономистами терминологии, установляя различие между историческими и логическими категориями, между капиталом в логическом и капиталом в историческом смысле этого слова. Первым термином он обозначал средства производства, вне всякой связи их с общественными отношениями людей, вторым — он хотел выразить именно эти общественные отношения. Но для него самого не было еще ясно, когда и при каких условиях «капитал в историческом смысле этого слова» может выражать собою общественные отношения производства. Критерием для определения различных видов исторического капитала он взял чисто юридический признак: бо́льшую или меньшую широту сферы частной собственности. Характеристическим признаком античного исторического капитала является у него то обстоятельство, что сами трудящиеся представляют собою об'ект собственности. С этой точки зрения исчезает всякое различие между античным историческим капиталом и капиталом американских рабовладельческих штатов. Однако сам Родбертус не согласился бы уподобить римского землевладельца американскому плантатору, хозяйство которого было обставлено совершенно иными условиями. Попытка Родбертуса установить различие между историческими и логическими категориями есть не более, как неудавшаяся попытка понять и формулировать ту особенность товарного способа производства, благодаря которой «общественные отношения людей являются в виде общественного отношения вещей». Если бы для него была ясна эта особенность, то он не стал бы обозначать одним и тем же термином «капитал» два совершенно различных понятия: о «продукте, предназначенном для дальнейшего производства»—с одной стороны, и об общественных отношениях производства, выразителем которых является этот «продукт»,—с другой. Он понял бы далее, что эта двойственность характеризует только буржуазную эпоху общественного развития, и не стал бы искать ее в античном обществе, где товарное производство существовало только в зачаточном состоянии. Тогда в его терминологии не было бы тех странностей, которые мы видим в ней теперь; она не допускала бы отождествления совершенно несходных понятий и не допускала бы для античного и современного общества двух «капиталов»: «логического», к которому относится «продукт, предназначенный для дальнейшего производства», и «исторического», который заключает в себе тот же «продукт» с «прибавкой», в первом случае, рабов, во втором—«стоимости заработной платы». Тогда «капитал в логическом смысле этого слова» был бы назван им просто средствами производства;

капиталом же эти средства производства явились бы для него лишь в известную эпоху общественно-экономического развития, когда посредством их эксплоатируется труд работника с целью производства прибавочной стоимости, и когда рабочая сила сама является товаром, продаваемым в розницу различным предпринимателям.

XV.

От стоимости и капитала перейдем теперь к другим частям теории Родбертуса, к учению его о кризисах и пауперизме, о поземельной ренте и о способах устранения «недостатков современной общественной организации». Читатель помнит, что все ее недостатки Родбертус сводит к одному «коренному недостатку»: постоянному уменьшению заработной платы, как части продукта. Этим обусловливается как обеднение рабочего класса, так и периодически возвращающиеся торговые кризисы. «Причина кризисов заключается единственно в несоответствии покупательной и производительной силы,—говорит он.—Покупательная сила есть не что иное, как участие в пользовании результатами производительной силы или в национальном доходе. Она отстает от производительной силы, потому что не регулировано пользование результатами этой последней» [1]). Регулируйте пользование этими результатами, и пауперизм исчезнет вместе с торговыми кризисами. Уже этого предполагаемого Родбертусом результата достаточно, чтобы обратить на его учение о кризисах самое серьезное внимание.

Учение это указывает, по нашему мнению, только на некоторые из элементов, обусловливающих возникновение и интенсивность торговых кризисов, но не рассматривает этого явления в исторической связи его с экономическим развитием общества. Торговые кризисы представляют собою явление гораздо более новое, чем понижение уровня заработной платы, как части продукта. По словам самого Родбертуса, заработная плата падает уже в течение пяти столетий, между тем как торговые кризисы являются характеристическим признаком общественного хозяйства только в XIX веке. Ясно, что одним понижением уровня заработной платы их об'яснить невозможно. Притом же хотя кризисы и понижение уровня заработной платы и находятся в тесной связи друг с другом, но связь их не может быть названа причинною: низкий уровень заработной платы так же точно предполагает существование кризисов,

[1]) „Zur Erkenntniss etc “, S. 29.

как существование кризисов предполагает низкий уровень заработной платы. Оба эти явления представляют собою следствия глубже лежащей причины. Понижение рабочей платы до уровня насущнейших потребностей рабочего обусловливается тем обстоятельством, что с развитием капиталистического способа производства часть рабочего класса постепенно обращается в «относительно излишнее население», которое своею конкуренцией понижает заработок всех рабочих стран. Ход капиталистического накопления имеет, как показал Маркс, ту особенность, что отношение между постоянным и переменным капиталами все более и более изменяется в пользу первого. «Если первоначально это отношение равнялось 1 : 1, то постепенно оно становится равным 2 : 1, 3 : 1, 4 : 1 и т. д., так что при дальнейшем росте капитала уже не половина его идет на покупку рабочей силы, а только $^1/_3$, $^1/_4$, $^1/_5$ и т. д. А так как спрос на труд зависит не от общей суммы капитала, а от переменной его части, то он прогрессивно уменьшается с возрастанием общих размеров капитала. Капиталистическое накопление создает, и притом в прямом отношении к своему об'ему и энергии, относительно, т.-е. для средних потребностей капитала, не нужное, а потому и излишнее рабочее население» [1]). Но, ненужное для средних потребностей капитала, «относительно излишнее рабочее население» составляет в то же время необходимое условие существования крупной промышленности. Не говоря уже о том, что оно понижает уровень заработной платы и тем «приковывает рабочих к капиталу», не говоря уже об этой «услуге» относительно излишнего населения, оно становится необходимым всякий раз, когда кризисы сменяются оживлением промышленной деятельности. Чтобы вознаградить себя за временные потери, предприниматели должны расширить размеры производства, а для этого нужно иметь под рукой незанятых рабочих. «Излишнее население служит резервной армией, пускаемой в дело в разгар промышленной горячки. Но оживление сменяется застоем, горячка ведет к кризису, и действующая армия рабочих снова доводится до минимума, остальные же остаются свободными и голодают в ожидании «лучшего будущего». Правильная смена периодов оживления, промышленной горячки, кризисов и застоя, «этот своеобразный жизненный ход современной промышленности, не встречающийся ни в одном из предшествующих фазисов развития человечества, был невозможен также и в детском периоде капиталистического способа производства. Взаимное отношение составных частей ка-

[1]) Das Kapital. S. 615–616.

питала изменялось лишь мало-по-малу. Его накоплению соответствовало, в общем, относительное возрастание спроса на труд... Внезапное расширение производства предполагает внезапное его сокращение; последнее снова вызывает первое, но первое немыслимо без существования свободного контингента работников, без возрастания числа их, помимо абсолютного увеличения народонаселения» [1]).

Таким образом, кризисы немыслимы без существования «относительно излишнего населения» по той простой причине, что только это население дает возможность расширить производство до той степени, на которой кризис становится неизбежным. С другой стороны, неизбежность кризисов обусловливается общим ходом развития крупной промышленности и служит самым наглядным доказательством неспособности буржуазии распоряжаться созданными ею самою производительными силами. «Участие в пользовании результатами производительных сил» никогда не было «регулировано» в буржуазном обществе, но только крупная машинная промышленность до такой степени увеличила эти силы, что они стали в противоречие с данным способом производства. Возрастание производительных сил требует расширения рынков; но чем более расширяются рынки, тем труднее становится для каждого отдельного предпринимателя следить за всеми колебаниями спроса и предложения. Каждый предприниматель не может действовать иначе, как ощупью, тем не менее он должен спешить доставить на рынок возможно большее количество продуктов, если он не хочет упустить благоприятный момент и быть опереженным своими конкурентами. Некоторое время доставляемые на рынок продукты находят себе сбыт, и тогда производительные силы разных стран обнаруживают все свое могущество. Но вслед за тем рынки переполняются товарами, спрос отстает от предложения, и промышленная горячка сменяется кризисом. Находящиеся на рынке продукты являются излишними, конечно, только в относительном смысле этого слова. Мы видели уже, что рабочее население терпит страшную нужду именно в то время, когда товары не находят себе сбыта. Но капиталиста интересуют не общественные потребности, а так называемый «действительный спрос», т.-е. спрос, опирающийся на покупательную силу. По справедливому замечанию одного экономиста, даже во время голода хлеб ввозится в страну не потому, что население голодает, а потому, что предприниматель надеется получить прибыль. Чтобы иметь возможность покупать переполняющие рынки то-

[1]) Ibid., S. 619.

вары, рабочие должны иметь заработок, а заработок они могут иметь только в том случае, когда предприниматель рассчитывает обратить труд их в прибавочную стоимость. Во время кризисов он лишается этой надежды, поэтому товары гниют в складах, производительные силы общества остаются без всякого почти приложения, а рабочие превращаются в нищих. Будучи употреблены в дело в широких размерах, производительные силы капиталистического общества приводят в полное расстройство весь ход его экономической жизни и наполняют ее целым рядом самых нелепых противоречий. Ясно, что механизм этой жизни не соответствует более состоянию производительных сил общества и нуждается в перестройке. Но предлагаемый Родбертусом план этой перестройки так же односторонен, как и учение его о причине кризисов. Если, по справедливому замечанию Энгельса, «недостаточное потребление рабочих классов так же мало говорит нам о причинах появления кризисов в настоящее время, как о причинах отсутствия их в прошлом» [1]), то увеличение покупательной силы этого класса не может считаться радикальным средством устранения кризисов. Причина кризисов лежит в несоответствии капиталистического способа производства с современным состоянием производительных сил общества. Только приведя организацию производства в соответствие с состоянием производительных сил, можно уничтожить этот «бич, терзающий даже капитал». Но, чтобы установить это соответствие, недостаточно «регулировать пользование результатами производительных сил». Для этого нужно «регулировать» самое производство, поставивши его под контроль общества. Тогда, вместе с другими противоречиями капитализма, торговые кризисы отойдут в область истории, и человечество войдет в новый период своего развития, в котором продукт не будет более господствовать над производителем. При всей плодотворности усвоенного им исторического метода экономических исследований, Родбертус так же не выяснил окончательно исторического значения кризисов, как не усвоил он вполне точных и законченных понятий о меновой стоимости, капитале и товарном производстве.

XVI.

Закравшиеся в его учение о стоимости противоречия послужили главным основанием ошибочных представлений его о поземельной ренте. Исходным пунктом его учения о ренте является вопрос о значе-

[1]) „Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft" S. 238

нии материала в земледельческих и промышленных предприятиях. «То, что входит в понятие о материале в фабричных предприятиях, или совершенно отсутствует в земледелии, или составляет продукт собственного хозяйства, а потому совсем не требует издержек или требует их в очень ограниченных размерах. В земледелии сама почва заступает место материала» [1]). Читатель знает уже, какие выводы делал Родбертус из этого обстоятельства. Он был убежден, что его теория ренты неопровержима, и что если бы Рикардо оставался верен своему учению о стоимости, то непременно пришел бы к тем же выводам. Но, по смыслу учения Рикардо, меновая стоимость продуктов не всегда определяется единственно количеством труда, затраченного на их производство. Правило это «значительно изменяется,—говорит он,—вследствие употребления машин и другого рода постоянного и медленно обращающегося капитала» [2]). Рикардо не говорит, правда, о влиянии различий в стоимости материала. Но, раз допустивши изменение коренного своего положения ввиду неодинаковой стоимости орудий труда, он должен был признать возможность такого же изменения ввиду различной стоимости материала. И он несомненно признал бы это изменение, если бы не усмотрел каких-нибудь новых факторов, устраняющих влияние различной стоимости материала в различных предприятиях. По замечанию г. Зибера, к числу таких факторов должна быть отнесена практикуемая предпринимателями система взаимного кредита, благодаря которой переход продуктов из одной отрасли производства в другую не представляет уже «непрерывного ряда продаж и покупок», требующих немедленной расплаты и потому увеличивающих издержки предприятий. Стоимость материала не входит в таком случае в эти издержки и не влияет на уровень прибыли. Потребитель выплачивает, конечно, стоимость материала предпринимателя. Но он выплачивает ее в размере труда, затраченного на производство материала; и каждый отдельный предприниматель получает ту часть этой стоимости, которая соответствует труду его рабочих. Вследствие этого стоимость материала не может влиять на высоту уровня прибыли в различных предприятиях. Замечательно, что Родбертус, который не принял во внимание влияния указанного фактора, сам должен был признать, что общий закон меновой стоимости несколько изменяется вследствие неодинаковой стоимости материала в различных предприятиях. «Принятый Рикардо и Мак-Куллохом закон

[1]) „Zur Erklärung etc der Kreditnoth.“ I Th., S. 123.

[2]) Works, p. 20.

меновой стоимости изменяется,—говорит он,—в настоящее время под влиянием другого закона, по которому прибыль стремится к равному уровню во всех предприятиях. На этом основании он и допускает, что меновая стоимость продуктов тех предприятий, которые обрабатывают более дорогой материал, несколько превышает количество труда, затраченного на их производство» [1]). В своем учении о ренте он забывает сказанное им в учении о стоимости и упрекает при этом Рикардо в непоследовательности. А между тем единственно его собственной непоследовательности обязана своим существованием его поземельная рента. Из двух воззрений он должен был остановиться на каком-нибудь одном: он должен был или признавать, или отрицать изменение общего закона о меновой стоимости под влиянием стремления прибыли к одинаковому уровню во всех предприятиях. В первом случае его поземельная рента не может иметь места потому, что стоимость фабричных продуктов несколько превышает количество труда, затраченного на их производство, стоимость же земледельческих продуктов опускается ниже этой нормы, так как фабричная деятельность нуждается в более дорогом материале, чем земледелие. Благодаря этому отклонению меновой стоимости от обычной ее нормы, уровень прибыли будет одинаков во всех предприятиях, и составляющий поземельную ренту остаток прибыли земледельческих предприятий будет равняться нулю. Во втором случае Родбертус, действительно, мог с грехом пополам доказать, что земледельческие предприятия должны приносить сверх обычной прибыли еще известный остаток в виде поземельной ренты. Но, оставаясь последовательным, он должен был притти к тому неизбежному выводу, что подобный же остаток дают и фабричные предприятия. Так, например, несомненно, что ткацкая фабрика нуждается в более дорогом материале, чем бумагопрядильня, потому что первая подвергает дальнейшей обработке продукт, изготовленный второю. Повторяя известное читателям рассуждение Родбертуса, мы придем к тому заключению, что, при прочих равных условиях, бумагопрядильня должна принести более высокую прибыль, чем ткацкая фабрика. Но так как в стране не может быть двух различных уровней прибыли, то приносимый бумагопрядильней доход распадается на две части: обычную прибыль предприятия и еще некоторый остаток, соответствующий поземельной ренте в земледелии. Как назвать этот остаток? Поступит ли он в распоряжение предпринимателя? Но это противоречило бы «закону равного уровня прибыли во всех

[1]) „Ср., Zur Erkenntniss unserer staatsw. Zustände", S. 160—161.

предприятиях». Или он отойдет каким-нибудь другим лицам, существования которых не подозревала до сих пор экономическая наука и не обнаружила практическая жизнь? Разумеется, нам нет основания думать, что наша прядильная рента будет явлением исключительным. Количество видов нового рода ренты будет так же бесконечно велико, как бесконечно различна стоимость материала в различных предприятиях. Разнообразие ее видов увеличивается еще вследствие неодинаковой стоимости орудий труда в различных отраслях производства. Если, при прочих равных условиях, одно предприятие нуждается в более дорогих машинах, чем другое, то *уровень* прибыли не может быть одинаков в этих предприятиях. Поэтому фабрикант, употребляющий более дешевые машины, сверх обычной прибыли, получит еще известный доход в виде ренты. Его, конечно, будут мучить угрызения совести, так как он нарушит «закон равного уровня прибыли», удерживая свою ренту. Но пока последователи Родбертуса не укажут ему, как распорядиться с этой рентой, он не будет в состоянии снять с души своей это тяжелое бремя. Читатель видит, что теория поземельной ренты Родбертуса приводит к абсурду. И это совершенно понятно, потому что наш автор исходит в своем учении о ренте частью из совершенно произвольных и недоказанных положений, частью из явления слишком общего для того, чтобы оно могло об'яснить существование социальной категории дохода. Он совершенно неправ, говоря, что материал «или совершенно отсутствует в земледелии, или составляет продукт собственного хозяйства», а потому и не входит в понятие об издержках производства. К таким «продуктам собственного хозяйства» относит он семена и удобрение. Но разве сельский хозяин не относит употребленного на обсеменение полей хлеба к издержкам производства? Разве не вычитает он стоимости этого хлеба из валового дохода имения при определении своей чистой прибыли? Когда, в случае неурожая, он теряет надежду на получение прибыли и заботится только о покрытии своих издержек, разве согласится он признать, что обсеменение полей ему ничего не стоило? Наконец, употребление для посева своего или покупного хлеба зависит не от общих законов земледелия, а от случайных расчетов сельского хозяина. Он может продать весь свой яровой хлеб осенью, в надежде купить семена весной. В таком случае и сам Родбертус не отказался бы, конечно, отнести эту покупку к издержкам производства. Можно ли строить теорию поземельной ренты на таком основании? Если семена и удобрение не входят в понятие об издержках производства на том основании, что «они составляют продукт собственного хозяйства», то зачем же относить к

этим издержкам содержание рабочего? Известно, что земледельческие рабочие гораздо чаще фабричных получают от хозяина помещение и пищу, при чем последняя почти исключительно состоит «из продуктов собственного хозяйства». Почему бы не выводить принципа земельной ренты, между прочим, и из того обстоятельства, что сельский рабочий получает свою плату «натурой»? Тогда было бы еще яснее, что земледельческие предприятия должны приносить более высокую прибыль, так как понятие об их издержках ограничивалось бы главным образом орудиями труда и не распространялось бы даже на заработную плату.

К сожалению, всякое исследование о распределении дохода в капиталистическом обществе должно иметь в виду не натуральное, а денежное хозяйство, в котором каждый продукт имеет меновую стоимость. Зная рыночные цены, сельский хозяин имеет полную возможность оценить и отнести к своим издержкам даже те из «продуктов, предназначенных для дальнейшего производства», которые обязаны своим существованием его собственному хозяйству. Таким образом речь может итти не об «отсутствии» или «присутствии» материала в земледелии, а только о величине его *стоимости,* которая, как мы видели, различна в различных отраслях производства. И если мы не хотим признать существования особого рода ренты во всех отраслях, употребляющих дешевый материал, то мы должны согласиться, что дешевизна земледельческого материала не об'ясняет еще происхождения поземельной ренты. Да и можно ли с уверенностью сказать, что *все* отрасли фабричных предприятий нуждаются в более дорогом материале, чем земледелие? Мы полагаем, что вопрос этот остается пока открытым.

Другие возражения Родбертуса против теории ренты Рикардо так же неосновательны, как и только что рассмотренное. Так, например, предложенную им «задачу» последователи Рикардо могли бы решить в утвердительном смысле, нисколько не противореча основным положениям своей теории, хотя нужно заметить, что все подобного рода «задачи» напоминают собою уравнение со многими неизвестными, потому что условия их никогда не определяются надлежащим образом. Как помнит читатель, в «задаче» Родбертуса речь идет о круглом острове, в центре которого находится город, служащий для сбыта земледельческих продуктов. Каждое из имений этого острова «простирается от городских стен до берегов» и, заключая в себе «около 5.000 магдебургских моргенов», имеет фигуру сектора. Будет ли существовать здесь поземельная рента?—спрашивает Родбертус. Ответить на этот вопрос можно только, принимая в соображение доходность различных участ-

ков каждого данного имения. Посмотрим же, будет ли она одинакова для всех участков. В каком бы пункте внутри имения ни лежал «хозяйский двор», участки не могут находиться на одинаковом от него расстоянии, потому что имение представляет собою фигуру сектора, а не круга. А, между тем, расстояние это играет важную роль в вопросе о доходности участков. С возрастанием его, уменьшается доходность участка, несмотря на то, что, по условиям задачи, почва острова повсюду отличается одинаковым плодородием. При прочих равных условиях, отдаленные участки будут приносить меньший доход, и если потребности населения вынудят взяться за их обработку, то ближайшие участки, сверх обычной прибыли, дадут еще поземельную ренту. Величина этой ренты будет одинакова в каждом из имений секторов, так как они представляют собою не только *подобные*, но и равные фигуры. Решив в этом смысле предложенную им задачу, последователи Рикардо могли бы воспользоваться ею, как оружием против самого Родбертуса. Они могли бы сослаться на удовлетворительное решение ее, как на доказательство того, что теория Рикардо имеет в виду не только различную величину «поземельной ренты», но и самый ее *принцип*. Что касается «колебаний уровня прибыли, случающихся раза два в год», то, вопреки мнению Родбертуса, явление это не может служить аргументом против теории Рикардо. Поземельные участки сдаются, по меньшей мере, на год. Каковы бы ни были колебания прибыли в течение года, арендатор легко может определить средний ее уровень, который и послужит нормой его дохода. Он согласится платить ренту только за те участки, которые приносят доход, превышающий средний уровень прибыли. При долгосрочном контракте он окажется, конечно, в проигрыше, если обычный уровень прибыли возвысится. Возможность проигрыша арендатора есть единственное заключение, к которому можно притти ввиду продолжительных колебаний уровня прибыли. Но опровергает ли это заключение теорию Рикардо? Мы этого не думаем. Из всей теории поземельной ренты Родбертуса должно быть признано справедливым только учение его о производительности земледельческого труда. Это учение проливает новый свет на распределение национального дохода. Но, по словам самого Родбертуса, оно не касается *сущности* теории Рикардо. Возрастание производительности земледельческого труда не устраняет, или, по крайней мере, до сих пор не устранило различий в степени плодородия участков.

XVII.

Нам остается сделать несколько замечаний относительно «практических предложений» Родбертуса. Выше мы говорили уже, под какими «практическими» влияниями находится Родбертус как реформатор. Он выступает перед нами в этих планах не столько в качестве беспристрастного ученого, сколько в качестве померанского помещика, никогда не теряющего из виду связи интересов землевладения с интересами капитала. Взглянем теперь на его «планы» с точки зрения их осуществимости. Теоретическим центром тяжести всех его планов является установление нового «мерила стоимости», замена денег-товара «простыми билетами». На эту меру опираются все другие предложения Родбертуса, и хотя практическое осуществление некоторых из них возможно, по его мнению, и при современном денежном хозяйстве, но он категорически заявляет, что только введение нового «мерила стоимости» дало бы прочность и законченность предлагаемой им реформе. Он совершенно прав в этом отношении: планы его утрачивают всякое практическое значение для того, кто считает ошибочной основную его посылку. Поэтому мы и обратимся к оценке ее теоретического и практического значения.

Учение Родбертуса о «рабочих деньгах» тесно связано с учением его о стоимости, которое было далеко не безошибочным. Он утверждает, что идея прудоновской «valeur constituée» принадлежит ему, так как он ее высказал несколькими годами ранее Прудона. Действительно, мы находим ее уже в сочинении его «Zur Erkenntnis etc.», вышедшем в 1842 году. Но в то время она была далеко не нова. Еще в 1831 году английский писатель Джон Грэй выработал проект национального банка, который, имея отделения во всей стране, выдавал бы производителям, в обмен на их продукты, свидетельства, с обозначением рабочего времени, затраченного на изготовление этих продуктов. Пред'явители таких свидетельств получали бы из складов банка соответствующее количество товаров, обращение которых совершалось бы, таким образом, без посредства нынешних денег. Грэй так верил в практичность своего плана, что после февральской революции представил временному французскому правительству записку, в которой доказывал, что Франция нуждается не в «организации труда», а в «организации обмена» [1].

[1] См. „Zur Kritik der politischen Oekonomie", von Karl Marx, Berlin 1856, S. 61.

Как видит читатель, в «практических предложениях» Родбертуса целиком повторялись идеи Грэя, с тою, впрочем, разницею, что наш автор, кроме «организации обмена», предлагал еще законодательное регулирование заработной платы. Но это различие не могло придать более веса основным его положениям. Он повторил в них ту же ошибку, которую ранее его сделал Грэй, а после Прудон, и которая состояла, по выражению Маркса, в «элементарном непонимании необходимой связи между товаром и деньгами». Товары представляют продукт индивидуальных производителей, так что воплощенный в них труд есть *индивидуальный*, а не *общественный*. Меновая же стоимость продуктов определяется *общественно-необходимым* трудом, затраченным на их производство. Чтобы знать меновую стоимость продукта, мы должны, следовательно, знать, как относится воплощенный в нем индивидуальный труд к труду «общественно-необходимому». В настоящее время отношение это определяется в процессе товарного обращения. Необходимым следствием обращения продуктов в товары является превращение одного из товаров в деньги, во «всеобщий эквивалент», в различных количествах которого все другие товары выражают свою меновую стоимость. Товар-деньги становятся, таким образом, «воплощением общественного рабочего времени» в противоположность всем другим товарам, как воплощению индивидуального рабочего времени различных производителей. Отношением каждого отдельного товара ко всеобщему товару-деньгам и выражается отношение индивидуального рабочего времени к общественному.

По проекту Родбертуса, это последнее отношение определяется в самом производстве. Путем опыта государство находит среднюю производительность труда в каждом из бесчисленных его отраслей. Таким образом приводится в известность общественное рабочее время, необходимое на производство каждого отдельного продукта. Стоимость продуктов определяется именно этим общественным временем, независимо от того, каких усилий потребовало производство их от данного индивидуума. Но воплощенный в продуктах труд становится общественно-необходимым трудом только в том случае, если они удовлетворяют известные общественные потребности. Будучи произведены в излишнем количестве, продукты перестают соответствовать потребностям общества. Время, затраченное на производство излишних продуктов, есть просто даром потерянное время. А так как ни один производитель не пользуется на рынке какими-нибудь преимуществами перед другими, то потеря эта распределяется между ними пропорционально количеству произведенных ими продуктов. Только часть труда, воплощенного в каждом

из их продуктов, признается на рынке трудом общественно-необходимым. «Рыночная цена» продуктов опускается ниже «естественной цены» их, как сказал бы Рикардо, и предприниматели сокращают свое производство до тех пор, пока оно не придет в равновесие с потребностями общества. Колебание рыночных цен регулирует, таким образом, производство. Чем думает заменить этот регулятор Родбертус? Должны ли товары иметь, по его проекту, кроме «конституированной стоимости», еще и рыночную цену, или, правильнее, развивается ли первая во вторую? Конечно, нет; весь секрет «valeur constituée» именно в том и состоит, что она устраняет различие между ценою и стоимостью продуктов. Родбертус забывает при этом, что «различие между ценою и стоимостью есть не номинальное только различие», что «в нем концентрируются все те невзгоды, которые грозят товару в действительном процессе обращения» [1]). Устранить его можно только с устранением самого товарного производства, т.-е. путем такой организации производства, в которой продукты не будут иметь ни цены, ни стоимости по той простой причине, что они не будут товарами. Но при такой организации производства сама «valeur constituée» не имела бы ни малейшего смысла. Чтобы быть последовательным, Родбертусу ничего не оставалось, как отказаться от «принадлежащей ему» идеи «конституированной стоимости» и стремиться к новой, планомерной организации всего производительного механизма, в которой не имела бы места современная противоположность между индивидуальным и общественным рабочим временем. Сама логика вещей привела к этому его предшественника Грэя, который «отрицает», по словам Маркса, одно за другим условия буржуазного производства, хотя и предполагает ограничить свою «реформу» деньгами. Так, он обращает капитал в *национальный* капитал, поземельную собственность—в национальную собственность, и если внимательнее приглядеться к его банку, то окажется, что этот последний не только одною рукою получает товары, а другою выдает свидетельства с обеспечением затраченного труда, но регулирует и самое производство [2]). Читатель помнит, однако, что, предлагая государству осуществить реформы, которые, чтобы привести к чему-нибудь, должны были бы привести к устранению буржуазного способа производства, Родбертус хотел в то же время удержать буржуазный способ распределения национального дохода. Он хотел сохранить во всей неприкосновенности

---

[1]) Karl Marx, „Zur Kritik etc.“ S. 46.

[2]) Ibid., S. 63

современные отрасли этого дохода: поземельную ренту, прибыль и заработную плату. Конечно, реформаторской фантазии нельзя положить предела, но можно требовать по крайней мере, чтобы одно «практическое предложение» реформатора не противоречило другому.

Нетрудно подвести итоги сказанному нами о практических планах Родбертуса. Они неполны, односторонни, внушены соображениями, не всегда согласными с беспристрастием ученого, окончательно отказавшегося от известных интересов и предрассудков. Наконец,—и это главное,—в основе их лежит недостаточно выясненное понятие о сущности современного производства. Он хочет сохранить это производство, устраняя необходимейшие его условия, хочет товаров без денег, «буржуазии без пролетариата». Если эта неясность понятий повредила много его теоретическим исследованиям, то она лишила всякого значения его «практические предложения».

Заканчивая наш не в меру растянутый этюд о Родбертусе, мы можем повторить сказанное нами о нем в начале статьи. Смешно ставить его учение не только выше учения Маркса и Энгельса, но и на одну доску с этим последним. Воззрения Родбертуса сложились в тот период истории экономической науки, когда старое здание классической экономии оказалось тесным, обветшалым и потребовало радикальной перестройки. Сочинения его были замечательнейшим «знамением» этого переходного времени, но не ему суждено было стать архитектором, заложившим фундамент новой науки. Он усердно и добросовестно трудился над ее обновлением, не ограничивал поля своего зрения интересами одних высших классов, не утаивал результатов, добытых классической экономией. Все это обеспечивает ему почетное место в истории науки. Верный последователь Смита и Рикардо, он был бесконечно выше современных ему вульгарных экономистов.

СЕКРЕТАРИАТА ГЛАВНОЙ Б-КА РЕДАКЦИИ ИГВ

БИБЛИОТЕКА КИ Ин-та Краеведческой и Музейной работы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Главное Управление. Москва.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Блос, В. — Германская революция. История движения 1848—49 гг. в Германии Изд. 1922 г. Стр. 528.

Бухарин, Н. — Теория исторического материализма. Изд. 1922 г. Стр. 385.

Браун, Л. — Женский вопрос. Его историческое развитие и его экономическая сторона. Изд. 1922 г. Стр. 355.

Бонч-Бруевич, В. — Из мира сектантов. Сборник статей. Изд. 1922 г. Стр. 32.

Бебель, А. — Женщина и социализм. Изд· 1923 г. Стр. 400.

Бернштейн - Коган, С. В. — Очерки экономической географии. Вып. I. Изд. 1922 г. Стр. 126.

Волков, Е. З. — Аграрно-экономическая статистика России (1865 — 1922 гг.). Стр. 147.

Вольфсон, М. В. — Очерки обществоведения. Изд. 1922 г. Стр. 196.

Гильфердинг, Р. — Финансовый капитал. Новейшая фаза в развитии капитализма. Нов. пересмотр. Изд. 1922 г. Стр. 446.

Деборин, А. — Введение в философию диалеткического материализма. С предисловием Г. Б. Плеханова. Изд. 1922 г. Стр. 376.

Ерманский, С. А. — Научная организация труда и система Тейлора. Изд. 1922 г. Стр. 376.

Жорес, М. — История великой французской революции. Т. I. Учредительное собрание 1789—911 гг. Изд. 1922 г. Стр. 60.

Кейнс, Д. И. — Экономические последствия Версальского мирного договора. Изд. 1922 г. Стр. 197.

Его же. — Пересмотр мирного договора. (Продолжение эконом. последствий Версальского мирного договора). Изд. 1922 г. Стр. 114.

Керженцев, В. — Революционная Ирландия. Изд. 1922 г. Стр. 232.

Каплун, С. — Охрана труда и ее органы. Изд. 1922 г. Стр. 504.

Кунов, Г. — Возникновение религии и вера о Боге. С предисл. И. Степанова. Изд. 2-е исправл. 1922 г. Стр. 183.

Коллонтай, А. — Положение женщины в эволюции хозяйства. С 2 цветн. диагр. Изд 1923 г. Стр. 208.

Каутский, К. — Предшественники новейшего социализма. Т. I. От Платона анабаптистов. Изд. 1919 т. Стр. 438.

Его же. — Предшественники новейшего социализма. Т. II. Коммунизм в германской реформации. Изд. вновь провер. и исправлен. 1919 г. Стр. 290.

Его же. — Экономическое учение Маркса. Изд. 1922 г. Стр. 158.

Его же. — Путь к власти. Изд. 1922 г. Стр. 129.

Левин, К. — А. И. Герцен. Личность-идеология. Изд. 2-е, 1922 г. Стр. 139.

Люксембург, Р. — Накопление капитала. К вопросу об экономическом объяснении империализма. Под редакц. Н. Бухарина. Изд. 1922 г. Стр. 336.

Его же — Накопление капитала или что сделали эпигоны из теории Маркса (Антикритика). Изд. 1922 г Стр. 108.

Лавров, С. — Парижская коммуна 1871 г. 18 марта. Изд. 3-е 1922 г. Стр. 298.
Лафарг, П. Труд и капитал. Изд. 1922 г. Стр. 79.
Ленин, Н. (Ульянов, В.). — „Искра" 1900—1903 г. г. Изд. 1920 г. Стр. 315.
Его же. — Т. VI 1905 г. 1921 г. Стр. 628.
Его же. — Т. VII, ч. I. 1905—6 г.г. От октября 1905 г. до роспуска первой Государственной Думы. Изд. 1921 г. Стр. 352.
Его же. — Т. VII, ч. II. 1905-6 г.г. От роспуска I-й Госуд. Думы до начала избирательной кампании во вторую Думу. Изд. 1922 г. Стр. 303.
Его же. — Т. XIV, ч. I. Буржуазная революция 1917 г. От февральской революции до наших дней. Изд. 1921 г. Стр. 314.
Его же. — Т. XIV, ч. II. Буржуазная революция 1917 г. От июльских дней до октябрьской революции. Изд. 1921 г. Стр. 536.
Его же. — Т. XV. Пролетариат у власти 1918 г. 25 окт. 1917 г.— 31 дек. 1918 г. Изд. 1922 г. Стр. 692.
Его же. — Т. XIX. Национальный вопрос. (Статья 1910—1921 г.г.) Изд. 1921 г. Стр. 300.
Маркс, К. и Энгельс, Ф. — Полное собрание сочинений, т. III. Исторические работы. Изд. 1922 г. Стр. 519.
Его же. — Т. IV. Процесс производства капитала. Изд. 1920 г. Стр. 79.
Его же. — Т. V. Процесс обращения капитала. Изд. 2-е 1919 г. Стр. 515.
Его же. — Т. VI. Капитал. Критика политической экономии. Изд. 2-е 1922 г. Стр. 447.
Его же. — Нищета философии. Ответ на философию нищеты Г. Прудона. С предисл. и примечан. Ф. Энгельса. Изд. 1922 г. стр. 165.
Мольков, А. В. — Социальные проблемы питания. Пособия к лекциям. Изд. 1923 г. Стр. 87.
Меринг, Ф. — История германской социал-демократии до 1848 г., т. I. Изд. 1921 г. Стр. 356.
Его же. — История германской социал-демократии до прусского конституц. конфликта. Т. II. Изд. 1921 г. Стр. 341.
Его же. — История германской социал-демократии до франко-прусской войны. Т. III. Изд. 1921 г. Стр. 374.
Его же. — История германской социал-демократии до выборов 1903 г. Т. IV. Изд. 1921 г. Стр. 422.
Маслов, П. — Общедоступный курс истории народного хозяйства. Изд. 4-е 1922 г. Стр. 212.
„Основные проблемы полит. экономии". Сборник статей. Под редакц. и с пред. Т. Дволайцкого и И. Рубина. Изд. 1922 г. Стр. 440.
Полонский, В. — Бакунин. Т. I. Бакунин — романтик. Жизнь, деятельность, мышление. С портретом автора. Изд. 1922 г. Стр. 418.
Покровский, М. Н. — Русская история. Т. I. С древнейших времен до Грозного. Изд. 1922 г. Стр. 243.
Его же. — Русская история. Т. II. Смута. Борьба за Украйну. Петровская реформа. Изд. 1922 г. Стр. 302.
Его же. — Русская история. Т. III. Монархия XVIII века. Александр I. Декабристы. Изд. 1922 г. Стр. 310.
Его же. — Русская история. Т. IV. Крестьянская реформа. 60-е годы. Конец 19 века. Изд. 1922 г. Стр. 310.

Ничета, Б. И. — Введение в русскую историю (источники и историографии). Изд. 1923 г. Стр. 205.

Плеханов, Г. В. (Бельтов). — К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. С 2-мя прилож. Изд. 6-е 1922 г. Стр. 304.

Его же — Русский рабочий в революционном движении. (По личным воспоминаниям). Изд 1922 г. Стр. 88.

Петрушевский, Д. — Очерки средневекового общества и государства. Изд. 5-е вновь переработ. 1922 г. Стр. 298.

Стучка, П. — Революционная роль права и государства. I. Общее учение о праве. Изд. 1922 г. Стр. 135.

Сергеев, В. С. — Всемирно-исторические кризисы. Ч. 5. Европейский кризис на заре XIX столетия. Изд. 1922 г. Стр. 46.

Сеньобос, Ш. — Политическая история современной Европы. т. I. Эволюция партий и политических форм. Под ред. В. А. Поссе. Изд. 5-е 1922 г. Стр. 280.

Сандомирский, Г. Б. — Фашизм. С 23 рисун. и докумен. Изд. 1922 г. Стр. 156.

Султан-Заде, А. — Экономика и проблема национальных революций в странах ближнего и дальнего Востока. Изд. 1922 г. Стр. 184.

Троцкий, Л. Д. — 1905 г. Изд. 2-е. Стр. 413.

Его же — Между империализмом и революцией. Изд. 1922 г. Стр. 131.

Троцкий, Л. Д. и Раковский, Х. — Очерки политической Румынии. С рис. Изд. 1922 г. Стр. 151.

Фишер, А. — В России и Англии. Наблюдения и воспоминания Петербургского рабочего (1890 – 1921 гг.) Изд. Испарта. 1922 г. Стр 104.

Шляпников, А. — Канун 1917 г. — Воспоминания и документы о рабочем движении и революционном подполье за 1914—17 гг. Ч. I. Изд. Испарта. 1920 г. Стр. 290.

Его же. — Канун 1917 г. Воспоминания и документы о рабочем движении и революционном подполье за 1914—17 гг. Ч. II. Изд. Испарта. 1922 г. Стр. 135.

Эйдус, Х. — Очерки рабочего движения в странах Востока. Изд. 1922 г. Стр. 93.

Энгельс, Ф — Крестьянский вопрос во Франции и Германии. С предисл. Плеханова. Изд. 1922 г. Стр. 70.

Его же. — Людвиг Фейербах. С прилож. I. Карл Маркс о французском материализме. II. Карл Маркс о Фейербахе. Перевод с предисл. и примечан. Г. В. Плеханова. Изд. 1922 г. Стр. 107.

ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА:

Москва, Ильинка, Биржевая площадь, уг. Богоявленского пер., № 4.
Телефоны: 1-57-57, 47-35.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА:

1) Советская площадь под гостиницей „ДРЕЗДЕН".
2) Моховая, 17.
3 Б. Никитская, 13 (Консерватория), и
4) Никольская, 3.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Главное Управление Москва 1923